

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ВОЗЗРЕНИЯ
ВЫДАЮЩИХСЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ДЕЯТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ
И КУЛЬТУРЫ**

Антология

Том I

(XVIII — XIX в.в.)

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НАУЧНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
им. К. Д. УШИНСКОГО

ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ВЫДАЮЩИХСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ

Том I

(XVIII — XIX в.в.)

Антология

Составители: В. П. Дёмин, Т. С. Маркарова

при участии А. М. Цапенко и И. А. Царёва

НПБ им. К.Д. Ушинского РАО



Москва 2011

УДК 37(09)(047); 37(092)(047)

ББК 74.03(2) -8

П-24

Печатается по решению Ученого совета Учреждения Российской академии образования «Институт художественного образования» (Протокол № 11 Заседания Ученого совета ИХО РАО от 14 декабря 2010 года) и рекомендовано для работников системы общего и профессионального образования.

Дёмин В.П., Маркарова Т.С., Цапенко А.М., Царев И.А.

Педагогические воззрения выдающихся отечественных деятелей образования и культуры. Антология. Том I. (XVIII — XIX в.в.)

ISBN 978-5-9551-0453-9

В книге представлены цитаты из произведений выдающихся деятелей российского образования и культуры XVIII — XIX веков. Это размышления об обучении и воспитании, о роли педагогики в жизни человека и о проблемах отечественного образования. По мнению составителей сборника эти мысли выдающихся представителей самого плодотворного периода российской истории не потеряли своей актуальности и по сей день и могут быть полезными нашим современникам. А, учитывая все больше и больше нарастающую потребность в духовно-нравственном развитии и воспитании подрастающего поколения, Антология может стать и неким подспорьем для школьных учителей, осваивающих новые предметы обучения.

ББК 74.03

ISBN 978-5-9551-0453-9

© Коллектив авторов, 2011

© НПБ им. К.Д. Ушинского РАО, 2011

От составителей

Отделение образования и культуры Российской академии образования и Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского приступают к изданию четырехтомной Антологии «Педагогические воззрения выдающихся отечественных деятелей образования и культуры». Каждый том Антологии будет посвящен ученым, писателям, художникам, актерам, служителям церкви различных эпох, внесших большой вклад в духовное, культурное и научное развитие не одного поколения Российского государства.

Внимаю заинтересованного читателя предлагается 1 том, который включает размышления выдающихся людей XVIII и XIX веков об обучении и воспитании, о роли педагогики в жизни человека как растущего, так и зрелого. На наш взгляд, эти мысли являются актуальными и полезными по сей день.

2 том будет содержать в себе мысли деятелей образования и культуры прошлого, XX века.

3 том будет состоять из высказываний ушедших из жизни ученых, связавших свою судьбу с педагогической наукой в Академии педагогических наук РСФСР, СССР и Российской академии образования.

И, наконец, заключительный 4 том – это теоретические исследования и практические разработки современных ученых Российской академии образования.

Конечно, даже четырехтомное собрание не сможет вобрать в себя мысли всех достойных представителей российской науки и культуры и дать исчерпывающей картины образовательно-культурного пласта Российского государства, но составители этой Антологии выражают надежду на то, что данное издание окажется интересным и востребованным.

С уважением,

В.П. Дёмин, Т.С. Маркарова

**ДРЕВНЯЯ РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ ОТ НАЧАЛА РОССИЙСКОГО
НАРОДА ДО КОНЧИНЫ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА
ПЕРВОГО ИЛИ ДО 1054 ГОДА, СОЧИНЕННАЯ МИХАИЛОМ
ЛОМОНОСОВЫМ, СТАТСКИМ СОВЕТНИКОМ, ПРОФЕССОРОМ
ХИМИИ И ЧЛЕНОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ИМПЕРАТОРСКОЙ И КОРОЛЕВСКОЙ ШВЕДСКОЙ АКАДЕМИИ
НАУК**

Вступление

Народ российский от времен, глубокою древностию сокровенных, до нынешнего веку толь многие видел в счастии своем перемены, что ежели кто междуусобные и отвне нанесенные войны рассудит, в великое удивление придет, что по толь многих разделениях, утеснениях и нестроениях не токмо не расточился, но и на высочайший степень величества, могущества и славы достигнул. Извне угры, печенеги, половцы, татарские орды, поляки, шведы, турки, извнутри домашние несогласия не могли так утомить России, чтобы сил своих не возобновила. Каждому несчастью последовало благополучие большее прежнего, каждому упадку высшее восстановление; и к ободрению утомленного народа некоторым божественным промыслом воздвигнуты были бодрые государи.

Толикие перемены в деяниях российских: соединение разных племен под самодержавством первых князей варяжских, внутренние потом несогласия, ослабившие наше отечество, наконец, новое совокупление под единоначальство и приобщение сильных народов на востоке и на западе рассуждая, порядок оных подобен течению великия реки представляю, которая, от источников своих по широким полям распростираясь, иногда в малые потоки разделяется и между многими островами теряет глубину и стремление; но, паки соединясь в одни береги, вящую быстрину и великость приобретает; потом присовокупив в себя иные великие от сторон реки, чем далее протекает, тем обильнейшими водами разливается и течением умножает свои силы.

Возрастая до толикого величества Россия и восходя чрез сильные и многообразные препятства, коль многие деяния и приключения дать могла писателям, о том удобно рассудить можно. Из великого их множества немало по общей судьбине во мраке забвения покрыто. Однако, противу мнения и чаяния многих, толь довольно предки наши оставили на память, что, применись к летописателям других народов, на своих жаловаться не найдем причины. Немало имеем свидетельств, что в России толь великой тьмы невежества не было, какую представляют многие внешние писатели. Инако рассуждать принуждены будут, снесши своих и наших предков и

сличив происхождение, поступки, обычаи и склонности народов между собою.

Большая одних древность не отъемлет славы у других, которых имя позже в свете распространилось. Деяния древних греков не помрачают римских, как римские не могут унижить тех, которые по долгом времени приняли начало своей славы. Начинаются народы, когда другие рассыпаются: одного разрушение дает происхождение другому. Не время, но великие дела приносят преимущество. Посему всяк, кто увидит в российских преданиях равные дела и героев, греческим и римским подобным, унижать нас пред оными причины иметь не будет, но только вину полагать должен на бывший наш недостаток в искусстве, каковым греческие и латинские писатели своих героев в полной славе предали вечности.

Сие уравнение предлагаю по причине некоторого общего подобия в порядке деяний российских с римскими, где нахожу владение первых королей, соответствующее числом лет и государей самодержавству первых самовластных великих князей российских; гражданское в Риме Правление подобно разделению нашему на разные княжения и на вольные города, некоторым образом гражданскую власть составляющему; потом единоначальство кесарей представляю согласным самодержавству государей московских. Одно примечаю несходство, что Римское государство гражданским владением возвысилось, самодержавством пришло в упадок. Напротив того, раз-номысленною вольностию Россия едва не дошла до крайнего разрушения; самодержавством как сначала усилилась, так и после несчастливых времен умножилась, укрепилась, прославилась. Благонадежное имеем уверение о благосостоянии нашего отечества, видя в единоначальном владении залог нашего блаженства, доказанного толь многими и толь великими примерами. Едино сие рассуждение довольно являет, коль полезные к сохра нению целости государств правила из примеров, историею преданных, изыскать можно.

Велико есть дело смертными и преходящими трудами дать бессмертие множеству народа, соблюсти похвальных дел должную славу и, пренося минувшие деяния в потомство и в глубокую вечность, соединить тех, которых натура долгою времени разделила. Мрамор и металл, коими вид и дела великих людей изображенные всенародно возвышаются, стоят на одном месте неподвижно и ветхостию разрушаются. История, повсюду распростираясь и обращаясь в руках человеческого рода, стихии строгость и грызение древности презирает. Наконец, она дает государям примеры правления, поданным — повиновения, воинам — мужества, судиям — правосудия, младым — старых разум, престарелым — сугубую твердость в советах, каждому незлобивое увеселение, с несказанною пользою соединенное. Когда вымышленные повествования производят движения в сердцах человеческих, то правдивая ли история побуждать к похвальным

делам не имеет силы, особливо ж та, которая изображает дела праотцев наших?

Предпринимая тех описание, твердо намеряюсь держаться истины и употреблять на то целую сил возможность. Великостию сего дела закрыться должно все, что разум от правды отвратить может. Обстоятельства, до особенных людей надлежащие, не должны здесь ожидать похлебства¹, где весь разум повинен внимать и наблюдать праведную славу целого отечества: дабы пропущением надлежащий похвалы — негодования, приписанием ложный — презрения не произвести в благорассудном и справедливом читателе.

Ч А С Т Ь I. О РОССИИ ПРЕЖДЕ РУРИКА

Г л а в а 1 О старобытных в России жителях и о происхождении российского народа вообще

Старобытные в России обитатели, славяне и чудь, по преданиям достоверных наших летописателей известны¹. Древние внешние авторы скифов и сармат, на разные поколения разделенных, под разными именованиями в ней полагают². Обои народы одержали великое участие в обширном сем земель пространстве. Славенское владение возросло с течением времени. Многие области, которые в самодержавство первых князей российских чудским народом обитаемы были, после славянами наполнились. Чуди часть с ними соединилась, часть, уступив место, уклонилась далее к северу и востоку. Показывают сие некоторые остатки чудской породы, которые по словесным преданиям от славенского поколения отличаются, забыв употребление своего языка. От сего не токмо многих сел, но рек и городов и целых областей чудские имена в России, особливо в восточных и северных краях, поныне остались. Немалое число чудских слов в нашем языке общо употребляется.

Соединение двух сих народов подтверждается согласием в избрании на общее владение князей варяжских, которые с роды своими и со множеством подданных к славянам и чуди преселились и, соединив их, утвердили самодержавство. В составлении российского народа преимущество славян весьма явствует, ибо язык наш, от славенского происшедший, немного от него отменился и по толь великому областей пространству малые различия имеет в наречиях.

Сих народов, положивших по разной мере участие свое в составлении россиян, должно приобрести обстоятельное по возможности знание, дабы уведать оных древность и сколь много их дела до наших предков и до нас касаются. Рассуждая о разных племенах, составивших Россию, никто не может почесть ей в уничижение. Ибо ни о едином языке

утвердить невозможно, чтобы он с начала стоял сам собою без всякого примешения. Большую часть оных видим военными беспокойствами, преселениями и странствованиями в таком между собой сплетении, что рассмотреть почти невозможно, коему народу дать вящее преимущество.

Г л а в а 2 О величестве и поколениях славенского народа

Множество разных земель славенского племени есть неложное доказательство величества и древности. Одна Россия, главнейшее оного поколение, довольна к сравнению с каждым иным европейским народом. Но представив с нею Польшу, Богемию, вендов, Моравию, сверх сих Болгарию, Сербию, Далмацию, Македонию и другие, около Дуная славянами обитаемые земли, потом к южным берегам Варяжского моря склоняющиеся области, то есть курландцев, жмудь, литву, остатки старых пруссов и мекленбургских вендов, которые все славенского племени, хотя много отмен в языках имеют, наконец, распростершиеся далече на восток, славенороссийским народом покоренные царства и владательства рассуждая, не токмо по большей половине Европы, но и по знатной части Азии распространенных славян видим.

Такое множество и могущество славенского народа уже во дни первых князей российских известно из Нестора и из других наших и иностранных писателей³. Ибо в России славяне новгородские, поляне на Днепре, по горам Киевским, древляне в Червонной России, между Днепром и Припятью, полочане на Двине, северяне по Десне, по Семи и по Суле, дулебы и бужане по Бугу; кривичи около Смоленска, волынцы в Большой, дреговичи меж Припятью и Двиною, радимичи на Соже, вятичи на Оке и другие поколения, по разным местам обитая и соединясь с варягами-россами, пресильные войны подымали против греков. Вне России ляхи по Висле, чехи по вершинам Албы, болгары, сербы и моравляне около Дуная имели своих королей и владетелей, храбрыми делами знатных.

По южным берегам Варяжского моря живших славян частые и кровавые войны с северными, а особливо с датскими королями, весьма славны⁴. Множество и величество городов хотя тогда не таково было, как ныне, однако же весьма знатно. В российских пределах великий Новгород, Ладога, Смоленск, Киев, Полотен паче прочих процветали силою и купечеством, которое из Днепра по Черному морю, из Южной Двины и из Невы по Варяжскому в дальные государства простиралось и состояло в товарах разного рода и цены великой. Меж другими славенскими селениями оставил по себе с развалинами великую славу пребогатый купеческий город и пристань Виннета при устьях реки Одры; разорен около помянутых времен от датчан.

Сравнив тогдашнее состояние могущества и величества славенского с нынешним, едва чувствительное нахожу в нем приращение.

Чрез покорение западных и южных славян в подданство чужой власти и приведение в магометанство едва ли не последовал бы знатный урон сего племени перед прежним, если бы приращенное могущество России с другой стороны оногo умаления с избытком не наполнило. Того ради без сомнения заключить можно, что величество славенских народов, вообще считая, стоит близ тысячи лет почти на одной мере.

Но то же еще усматриваю много далее в древности⁵. В начале шестого столетия по Христе славенское имя весьма прославилось; и могущество сего народа не токмо во Фракии, в Македонии, в Истрии и в Далмации было страшно, но и к разрушению Римской империи способствовало весьма много. Венды и анты, соединяясь со сродными себе славянами, умножали их силу. Единоплеменство сих народов не токмо нынешнее сходство в языках показывает, но и за тысячу двести лет засвидетельствовал Иорнанд⁶, оставив известие, что «от начала реки Вислы к северу по безмерному пространству обитают многолюдные вендские народы, которых имена хотя для разных поколений и мест суть отменны, однако обще славяне и анты называются. Присовокупляет еще, что от Вислы простираются до Дуная и до Черного моря. Прежде Иорнанда Птоломей⁷ во втором столетии по Христе полагает вендов около всего Вендского по ним проименованного залива, то есть около Финского и Курландского. Сей автор притом оставил в память, что Сармацию одержали превеликие вендские народы. И Плиний⁸ также свидетельствует, что в его время около Вислы обитали венды и сарматы. Итак, хотя Тацит⁹ сомневался о вещах, к сарматам ли их, или к германцам причислить, к чему подали ему повод жившие тогда между немцами, как и ныне, венды, затем больше склонял их к последним, однако вышечисанные свидетельства несравненно сильнее уверяют. Итак, народ славенопольский по справедливости называет себя сарматским; и я с Кромером¹⁰ согласно заключить не обинуясь, что славяне и венды вообще суть древние сарматы.

Кроме славян, особенно именованных, вендов и антов, сверх Сармации, где в половине шестого веку Лех и Чех державствовали над многочисленным славенским народом, доказывают его тогдашнюю великость болгары, которых единоплеменство по великому сходству языка, могущество и множество их военных дел неспоримо. Ибо уже прежде царства Юстиниана Великого, при царе Анастасии приобретши себе в Иллирике владение и селение, тяжкие войны наносили грекам.

В северных российских пределах славенские жители умолчаны не столько за малолюдством, сколько за незнанием от внешних писателей. Домашних вовсе отвергать есть несправедливая строгость. Новгородский летописец хотя с начала многими наполнен невероятными вымыслами, однако никакой не нахожу причины упрямо спорить, чтобы город Славенск никогда не был построен и разорен много прежде Рурика. Старинные

развалины свидетельствуют; Нестор о Новгороде упоминает прежде всех городов российских и что дважды строен¹¹. От северных писателей¹² издревле назывался Кунигардия, то есть (на чудском языке) славный город. Сие рассуждая, не почитаю за легкомысленное любопытство, когда, примечая именованя мест у Птоломея, у Плиния и у других, находим от Адриатического моря и Дуная до самых берегов Ледовитого океана многих знаменованя с языка славенского, что не за бессильное доказательство признавать должно, когда на вышеписанных свидетельствах имеет опор и основание. К доказательному умножению славенского могущества немало служат походы от севера готов, вандалов и лонгобардов. Ибо хотя их по справедливости от славенских поколений отделяю, однако имею довольные причины утверждать, что немалую часть воинств их славяне составляли; и не токмо рядовые, но и главные предводители были славенской породы. Итак, ныне довольно явствует, коль велико было славенское племя уже в первые веки по рождестве христове.

Г л а в а 3 . О дальней древности славенского народа

Имя славенское поздно достигло слуха, внешних писателей и едва прежде царства Юстиниана Великого, однако же сам народ и язык простираются и глубокую древность. Народы от имен не начинаются, но имена народам даются. Иные от самих себя и от соседей единым называются. Иные разумеются у других под званием, самому народу необыкновенным или еще и неизвестным. Нередко новым проименованием старинное помрачается или старинное, перешед домашние пределы, за новое почитается у чужестранных. Посему имя славенское по вероятности много давнее у самих народов употреблялось, нежели в Грецию или в Рим достигло и вошло в обычай. Но прежде докажем древность, потом поищем в ней имени.

Во-первых, о древности довольно и почти очевидное уверение имеем в величестве и могуществе славенского племени, которое больше полуторых тысяч лет стоит почти на одной мере; и для того помыслить невозможно, чтобы оно в нервом после Христа столетии вдруг расплодилось до толь великого многолюдства, что естественному бытию человеческого течению и примерам возвращения великих народов противно. Сему рассуждению согласуются многие свидетельства великих древних писателей, из которых первое предложим о древнем обитании славян-вендов в Азии, единоплеменных с европейскими, от них происшедшими. Плиний пишет¹³, что «за рекою Виллиею страна Пафлагонская, Пилименскою от некоторых проименованная; сзиди окружена Галатиєю. Город милезийский Мастия, потом Кромна. На сем месте Корнелий Непот присовокупляет енетов и единоименных им венетов в Италии от них происшедшими быть утверждает». Непоту после

согласовался Птоломей¹⁴, хотя прежде иного был мнения, Согласовался Курций¹⁵, Солин¹⁶, Катон то же разумеет, когда венетов, как свидетельствует Плиний¹⁷, от троян ской породы, производит. Все сие великий и сановитый историк Ливии показывает и обстоятельно изъясняет¹⁸. «Аntenор,— пишет он,— пришел по многих странствованиях во внутренний конец Адриатического залива со множеством енетов, которые в возмущение из Пафлагонии выгнаны были и у Трои лишились короля своего Пилимена: для того места к поселению и предводителя искали. По изгнании еванеев, между морем и Алпийскими горами живших, енеты и трояне одержали оные земли. Отсюда имя селу — Троя; народ весь венетами назван». Некоторые думают, что венеты происходят из Галлии, где народ сего имени был при Иулии Кесаре. Однако о сем не можно было не ведать Катону, Непоту и Ливию. При свидетельстве толиких авторов спорное мнение весьма неважно; и напротив того, вероятно, что галлские венеты произошли от адриатических. В тысящу лет после разорения Трои легко могли перейти и распространиться чрез толь малое расстояние.

Уже имеем древность славенского племени в Азии от самых давнейших времен, которых далее не простираются европейских народов благорассудные историки. Мосоха, внука Ноева, прародителем славенского народа ни положить, ни отрещи не нахожу основания. Для того оставляю всякому на волю собственное мнение, опасаясь, дабы священного писания не употребить во лжесвидетельство, к чему и светских писателей приводить не намерен. Довольно того, что могу показать весьма вероятно еще другие сильные в Азии народы, кроме енетов, славенского племени равной древности, и бывшим уже тогда их величеством и могуществом уверить, что оное началось за многие веки до разорения Трои.

Единоплеменство сарматов и венедов или вендов сославянами в прошедшей главе показано. О живших далее к востоку сарматах пишет Плиний¹⁹, что они мидской породы, живут при реке Доне, разделяются на разные поколения. Сей же автор и Страбон²⁰ некоторых мидян в Европе вместе с фракиянами, то есть в сарматских пределах, полагают, чем вероятность о единоплеменстве сарматов с мидянами умножается. Ибо, преселяясь от востока к западу, мидские народы, и будучи проименованы сарматами, могли в некоторых поколениях удержать прежнее имя, подобно как славяне новгородские перед другими славенскими породами, которые особливые имена имели.

Некоторые речения мидские, со славенскими сходные, не были бы единокровства вероятностью, когда бы таковыми важными свидетельствами древних писателей не утверждались.

Амазоны, по преданию Геродотову²¹, от сармат происхождение имели и говорили языком сарматским; скифскому от будинов не чисто научились. Плиний о сарматах гинекократуменах, то есть женами

обладаемых, упоминает, супружество с амазонами имеющих; также и о сарматских амазонах²². Посему они были славенского племени.

Видя пафлагонов, енетов, мидян и амазонов в Азии славенского племени, уже думать можно, что обитавшие с ними в соседстве мосхи им были единоплеменны, почему московский народ у многих новых писателей от них производится. О соседстве Мосхиния с амазонами и сарматами нахожу древние свидетельства, о единородстве — не имею; итак, утверждать о том опасуюсь, затем больше, что в Страбоне²³ противное сему примечая: «Мосхиния,— пишет он,— разделена на три части: одну колхи, вторую иверы, третью армяне имеют» — народы, от славян весьма отменные. В наших летописях до начала Москвы не находим по российским областям подобного имени; и у Нестора при исчислении славенских поколений о мосхах глубокое молчание. Великий перерыв времени, в кое о мосхах не упоминают внешние и домашние писатели, не позволяет утверждать о единоплеменстве мосхов и славян московских без довольного свидетельства.

В южной Европе древность и могущество славян из Геродота явствует, который венедов с иллирианами за один народ почитает и обыкновения их, мидским подобные, описует²⁴, чем показанное выше сего единородство подтверждается. Иллирийцев древность простирается до веков баснословных; сила из военных дел с греками и римлянами известна. Некоторые, стараясь древних иллирийцев разделить от нынешних славян, в Иллирике живущих, приводят во свидетельство Иорнанда и Прокопия, которые описывают пришествие славян за Дунай от севера: новых мест имена славенского знаменования признают, в старых того не находят. Слабые спорных мыслей основания! Правда, что славяне, от полунощной страны перешед за Дунай, в Далмации и в Иллирике поселились в начале шестого веку. Но следует ли из того, чтобы они или их единоплеменные там прежде никогда не обитали? Не могло ли быть, чтобы римскою силою утесненные иллирические славяне во время войны уклонились за Дунай к полунощным странам; потом, приметив римлян ослабление, старались возвратиться на прежние свои жилища? Имеем сего явственные у себя следы. Нестор утверждает**, что в Иллирике, когда учил апостол Павел, жительствоваали славяне и что обитавшие около Дуная, убегая насильного владения нашедших и поселившихся меж ними римлян, перешли к северу, на Буг, Вислу, Днепр, Двину и Волхов***. Уже свидетельств довольно; но сверх того Плиний объявляет, что ему названия иллирических народов выговаривать трудно. Ясное доказательство, что ни от греческого, ни от латинского языка взяты, в коих он, без сомнения, был искусен. Города многие издревле показывают славенский голос, с делом согласный, и возводят вероятность на высочайший степень.

Признаки древнего имени славенского явствуют, во-первых, у Птолемея под названием ставан****. Свойство греческого и латинского

языка не позволяет, чтобы они выговорить могли славян имя. Ради того прежде ставанами, после склаванами и сфлаванами называли. Амазоны, или алазоны, славенский народ, по-гречески значат самохвалов; видно, что сие имя есть перевод славян, то есть славящихся, со славенского на греческий. Имена славенских государей, в одно время со славенским именем прославленных, не в самое то время могли принять начало, но перед тем задолго. По именам государей и героев своих народ прежде внутрь пределов назывался, потом славою дел утвердил себе славное имя, которое хотя поздно по свету распространилось, однако внутрь было давно в употреблении.

Г л а в а 4 . О нравах, поведеньях и о верах славенских

Разные славян поколения неспоримо различились обычаями, хотя во многом имели сходство. Кроме разделения по местам, разность времени отменяет поведения. Того ради мидских, венетских, иллирийских, амазонских и сарматских предков славенских, кои многими веками, великими расстояниями и, сверх того, многоразличными преселениями отделяются, не изображаю в тогдашнем виде, который, по свойствам тамошнего климату и по соседству с отменными народами, походить не может на преселившихся их поздних потомков. Итак, довольно будет, когда увидим их, по преселениях несколько описанных.

Когда имя славенское в свете прославилось войнами против римлян и греков, тогда Прокопий Кесарийский²⁵, того же веку писатель, следующее об них на память оставил: «Сии народы, славяне и анты, не подлежат единоподержавной власти, но издревле живут под общенародным повелительством. Пользу и вред все обще приемлют. Также и прочие дела у обоих народов содержатся издревле. Единого бога, творца грома и всего мира господя исповедуют. Ему приносят волов и другие жертвы. Судьбины не признавают и не приписывают ей никаких действий в роде человеческом. Впадши в болезнь или готовясь на войну и видя близко смерть, дают богу обещание, что ежели от нее свободятся, немедленно принесут жертву. Получив желаемое, исполняют свое обещание вскоре и верят, что жизнь их сохранена оною жертвою. Сверх того, почитают реки и другие воды, также и некоторых иных богов, которым всем служат и в приношении жертвы гадают о будущем. Живут в убогих хижинах, порознь рассеянных, и нередко с одного места преселяются на другое. Когда на бой выходят, многие идут пеши со щитами и с копьями; лат не носят. Иные, не имея на плечах одеяния, в одних штанах бьются с неприятелем. Обоих' язык' один — странный. Ниже видом тела разнятся, ибо все ростом высоки и членами безмерно крепки, цветом ниже весьма белы, ниже волосом желты, ни очень черны, но все русоваты. Жизнь содержат, как массагеты, сухою и простою пищею и, подобно как они, весьма нечисто

ходят, натурою незлобны, нелукавы и в простоте много нравами сходны с гуннами». Сие о славенах, живших в шестом столетии по Христе около Дуная.

О славенских народах, живших по российским областям, объявляет Нестор*, что поляне от своих предков обычаем кротки, стыдливы к родителям и к сродникам и брачное сочетание наблюдают. Древляне живут зверским образом: убивают друг друга, едят нечистую зверину. Брачных чинов не держат: женский незамужний пол хватают у воды и вместо жен держат. Радимичи, кривичи, вятичи и северяне держатся одного обычая. Живут в лесах, как дикие звери, всякую нечистоту в пищу принимают, не стыдятся срамословить пред родителями; вместо браков сходятся на игрища между селами и пляшут, где хватают женский пол себе в жены, с которыми сперва согласились; держат по две и по три. Над мертвыми отправляют тризны, потом на струбе сожигают и пепел с костями в сосудах на столпах ставят при дорогах. Сие употребление у кривичей было еще при Несторе. Новгородских славян нравы и поведения усмотреть можно с начала истории от Рурикова приходу.

При Варяжском море на южном берегу жившие славяне издревле к купечеству прилежали. В доказательство великого торгу служит разоренный великий город славенский Виннета, от венетов созданный и проименованный. Гелмолд⁹ о нем пишет**: «Река Одра протекает в север среди вендских народов. При устье, где в Варяжское море вливается, был некогда преславный город Виннета, в котором многонародное пристанище грекам и варварам, около жившим. Все европейские города превосходил величеством. В нем жили славяне, смешанные с другими народами, с варварами и с греками. Приезжим саксонцам равно позволялось жить в сем городе, лишь бы только не сказывались христианами, ибо славяне все даже до разорения сего города служили идолам. Впрочем стран-ноприимством и нравами ни один народ не был честнее и доброхотнее. Купечествовал товарами разного рода с разными народами пребогатый город и все имел, что бывает редко и приятно. Разорен от некоторого короля датского. Видны еще только древних развалин остатки». После сего привык народ славенский в Померании к морскому разбойничеству.

О нравах и о вере вендских померанских славян, особливо которые жительствоваали в Вагрии, северные писатели уверяют²⁶, что у них многоженство в обычае было, покупали жен, сколько кому прокормить возможно. Хотя ж почитали единого бога на небесах, который имел об оных попечение, однако земные дела поручал другим. Святovid на острове Ругене вырезан был из дерева о четырех лицах, в коротком платье, стоял в капище, в левой руке держал лук, в правой рог с вином; на бедре превеликий меч в серебряных ножнах**. При нем висело седло и узда величины чрезвычайной. Четыре лица, как кажется, значили четыре части года. Именем сего идола давал жрец ответы. Святovidу честию следовал

Прове, или Прона, особливо у вагрских славян; стоял на великом и кудрявом дубе. Около его на земли расставлены до тысячи идолов с двумя, тремя лицами и больше. Перед Проном стоял алтарь для приношения жертвы. Радегаст держал на груди щит с изображенною воловою головою, в левой руке копье, на шлеме петух с распростертыми крилами. Сива, или Сиба, нагая женщина, волосы назади висели до подколенков; в правой руке яблоко, в левой виноградный грозд держала. Наконец, почитались у них Черн бог и Бел бог: первый добрый, другой злой. Сверх всех сих идолов, обоготворялись огни, которые по разным местам неугасимо горели. Многие воды, ключи и озера толь высоко почитались, что с глубоким и благоговейным молчанием черпали из них воду. Кто противно поступал, казнен был смертию. Такое озеро обоготворялось на острове Ругене, в густом лесу, называемое Студенец, которое хотя весьма изобиловало рыбою, однако оныя не ловили для почтения мнимой святости. При всем сем почитали змей как домашних богов и наказывали тех, которые им вред наносили. В приношении жертвы Святovidу изьявляли превеликое, почитание. После жатвы собирался весь народ перед его капище для препровождения великого празднества, где били скота на жертву, и для знатного идольского пирования за день перед праздником должен был сам жрец прежде приношения жертвы и служения чисто вы-месть капище. Следующего дня, в самый праздник, при собрании народа перед дверью капища, взяв из руки идольской рог с вином, чем за год был наполнен, прорицал о плодородии будущего года. Ибо ежели вина в роге не много убывло, почиталось плодородия признаком. В противном случае изобилия плодов не надеялись. По сем выливал жрец вино из рога перед ногами Святovidовыми и наливал в него новое; пил за его здоровье и просил, чтобы людям своим и отечеству подал изобилие, богатство и победу над неприятельми. Выпив рог вина, наполнял снова и отдавал идолу в руку. Потом приносили в жертву великие круглые хлебы из муки и из меду, которые жрец поставив между собою и народом, молился о изобильной жатве будущего года. Потом благословлял народ именем Святovidовым, увещал к прилежному приношению жертвы и обещал в воздаяние победу на врагов по морю и по суху. По сем препровождался день в ядении и питии, и за стыд почитали, ежели кто не напился допьяна. Каждый человек в год сему идолу третью часть своей хищной добычи долженствовал принести в жертву. Триста конных нарочных воинов, сколько могли награть, все в капище приносили, что жрец употреблял на украшение оногo. Нередко сему идолу при-ношены были в жертву христианские пленники, которых садили верхом на лошадях во всей их сбуре. Лошадь четырьмя ногами привязывали к четырем сваям и, под поставленные по обеим сторонам костры дров подложив огонь, сожигали живых коня и всадника. Другим идолам своим, Прову или Прону, Сиве, Радегасту, приносили тогда жившие славяне кровавую жертву людей христианских.

По заклинании оных прикушивал жрец крови, от чего уповали силы и действия к предсказанию. Когда жертва совершилась, начинался жертвенный пир с музыкою и плясанием. Злым богам приносили кровавую жертву и печальное моление, также и страшные клятвы, добрым — веселие, игры и радостные пирования. О будущем гадали обыкновенно метанием деревянных дощечек, у которых одна сторона была черная, другая белая. Когда их бросали, белая сторона наверху добро, черная худо, по их мнению, предвозвещала. Летание птиц и крик по разности сторон, встреча зверей сверх сего, движение пламени, течение воды и разные виды пены и струй также служили к предсказанию. Святovidу посвящен был великий белый конь. Когда войну начать хотели, втыкали перед капищем в землю острыми концами шесть копей, по два вместе крестообразно. По обыкновенной молитве выводил жрец посвященного коня скакать через оные копыя. Когда на скоку заносил наперед правую ногу, почитали за доброе предзнаменование предприемлемого дела; когда же левую простирал наперед далее, признавали за худое предвозвещение. По сему конскому скаканию начиналась война или отлагалась.

Глава 5 О преселениях и делах славенских

Древнейшее всех преселение славян, по известиям старинных писателей, почитать должно из Азии в Европу. Что оное двумя путями происходило, водою и по суку, из вышеписанного усмотреть не трудно. Ибо венеты от Трои с Антенором¹² плыли Архипелагом, Посредиземным и Адриатическим морем. И весьма вероятно, что после оного по разным временам и случаям многочисленные их однородцы из Пафлагонии помянутым путем или по Черному морю и вверх по Дунаю к ним и в их соседство перешли житьствовать. Подтверждается сие, во-первых, тем, что венеты весьма широко распространились по северному и восточному берегу Адриатического залива и по землям, при Дунае лежащим; второе, что Пафлагония после того от времени до времени умалилась и, наконец, между главными землями в Азии не полагалась, ибо уже у Птолемея²⁷ почитается как малая часть Галатии.

Другой путь был из Мидии севером, около Черного моря, к западу и далее на полночь, когда сарматы, от мидян происшедшие, из задонских мест далее к вечерним странам простирались, что из вышеписанного по правде заключить должно. Еще ж Блонд пишет²⁸, что славяне, от Босфора Циммерского до Фракии обитавшие, в Иллирик и в Далмацию преселились. Болгар древнее жилище в Азиатической Сармации, около реки Волги, с добрым основанием от некоторых полагается²⁹, затем что Иорнанд со славянами и антами, славенским же народом, совокупное их нападение на Римскую державу описует и житьство их почитает в северной стране от Черного моря. Согласуется с делом имя болгар, от

Волги происшедшее, которыми после того и другие народы, козары и татары, от россиян именовались³⁰.

Все сие доказывает движение славенских поколений от востока на запад пространными нашими землями, по северу около Понтийского моря. Таким образом, простираясь уже паки к полудни, соединились с однородцами своими, преселившимися южною дорогою, и во многие веки составили разные славенские поколения, отменив наречия и нравы по сообщению с иноплеменными народами, с которыми в преселениях обращались.

Какова храбрость была древних предков славенского народа, о том можно уведать, читая о войнах персидских, греческих и римских с мидянами, сарматами и иллирийцами, которые принадлежат и до россиян обще с другими славенскими поколениями. О грамоте, данной от Александра Великого славенскому народу, повествование хотя невероятно кажется и нам к особой похвале служить не может, однако здесь об ней упоминаю, которые не знают, что, кроме наших новгородцев, и чехи оною похваляются³¹.

Между тем, когда славенские племена из Мидии, около Черного моря, в Иллирик и в другие места распространялись, тогда и в северные страны поселялись в великом множестве. Новгородский летописец согласуется в том со внешними писателями. И хотя бы имена Славена и Руса и других братец были вымышлены, однако есть дела северных славян, в нем описанные, правде не противные. По Варяжскому морю, которое от воровства на чудском языке сие имя получило, обыкновенно в древние веки бывали великие разбои и не токмо от подлых людей, но и от владетельских детей за порок не почитались. Про Славено-ва сына Волхова, от которого Волхов наименование носит, пишет, что в сей реке превращался в крокодила и пожирал плавающих. Сие разуметь должно, что помянутый князь по Ладожскому озеру и по Волхову, или Мутной реке тогда называемой, разбойничал и по свирепству своему от подобия прозван плотоядным оным зверем. Распространение славян северных до рек Выми и Печоры и даже до Оби хотя позднее должно быть кажется, нежели как положено в оном летописце, однако не так поздно, как некоторые думают, затем что дорогими собольими мехами торг из России на запад уже за семьсот лет известен из внешних авторов, и дыньки в российском купечестве прежде обращались, нежели Ермак открыл вход в Сибирь военной рукою.

Когда Римская империя усилилась и оружие свое распростерла далече, тогда почувствовали насилие ея и славенские народы, жившие в Иллирике, в Далмации и около Дуная, для чего в север уклонились к своим однородцам, которые издавна в нем жительствовавали. По свидетельству Нестерову³², славяне в местах, где Новгород, обитали во время проповеди

евангелия святым апостолом Андреем. У Птоломея³³ положены славяне около Великих Лук, Пскова, Старой Русы и Новагорода.

Итак, явствует, что, ненавидя римского ига и любя свою вольность, славяне искали оной в странах полунощных, которою единоплеменные их пользовались, в местах пространных, по великим полям, рекам и озерам. Нестор подробно описывает³⁴, что нашли волохи на славян дунайских и, седши с ними, стали обижать и насиловать; тогда иные, отшед на реку Вислу, назвались ляхами. От ляхов прозвались иные лутичи, иные мазовшане, иные поморяне. Иные сели по Днепру и назывались поляне; другие — древляне, затем что сели в лесах; многие между Припятью и Двиною и назывались дреговичи; некоторые поселились на Двине и назывались полочане по реке Полоте; многие перешли на Оку и проименовались вятичами. Иные славяне сели около озера Ильменя и прослыли своим тем же именем; иные поселились по Десне, Семи и Суле и назывались северяне. Новгородцы одержали не одно токмо имя свое славенское, но и язык сродных себе славян, около Дуная и в Иллирике обитающих, который много сходнее с великороссийским, нежели с польским, невзирая на то, что поляки живут с ними ближе, нежели мы, в соседстве.

Потом, как Римская империя стала приходить в упадок, тогда славяне, стараясь отмстить древнюю предков своих обиду, предпринимали от севера на полдень сильные и частые походы, особливо при Иустиниане Великом, царе греческом, чему пример даю из Прокопия³⁵. «Войско славенское, из трех тысяч состоящее, без сопротивления Дунай-реку переправилось и потом, без труда через Гебр переехав, разошлись надвое. Одна часть состояла из тысячи осьмисот человек, другая из прочих. На обоих, хотя друг от друга разделенных, учинили нападение римские военачальники во Фракии и в Иллирике, однако паче чаяния побеждены были и отчасти побиты на месте, отчасти без всякого порядку спаслись бегством. Потом, когда оба полки славенские, числом много меньшие, вождей римских низложили и прогнали, другая часть их с Азбадом учинила сражение. Сей Азбад, Иустинианов стипатор, правил конницею, которая издавна для прикрытия города Цирула во Фракии была сильна множеством и мужеством. Славяне, и сих рассыпав, многих, со срамом бегущих, умертвили и, поймав Азбада, хотя сперва стерегли жива, однако после, вырезав ремни из хребта, его сожгли. Сие учинив, всю Фракию и Иллирик без своего ущербу разоряли и в обоих местах многие крепости взяли осадю. Прежде ж сего ни к стенам приступить, ни в поле выступить не дерзали, никогда не смели чинить набегов на Римскую империю и до того времени, кажется, никогда через Дунай-реку не переходили. Победившие Азбада славяне разорили все места до самого моря. Приморский город Топер с оборонительным войском взяли таким образом. Славян большая часть в ямыстых местах и во врагах близ стен городских утаилась. Малое

оних число у ворот восточных раздражали римлян, на городской стене стоящих. Солдаты, бывшие в городе, думая, что только славян было, сколько показалось, внезапно вооруженные учинили вылазку. Славяне стали отступать притворно и, якобы их страшась, назад побежали. И как римляне, гонясь за ними, от стены удалились, славяне засадные из врагов поднялись, от города путь им пресекли, и бегшие славяне, обратись лицом к неприятелям, гонящих остановили и, побив всех, на том же месте приступили к городу. Уже поприготовившиеся мешане жестоко возмутились, однако по возможности сопротивлялись стремлению: ибо сначала кипящее масло и смолу лили на приступающих. И хотя люди всякого возраста на них бросали камень, однако бедства не отвратили. Великим множеством стрел славяне городских людей от зубцов сбили и, приставив к стенам лестницы, город взяли. Немедленно мужеска полу до пятнадцати тысяч порубив и разграбив богатство, малых детей и женский пол поработили. Ибо до того дня не было пощады ни единому возрасту. Другой полк, после того как ворвался в римские пределы, всех без разбору лишал жизни, так что в Иллирике и во Фракии непогребенные трупы по всем местам лежали повержены. Потом оба полки живот пленным оставлять стали и так во свои жилища возвратились со многими тысячами пленных».

В Сардики, иллирическом городе, собранное войско строил Герман и поспешал с великим к войне приуготовлением. Когда славенские полки, каковы никогда не бывали, достигши к пределам Римской империи и переправясь через Дунай, пришли к Наизу, некоторые из них отлучились от войска и, по ближним местам разделясь, для добычи бегали порознь, попали в руки некоторым римлянам. Связаны и вопрошены, для чего славенское войско за Дунай переправилось?— с уверением ответствовали, что пришли с тем намерением, дабы взять Солунь и окрестные его города. О сей вести император, весьма обеспокоившись, немедля писал к Герману, чтобы для настоящего времени, оставив поход в Италию, и вместо того Солуню и другим городам поспешил дать помощь и не умедлил бы удержать стремление славян всеми силами. Между тем как Герман еще собирался, славяне, узнав от пленных о приходе его в Сардику, устрашились, ибо имя его было у них славно, что пред тем победил антов, славянам единоплеменных. Итак, убоясь и рассуждая, что идет с преизбранным воинством, которое от Иустиниана императора против короля Тотилы и против готов послано, предприятый путь к Солуню прекратили и, не смея больше выступить в поле, перешли все иллирические горы и без опасности вступили в Далмацию. В Иллирике Герман объявил войску, чтобы весь снаряд был собран для походу после двух дней в Италию. Однако, внезапно заболев, умер. После того отправил император против славян избранное войско, которого военачальниками были Константиан, Аратий, Назарий, Иустин, другой сын Германов, Иван,

проименованием Елуон. Сверх того, над всеми поставил Схоластика, из придворных евнухов. Часть славян нашел он у Адрианополя, которые в пути своем уже не могли скоро простираться, для того что вели с собою бесчисленное множество пленников, скота и всякого богатства. Сим принуждены, остоялись и к сражению втай от неприятеля приготавлились; славяне на горе, римляне на поле стан укрепили. Долго так стояв, преодоленные нетерпеливостию солдаты с неудовольствием стали жаловаться на полководцев, что сами, пищею будучи довольны, презирают солдат, недостатками утомленных, и не хотят вступить в сражение с неприятельми. Таковыми жалобами принуждены были военачальники бой начать. Сражение возгорелось. Побеждены силою римляне; многие храбрые солдаты пали. Предводители, едва не пойманы, вырвавшись, с прочими ушли кому куда ближе. Славяне взяли Константинове знамя и, презрев римское войско, пошли далее. Астическую страну, которая долго не чувствовала разорения, опустошили; для того корысть нашли там преизобильную. Учинив по великому пространству разорение, дошли до долгой стены, которая на день пути отстоит от Царяграда. Несколько после того, римляне, следуя за славянами и залучив часть оных, побили внезапным нападением и, порубив многих, отняли римских пленных великое множество, и взято назад Константиново знамя. Прочие славяне с корыстию в дома возвратились.

Таковы суть знатнейшие свидетельства походов сла-венских на Римскую державу. Впрочем, нет сомнения, что в войнах готских, вандальских и лонгобардских великое сообщество и участие геройских дел приписывать доляшо славянам. Показывает помянутый Прокопий³⁶ соединение их с лонгобардами, гепедами и готами ради Ильдизга, королевича лонгобардского. От великого множества славян, бывших с прочими северными народами в походах к Риму и Царюграду, произошло, что некоторые писатели готов, вандалов и лонгобардов за славян почитают, хотя они действительно германского были племени.

Следы знатных славенских походов явствуют из их преселений. Чехи, по описанию того же Прокопия³⁷, жительствоваали на берегу Евксинского понта, которым в прежние времена ставил королей римский император, а тогда уже ему не были ни в чем послушны. Нынешнее чехов обитание около вершин реки Албы свидетельствует о их походах, также и о преселениях прочих единоплеменных им народов. Болгары, при Анастасии, царе греческом, в первый раз на Римскую империю нападение учинившие, тоже показывают, что они славяне были; с вандалами и лонгобардами воевали в сообществе.

Взаимное северных и южных славян друг другу вспоможение явствует из приходу болгаров дунайских для населения Славенска: первое после великого мору, от которого жители почти все погибли, второе по

нашествии гуннов, от коих Славенск разорен и положен в конечное запустение.

Всех походов, преселений и смешений славенского народа для великого их множества и сплетения описать невозможно и не так нужно, как в следующих частях показать дела российских наших праотцев. Для того поспешаю к описанию прочих народов, поелику до нас касаются, как участники в составлении нашего общества.

РАССУЖДЕНИЯ О ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ ИЛИ ОБ ОДЕ

Фрагменты

ОБ ОПЕРЕ

Опера не есть изобретение одной Италии, как многие думают; но она в некоторых отношениях есть не что иное, как подражание древней греческой трагедии. Там также разговоры препровождались музыкою, как и в ней речитативы, только известными тонами³⁸; равно лирические стихи пелись хорами, но тоже уставными. С другой стороны, известно, что в новейшие времена у разных народов к увеселению государей и знатных особ изобретены и введены в нее новые перемены, который соединены и смешаны с разнотонною музыкою, различными представлениями, чего прежде не было. Долгое время Опера была забавою только дворов, и то единственно при торжественных случаях; но как в ней большая часть есть лирическая, или лучше, прямая важная Опера, по образцам Метастазия, должна быть вся писана краткими лирическими стихами, или, по крайней мере, скандированною прозою, чтоб удобно было ее сопровождать музыкою; а потому и скажем нечто об ней.

Немецкие эстетики³⁹ италиянскую Оперу и хвалят и хулят. Они говорят: «В сем чрезвычайном зрелище господствует удивительная смесь великаго и малаго, прекраснаго и нелепаго. — В лучших-де операх видишь и слышишь такая вещи, которая или по ничтожности, или по несообразности своей, подумаешь, для того только припутаны, дабы подурочить зрителей, попужать детей и легкомысленную чернь. Между тем посреди сих безделиц, мелочей и даже обидных для хорошего вкуса представлений, встречаешь такая действия, которая глубоко проникают сердце, наполняют душу восхищением, нежнейшим состраданием, сладостным удовольствием, или ужасом и содроганием. В одной сцене негодуешь на дурачество, в другой, позабывая себя, берешь участие в действующих и не веришь, каким образом случилось, что те же, которые удивляли великодушием, благородною осанкою, вежливым обхождением, вдруг, как шуты или сумасброды, смешною надутостию, уродливым кривляньем и всякими непристойностями морят со смеху детей и народ, досажая благомыслящим, которые для того иногда от них от возвращаются. Кроме сих противоположностей, несоответственностей и несвязностей в игре их, благоразумию и хорошему вкусу противных, усматриваются неудобства и почти невозможности иметь совершенную Оперу по самым ее правилам. В ней требуется разнообразности, чудесности, беспрестанных перемен и самой чрезвычайности в отношении природы. Для сего необходимы не токмо все искусства, но и многий науки: Поэзия, Зодчество, Музыка, Живопись, Перспектива, Механика, Химия, Оптика,

Гимнастика и самая Философия для познания и изъяснения всех страстей и тайных изгибов сердца человеческого, какими средствами удобнее его растрогать и привести в желаемое положение. Сего же без превосходных дарований виртуозов сделать не можно. Таланты редки, а ежели и найдутся, то наивеличайшая в том со стоит трудность, чтоб по самолюбию, по самонравию и по неисчисленным их прихотям привести их к искреннему единодушию, дабы все действовали согласно и к единой цели. Всякий из них своим искусством хочет отличаться, не смотря на то, хотя бы на счет другого, а иногда и на свой собственный, лишь бы, например, поэту исполним ским воображением, певцу чрезмерною вытяжкой голоса, музыканту непонятными прыжками перстов, при гром ком рукоплескании заставить выпучить глаза и протянуть уши такого же вкуса людей, каковы они сами. Оттого-то бывает, что они в таковых случаях уподобляются тем канатным прыгунам, которые руки свои принуждают ходить, а ноги вкладывать в ножны шпагу, думая, что это чрезвычайно хорошо. От таковых-то усилий и несообразностей с прямым вкусом выходит в италийских операх нелепица. Вместо приятнаго зрелища — игрище, вместо восхитительной гармонии — козлоглашение. Наконец, гг. немецкие эстетики говорят, что великолепное сие представление со всем превосходством его изобретения, наилучшим из всех представлений быть долженствующее, вымышлено больше по легкомыслию, нежели благоразумию, потому что оно, с одной стороны, совершенным почти быть не может, а с другой, в странных его и шутовских явлениях унижает самыя превосходныя дарования и делает изящныя художества презрительными. Самые Италиянцы признаются, что наивеликолепнейшая опера нередко бывает скучною, даже и несносною, оттого что уклонилась от природы и не удерживает в себе даже и те ни вероятия. Если же и доставляет некоторое удовольствие то только минутное, для того что, увеселяя зрение и слух, не питает души. Здравомыслие редко в операх проскакивает. В разсуждении чего, по великим на нее издержкам, по безчисленным в ней трудам и по многообразным сцеплениям вещей, она подобно той многосложной машине, которая безпрестанно портится. Это, по изречению Августа⁴⁰ *, есть та рыба, которая не стоит золотой уды, или игра свечи.— Если ж что и имеет в себе хорошего, могущаго принести некоторую пользу, то единственно то, что подала случай соединить поэзию с музы кою, как водилось то у древних».— По всем таковым при чинам, гг. эстетики желают ея исправления, дабы возвысить к той благородной цели, какова была греческая трагедия, от которой она происходит.

Я не вовсе намерен соглашаться с таковым строгим судом, ниже смею защищать Оперу. Любимец муз, имеющий доступ к государю, уважение от своих подчиненных и благорасположение к себе публики, которому бы поручено было в управление сие важное зрелище, и посредственностью онаго может заслужить благодарность. Тонких

знатоков мало, вкусы различны, и миг удовольствия — шаг к блаженству. А сего уж и много, когда доставится случай некоторым и несколько часов провести с приятностию. Какое же другое зрелище к сему способнее, как Опера? — Она, мне кажется, перечень, или сокращение всего зримаго мира. Скажу более: она есть живое царство поэзии; образчик (идеал), или тень того удовольствия, которое ни оку не видится, ни уху не слышится, ни на сердце не восходит, по крайней мере простолудиму. В ней представляются сражения, победы, торжества, великолепный здания, хижины, пещеры, бури, молнии, громы, волнующийся моря, кораблекрушения, бездны, пламень из рыгающий. Или в противоположность тому: приятные рощи, долины, журчащие источники, цветущие луга, класы, зефиром колеблемые, зари, радуги, дожди, луна, в ночи блистающая, сияющее полуденное солнце; в ней снисходят на землю облака, сидят на них боги, летают гении, являются привидения, чудовища, звери, рыкают львы, ходят деревья, возвышаются и исчезают холмы, поют птицы, раздается эхо. Словом, видишь пред собою волшебный, очаровательный мир, в котором взор объемлется блеском, слух гармониею, ум непонятностию, и всю сию чудесность видишь искусством сотворенну, а притом в уменьшительном виде, и человек познает тут все свое величие и владычество над вселенной. Подлинно, после великолепной оперы находишься в некоем сладком упоении, как бы после приятнаго сна, забываешь всякую неприятность в жизни. Чего же желать? — Касательно же мораль ной ея цели, то что препятствует возвести ее на ту же степень достоинства и уважения, в коем была греческая Трагедия? — Известно, что в Афинах театр был политическое учреждение. Им Греция поддерживала долгое время великодушныя чувствования своего народа, превосходство ея над варварами доказывающий. Много говорено и писано, что слава есть страсть душ благородных; что ничем другим героев рождать и сердцами их располагать не можно, как ею одною. Великий Суворов разведывал, что о нем говорят ямщики на подставах, крестьяне на сходках. От граждан они получают известие о городских потехах, если в них сами не случатся. Ничем так не поражается ум народа и не направляется к одной мете правительства своего, как таковыми приманчивыми зрели щами. Вот тонкость политики ареопага и истинное поприще Оперы. Нигде не можно лучше и пристойнее воспевать высокий сильныя оды, препровожденный арфою, в безмертную память героев отечества и в славу добрых государей, как в опере на театре. Екатерина Великая знала это совершенно. Мы видели и слышали, какое действие имело героическое музыкальное представление, сочиненное ею в военное время под названием Олег, в котором одна строфа из 16 - ой оды г. Ломоносова была воспеваема:

Необходимая судьба
Во все народы положила,
Дабы военная труба

Унылых к бодрости будила.

Один стих в таком представлении может произвести следствия, подобныя известному слову, сказанному Александром Великим⁴¹ Кассандру.

Но оставим политику; сообщим нужные замечания для желающих сочинять оперы.

По принятому издревле обыкновению, ради своей чудесности, Опера — разумеется трагическая — почерпает свое содержание из языческой мифологии, древней и средней истории. Лица ее — боги, герои, рыцари, богатыри, феи, волшебники и волшебницы.

У нас из славянского баснословия, сказок и песен древних и народных, писанных и собранных господами Поповым, Чулковым, Ключаревым и прочими в так названных книгах: Досугах, Славянских сказках и песенниках, много заимствовать можно чудесных происшествий. Сочинитель опер и трагик могут одно и то же содержание обрабатывать, представляя знаменитые действия, запутанный противоборствующимися страстями, которые оканчиваются какими-либо поразительными развязками торжественных или плачевных приключений. Сочинитель оперы отличается тем только от трагика, что смело уклоняется от естественного пути и даже совсем его вы пускает из виду; ослепляет зрителей частыми переменами, разнообразием, великолепием и чудесностью приводит в удивление, не смотря на то естественно или неестественно, вероятно или невероятно. В трагическом роде пред почитает всем другим высокое трогательное, и изъясняется сильным чувством, а не словами одними; в плане и в действиях избегает умничества, держится простоты, в ходе не спешит чрез меру, зная, что противна то свойству пения, еще того более бережется от продолжительной и трудной развязки, почитая, что это дело ума, и нужно в Трагедии, а не в Опере, где надобно более чувства, в продолжение которого, что говорит, что делает, то и выражает языком кратким, чистым. Песни, или самые оды для хороши, когда бы пристойность и случай позволили петь их, должны быть ненадуты, просты, сильны, живым наполнены чувствованием. Самой первой степени поэт, ежели он в слове своем нечист, тяжел, единообразен, единозвучен, не умеет изгибаться по страстям и облекать их в сердечный чувствования, — к сочинению оперы не годится. Не позаимствуют от него ни выразительности, ни приятности лицедей и уставщик музыки. Сочинитель опер непременно должен знать их дарования и применяться к ним, или они к нему, дабы во всех частях оперы соблюдена была гармония. Комический оперист, применяясь к сему, заимствует содержания свои из романов, из общежития, шутит благородно, более мыслями, нежели словами, избегающая площадных, а паче перековеркивания их по выговору иностранцев. Италиянцы обильны и теми и другими, а Французы более комическими операми, особливо маленькими, называемыми у них

оперетками. У нас важных опер, сколько я знаю, только две, сочиненныя Сума роковым: Цефал и Прокрис, Пирам и Тизбе. Есть пере веденныя из Метастазия и других иностранных: но оне играны на тех языках, а не на русском. Находится не сколько забавных, сочинения г. двух Княжнинных, Хераскова, князя Горчакова, князя Шаховскаго, Попова и про чих; но всем предпочитается г. Аблесимова Мельник, по естественному его плану, завязке и языку простому. Выше видно, что покойная императрица удостоивала сей род поэзии своим занятием. Она любила русский народ и же лала приучить его и на театре к собственной его идиоме⁴².

О ПЕСНЕ

Песня родилась вместе с человеком прежде нежели лепетал, издавал он глас. О сем уже сказано в самом на чале сего лирическаго разсуждения. Российский старинный песни разделяются на три статьи: на протяжный, плясовые и средняя. О характере, мелодии и сходстве их с древними и греческими видно в предисловии покойнаго тайнаго советника и кавалера Львова, при книге, издан ной им в 1790 году о народном русском пении, где вся каго содержания песни, собранный старанием его, поло жены на ноты придворным капельмейстером Прачем⁴³. —

Здесь скажем нечто о их стихотворении; оно просто, ближе к природе, нежели к искусству; отличается, большею настию в началах песен, едва ли не от всех иностранных, отрицательными сравнениями и сокращенными прилагательными именами, как то не ясен сокол по поднебесью, черн ворон, вместо черный, что придает ему некоторую особенную загадку, важность и силу; не во всех есть связь; большая часть без рифм; разнаго рода и мер стихов; а не так, как ныне пишутся с рифмами, одними почти трехстопными ямбами и хорейми. Вот их спечатак, или подобие древним: цыганский, по быстроте слога и по приговорке какой-нибудь одной речи, точно суть дифирамбы; подблюдныя по гаданиям, или клиноды; святочныя, по игре⁴⁴, как наша: жив, жив курилко, и так далее. Нельзя сказать, чтоб в них и поэзии не было, хотя не во всех. На ходятся такая, в которых видно не только живое воображение дикой природы, точное означение времени, трогательный, нежныя чувства, но и философическое по знание сердца человеческого. Такова есть песня в сказан ной книге под № 3. Находятся такая, кои веселую фантазию в веселых видах изъясляют, например под № 15. Есть показывающий естественное верное подобие, как под № 34. Наконец не недостает и таких, в которых показывается сравнениями нежнейшая в своем роде высокость мыслей, проникающая душу; также и таких, которыя мрачными картинами и мужеством во вкусе Оссияна возбуждают к героизму. Первая из сих двух последних под № 29. Скажем вкратце ея содержание: любовник просит позволения у прежней своей любовницы жениться, уверяя ее, что он ее будет любить по прежнему. Она ему ответствует:

Ах, не греть солнцу жарче летняго,
Не любить другу больше прежняго.

Вторую прилагаю подлинником:

Уж как пал туман на сине море,
А злодей-тоска в ретиво сердце;
Не сходить туману с синя моря,
Уж не выдти кручине из сердца вон.
Не звезда блестит далече в чистом поле.
Куруется огонечек малешенек:
У огонечка разостлан шелковой ковер,
На коврике лежит удал добрый молодец,
Прижимает белым платом рану смертную,
Унимает молодецкую кровь горячую.
Подле молодца стоит тут его добрый конь,
И он бьет своим копытом в мать сыру землю,
Будто слово хочет вымолвить хозяину:
Ты вставай, вставай, удалой добрый молодец!
Ты садися на меня на своего слугу,
Отвезу я добра молодца в свою сторону,
К отцу, к матери родимой, к роду-племени,
К милым детушкам, к молодой жене.—
Как вздохнет удалой добрый молодец;
Подымалась у удалаго его крепка грудь;
Опускались у молодца белы руки,
Растворилась его рана смертная,
Пролилась ручьем кипячим кровь горячая.
Тут промолвил добрый молодец своему коню:
Ох, ты, конь мой, конь, лошадь верная!
Ты товарищ моей участи,
Добрый пайщик службы царския!
Ты скажи моей молодой вдове,
Что женился я на другой жене;
Что за ней я взял поле чистое,
Нас сосватала сабля острая,
Положила спать калена стрела.

Сочин. Неизвестнаго

Словом: в русских древних народных песнях много любопытнаго разнообразия в картинах и в слоге, свойственных нашей поэзии. Можно о сем читать с великою основательностию писанное Шишковым в разговорах о словесности, напечатанных в прошлом 1811 году. Но относительно древних песней, изданных г. Ключаревым, о коих выше при описании

Романса упомянуто, то в них нет почти поэзии, ни разнообразия в картинах, ни в стопосложении, кроме весьма немногих. Оне одноцветны и однотонны. В них только господствует гигантск, или богатырское хвастовство, как в хлебосольстве, так и в сражениях, без всякаго вкуса. Выпивают одним духом по ушату вина, побивают тысячи бусурманов трупом одного схваченнаго за ноги, и тому подобная нелепица, варварство и грубое неуважение женскому полу изъясляющая. А как рассказы таковых побед почти все оканчиваются над Татарами, то и должно заключить из сего, что по освобождении уже от ига их оне сочинены каким-нибудь одним человеком, а не многими, чем и доказывается не вкус целаго народа. Примечания ж в них только то достойно, что видны при некоторых случаях повторения, как в Гомеровых песнях, того же самаго и теми же точными сло вами, что уже выше было сказано. Но теперь станем го ворить о нынешних песнях; оне заимствованы от Европейцев. Ежели не взять появления их со времени Тредьяковского, когда он перевел несколько французских и не большую поэму, называемую: Езда в остров любви, также сочинил несколько своих песен, будучи еще в Гамбурге 1730 года, какова например:

Весна катит,
Зиму валит,
Поют птички
Со синички,
Хвостом машут и лисички:

то и нельзя, кажется, происхождение новых наших песен отнести далее времени Петра Великаго, когда сблизил он нас с Европою. Царствование императрицы Елисаветы век был песен. Она сама благоволила снисходить на сию забаву. Для показаня тогдашняго вкуса прилагаю ниже сего песню, сколько по преданию известно, сочиненную собственно ея особою. Таковыя вообще песни, разумеется изящныя, или лучшаго разбора людей, по разеуждению эстетиков, не что иное, как мгновенный взгляд на природу приятную, нежную, веселую, игривую, в которой наслаждается человек блаженством жизни; или вопреки тому, в несчастных случаях сокрушается горестию, унынием, тоскою, печалию и далее. Предлог песни, выражение и ход ея приличен ея содержанию. Он легок, естествен, прост. В песни господствует полное, живое чувство, как и в оде; но только гораздо тише, не с таким возвышением и распространением. Песня назначена природою для пения: то и должна она быть сладкозвучною, способною к музыке и к повторению каким-либо инструментом. В песне ни радостное, ни горестное, ни забавное, ни издевательное ощущение не преступает правил благопристойности и границ общезжития. Знатоки говорят, что между песнею и одою трудно положить черту различия. Но если оно и существует, то основывается ни на чем

другом, как на постепенности. Для разбора же подобных степеней в сочинениях надобен весьма пронизательный ум и крайне тонкое чувство, чтоб определить их решительную разность. В оде и песне столь много общего, что та и другая имеют право на присвоение себе обоюдного названия; однакоже не можно указать и между ими некоторых оттенков, как по внутреннему, так и по внешнему их расположению. По внутреннему: песня держится всегда одного прямого направления, а ода извивчиво удаляется к околичным и побочным идеям. Песня изъясняет одну какую-либо страсть, а ода перелетает и к другим. Песня имеет слог простой, тонкий, тихий, сладкий, легкий, чистый; а ода смелый, громкий, возвышенный, цветущий, блестящий и не столько иногда обработанный. Песня долгое время иногда удерживает одно ощущение, дабы продолжением она более напечатлеться в памяти, а ода разнообразием своим приводит ум в восторг и скоро забывается. Песня сколько возможно удаляет от себя картины и витийство, а ода, напротив того, украшается ими. Песня чувство, а ода жар. По внешнему составу: песня имеет сходные с первым, одинакие и ровные куплеты; а ода иногда разномерные и неравностроичные строфы. Песня во всяком куплете содержит полный смысл и окончательные периоды; а в оде нередко летит мысль не токмо в соседственные, но и в последующий строфы. Песни у нас пишутся по большей части хорееми, или другими метрами, но только трехстопными, или двухстопными стихами, удобными полагаться на музыку; а оды для чтения, наиболее четырехстопными ямбами, громогласные звуки издающими, по крайней мере так почти всегда писали гг. Ломоносов и Сумароков, следуя Немцам и Французам. Песня имеет один напев, или мелодию, в рассуждении единообразная ее куплетов расположения и меры стихов, которые легко могут затверживаться наизусть и вновь возрождаться в памяти своим голосом; а ода, по неравным своим строфам и разносильным выражениям, в рассуждении разных своих предметов, разною гармонией) препровождаться долженствует и не легко затверживается в памяти. Песня должна украшаться искусственною простотою, гладкотекущими стихами и богатыми рифмами; а ода довольствуется одним механическим движением и просодиею, небрежа слишком о звонких рифмах, или вовсе пишется без оных; но печется только о богатстве, высоте мысли и яркой выразительности. В песне царствует приятность, а в оде парение. Песня никакой шероховатости, никакой погрешности не терпит; а в оде иногда, как в солнце, небольшие пятна извиняются. Песня вообще избегает важных, славянских слов, смелых оборотов и всяких лирических украшений, довольствуется одною только ясностию и искусственною простотою; а ода без славянского языка, извитий и глубокомыслия почти обойтись не может. Наконец, в песне все должно быть естественно, легко, кратко, трогательно, страстно, игриво и ясно, без всякого умничества и натяжек. Превосходный лирик должен иногда

уступить, в сочинении песни, ветряной, веселонравной даме. Французы в сем роде поэзии признаются во всей Европе лучшими искусниками. Особенно их любовныя, забавный, застольный песни, по вкусу приятности своей, едва ли не достигли совершенства. Множество и у нас подобных, инья, может быть, и не хуже, что можно видеть во всех наших песенниках, где находятся песни на всякие случаи. Лучшие песней сочинители у нас почитаются: гг. Нелединский, Дмитриев, Попов, Богданович, Капнист, Карамзин, князь Горчаков и другие, которых имена предоставляю себе показать, а особливо отличных лириков, в номенклатуре. В заключение вот та пасторальная песня, которая от носится преданием к помянутой высочайшей сочинительнице:

Чистый источник: всех цветов красивей,
Всех приятней мне лугов
Ты и роц всех, ах! и меня счастливей,
Гор, долинок и кустов;
Но не тем, что лишь струйки тихо льются
По сыпучему песку
И что птичек в слух песни раздаются
По зеленому леску.
Нет, не тем; но прекрасно умывала
Нимфа что лицо тобой,
С брегу белыя ноги опускала
И ток украшала твой.
Тут и алыя розы устыдились,
Зря ланиты и уста,
И лилеи к ней на грудь преклонились,
Что белей их красота.
О, коль счастливы желтыя песчинки,
Тронуты ея стопой!
О, коль приятны легкия травинки,
Смятыя ея красой!
Тише ж ныне, тише протекайте,
Чисты струйки по песку
И следов с моих глаз вы не смывайте,
Смойте лишь мою тоску.

ИЗ НЕИЗДАННОГО

Светлое быстрое течение реки представляет нам нашу юность, волнующееся море мужество, а тихое спокойное озеро старость.

*

Самое лучшее предзнаменование есть защищать свое отечество.

*

Истинное назначение человека есть общее, мудрецу и невежде.

ОБ ИСТОРИИ

История есть наука деяний. История Естественная содержит действию вещества. История Гражданская деянии человеческия.

Отдаленный времена покрыты тьмою, а описывать дела веку своему — подвергаться опасности.

История повествует просто и без пышностей события с засвидетельствованием доверенности их, отвергая двусмысленность.

Записи не иное что суть как припасы историческия. Лучшие источники письма.

Летопись означает число и порядок времен.

Поденный записи хранилище безделиц.

Некоторой особенной род истории суть Анекдоты. В них собираются любопытныя и достойныя примечания дела, Дабы их разобрать философически и политически. В них может вдаваться Автор в глубокий размышления, кои означат дарования его.

История природы есть книга Дел Божественных.

О СТРАСТЯХ

Есть как бы две души в человеке, одна — порядку божественнаго, и познание которой принадлежит более к религии, нежели философии; другая вещественная и чувствительная, которую имеем мы общую со скотами, и которую можно почитать как бы орудием души невидимой. Тело служит ей домом, а сердце или мозг главным престолом.

Страсти содержат союз, находящийся между душой и телом. Однакоже изображают их как бы семенами бури, кои влекут опустошение и беспорядок в сердце, мучащие разум и свободу.

Насильственный страсти суть как бы тигры, раздирающие нас; все чудовища изображаются попеременно на лице человека, разъярившегося мщением или гневом.

Самыя блистательный страсти имеют постыдный оборот.

Насильственная страсть не позволяет ни малейшаго размышления разуму, и не может внимать советам дружбы, столько-то она имеет ужаса встречаться сама с собою.

Господствующая страсть подобна повиллице, которая прилепляется к самым добродетелям и заглушает их, объемяя их.

Отличныя деяния и заслуги самыя отменныя происходят от тайной страсти, которая бы их учинила подлыми, ежели бы они осмелились снять с себя личину.

Ежели страсти суть болезни в нравоучении, то оне могут послужить средствами в порядке физическом.

Надежда есть самое полезное из всех пристрастий души: поелику она содержит здоровье чрез спокойствие воображения.

Надежда есть род радости, подобная золоту в листах, развертывается и распространяется на все мгновения жизни.

Удивление, происходящее от созерцания природы, есть спокойное побуждение, растрогивающее умы и содержащее чувства в благоприятной деятельности.

Мужественный человек делает неподвижным труса, так, как собака останавливает птицу.

Не в сочинении нравственном и философском надлежит учиться страстям, но наипаче у Стихотворцев и в истории. Оне там развертываются с цветами и изображениями поразительнейшими, нежели разбирательства методическая или по способу.

Государь, держа в руке кормило правления, не более способен к возвышению власти своей на остатках противо положительных мятежей, сколько деятельно самолюбие к удов летворению себя на идет каждой страсти.

О ПРЕВРАТНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДЕЛ

Вселенная вращается безпрестанно, никогда не останавливаясь, и в вечных переменах ея время уносит и возвращает великия позорища, кои находятся в круге пери одических приключений. Новость часто бывает не иное что, как забвение прошедшаго.

Один человек не может ни чего над целою вселенною, и вещи кои хотят похитить у любопытства с величайшим старанием, суть те, кои убегают наиболее тьмы забвения <...>.

О ЛИХВЕ

<...>Не слушайте Махиавеля! Он бы вам сказал, что мнение честности может быть средством к достижению; но что самая честность есть препятство; что не можно удовлетвориться в людях иначе как наведши на них ужас.

Да погибнет тысяча друзей, лишь бы только один враг умер.

<...>Его политика не иное что как Злоба, приведенная в Систему.

<...> Но помните что пути самые краткие суть опасны и исполнены стремнин; что великое щастие есть бич ужасный в руках неправосудия; что добрые нравы суть награда честнаго человека.

Щастие имеет своенравие женщинам свойственное, кои не предаются от гордости самым страстным любов никам.

Наконец что говорит философия! Прилепитесь к добродетелям
<...>.

О ПРИРОДНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ И О НАВЫКЕ

<...> Хорошие законы могут исправить заблуждения в душе
щастливо рожденной и невоспитанной; но они не могут добродетелию
осеменить худаго сердца<...>.

О СУПРУЖЕСТВЕ И ХОЛОСТОМ СОСТОЯНИИ

Жена и дети суть поручители, кои человек дает благосостоянию.
Деловой человек есть худший сборщик,— нежели Супруга самая
роскошная.

Генералы Римские разгорячали многократно мужество воинов,
смешивая с именем Отечества воспоминание супруг и детей. Сии нежные
обязательства действительно суть училище человечества в место того, что
холостой величайшим числом пособий к деланию добра, имеет меньше сея
чувствительности внутренней, которая делает нас благотворительными.

Непорочность супружеская вдыхает некоторой род величавости
женщинам; она простирается даже до надменности, ежели они имеют
довольно красоты для сообщения ревности.— Женщины суть
обладательницы наши в младости, подруги наши в зре(ло)м возрасте и
наши питательницы в старости.— И так имеем во всяком возрасте
причины жениться.

О РОДИТЕЛЯХ И ДЕТЯХ

<...> Странно, что те, кои не имеют потомства, работают более над
потомством.— Большая часть общенародных памятников возставлена была
от граждан, кои, умирая без детей, хотели однакож увековечить имя свое и
воспоминание их.— Так сказать сочетавшись с Отечеством, они хотели его
одарить собственными своими имуществами, так как бы Отечество,
которое имело все их усердие в течение жизни их, долженствовало
наследовать благосостояние их по смерти их<...>.

ТОРГ СЕМИ МУЗ

Из Кригеровых снов, 13

Юпитер определил быть всеобщему собранию богов. Он объявил им, что любезнее ему всех животных люди, и для того предпринял он сделать их вообще благополучными. Все на то были согласны и поручили о том стараться Аполлону. Таким образом, послал он семь Муз и удержал у себя только двух, чтоб одному не остаться. Каждая из них имела на спине короб, в которых были средства к человеческому благополучию. Первая носила разум, другая добродетель, третья здоровье, четвертая долгую жизнь, пятая мысленные увеселения, шестая честь, а последняя имела короб, наполненный золотом. Они сошли все вместе с Парнаса и отправились в город, когда в оном был день торговый. Там было великое множество народа, а особливо превосходило более число молодых людей, которые окружили Муз, когда стали они продавать свои товары.

«Я продаю разум, — говорила первая, — покупайте его. Я вижу, что в оном есть у вас недостаток; когда будете вы иметь его, то не будет вам нужды покупать более у сестер моих. Я уверяю, что разум — товар очень редкий». Тогда сделался в народе великий смех. Видно, что она девка веселая, говорили они тогда; жаль только того, что она не моложе. Муза, не продав там своего товару, пошла по улицам и объявляла еще, что продает разум. Всякий смотрел на нее из окошка и, глядя на короб, смеялся. Она, приметив, что сей труд ее бесполезен, предприняла идти с товаром по домам, и, пришед в первый дом, поставила она короб с товаром своим на пол, чтоб отдохнуть несколько. По несчастию, бранилась тогда госпожа дому с своим мужем и, зляся на него, била всех своих слуг и служанок. Она, увидев Музу, спросила ее сурово, зачем она пришла? «Сударыня, — говорила ей Муза, — не изволите ль купить у меня разуму? Покупайте теперь его, он вам вперед пригодится: может быть, больше я в дом ваш не буду, а товар вам, поверьте, очень надобен; вы довольно имеете в себе достойного любви, и только недостает вам разума». — «Что за черт! — закричала госпожа. — Разве я дура?» — «Не прогневайтесь, сударыня, — отвечала ей Муза, — я от глупости вас избавить теперь хочу: вы видите, что продаю я разум». После сих слов госпожа, рассердись жестоко, подняла руку, чтоб ударить Музу, и она бы отправила ее добрым порядком, когда бы Муза не убралась скорее из дому. Лишь только она оттуда вышла, то бежал за нею таможенный сборщик и кричал ей: «Что у тебя в коробе? Отдай за это пошлину». — «Я продаю разум», — говорила Муза. «Разум! — вскричал сборщик. — Что это за чудо! Я, мне кажется, сборщиком лет с тридцать, да не видывал сего отроду. Изрядно, друг мой,

— продолжал он, — я короб твой запечатаю; мне надобно знать, не заповедный ли это товар?» Он сказал о том судьям, которые определили выгнать Музу из города, для того что разуму в нем довольно и граждане не имеют в том ни малой нужды, да и непристойно за такой товар платить деньги. Таким образом, выгнана была Муза из города и запрещено было ей являться туда по смерти.

Другая Муза, которая продавала добродетель, кричала также по всем улицам, но не нашла купцов, для того что все почли ее за дуру. Наконец сказал ей один разумный старик: «Любезная Муза! Товары твои здесь не в моде; сказывают, что они очень стары, а наши дамы смеются уже тем уборам, которые носили их бабушки. Ты лучше сделаешь, ежели перестанешь напрасно трудиться. Моды переменяются часто. Добрый человек в старину был титул почтенный, а ныне значит то: дурак». По счастью, имела Муза тогда с собою терпение, помощью которого получила она силу отнести назад свои сокровища.

Третья Муза, которая продавала здоровье, хотя и имела несколько купцов, однако были все почти такие, которые столь повреждены были беспорядочною жизнью, что помочь им никаким образом невозможно было. По несчастью, случился тут ученый доктор, которого больные увидя, оставили Музу и пошли все к нему, говоря: «Пойдем лучше искать помощи у него; мы знаем, сколь много вылечивает он от болезней своими рецептами, а эта дура советует нам пить колодезную воду». Таким образом, принуждена была Муза затворить свой короб; а из всего народа не больше было двух человек, которые выздоровели от ее лекарств, для того что никто не хотел хранить правил, которые она предписывала.

Четвертая Муза объявляла, что продает долгую жизнь. Лишь только она выговорила сии слова, то вдруг все, и больные и здоровые, окружили Музу. Богатые отдавали за сие половину своего имения и нарочно, чтоб не раскупили у нее прочие столь полезного товару, приставили они десятских отгонять палками простой народ. «Любезная Муза! — говорил тогда восьмидесятилетний старик. — Я, слава богу, имею шестьсот тысяч рублей денег, которые нажил я, сказать правду, и потом и трудами; мне хотя очень трудно беречь их в безопасности, однако умереть не хочется, да мне и досадно, что по смерти моей будут они промотаны детьми моими. Что бы ты взяла с меня, — продолжал он, — когда бы мне еще прожить можно было лет десятков восемь?» — «Я возьму с вас, — говорила Муза, — тысячу восемьдесят». — «Как! Восемьдесят тысяч! — отвечал старик. — Это шутка тебе кажется? Разве восемь тысяч, то бы несколько было еще сносно; вить надобно жить, да было бы чем прожить». — «Государь мой! — ответствовала Муза. — Знайте, что деньги, кои получаю я за товар сей, назначены для употребления людей разумных и добродетельных, которые обедняли, и ведайте, что бедным я ни в чем отказать не могу». — «Пускай то будет, — говорил старик, — а что много,

то много; изволь, быть так; я прибавлю еще сто рублей, итого будет восемь тысяч сто рублей серебряною монетою». — «Изрядно, — отвечала Муза, — я готова вам служить, да мне надобно еще сказать и то, что вам кроме сего должно купить у сестр моих разуму, добродетели и здоровья, а без них товар мой будет или совсем недействителен, или сделает вам жестокую печаль и будет большим еще бременем». — «Да где твои сестры?» — спросил старик. «Вы должны их искать, — отвечала она. — Я чаю, не вышли они еще из города. Капиталисты выходили по их сыскную, послали искать их по деревням, однако нигде найти не могли».

Пятая Муза, которая продавала забавы, окружена была таким образом от людей обоего пола, что не было уже сил ее стоять. Она упала и разбила короб. Люди напали с таким жаром на забавы, что разорвали их по клочкам, и никому не досталась совершенная забава; кто получил малую часть оных, тот тужил о том, для чего она не вся, и завидовал тому, который имел то, чего недоставало у него. Со всем тем, никто не хотел уступить другому. Муза не пеняла тогда за их чрезмерную жадность к забавам, для того что чрез сие они их стали лишены, хотя она и даром им уступить их хотела.

Шестая Муза продавала честь. У нее покупали так жадно, что доходило до драки, а иногда убивали друг друга и до смерти. По счастью, поспешила туда строгая команда, которая привела ее в безопасность от блистающих мечей вокруг ее главы. Посреди толь великого безумства людей, отворив она свой короб, вынула из него истинную славу и наполнила его пустыми титулами. После того кричала она людям: «Прошу вас, будьте рассудительнее и подумайте, что истинная слава должна достигнуть вас сама собою». Однако на то не смотрели, и нашлись такие удалцы, что разогнали команду, напали па короб и начали ссору за пустые титулы, которыми он был наполнен. Я удивился, когда увидел, что тут были и такие люди, которые прежде сего казались кроткими и благочестивыми. Муза смеялась, видя их дурачество, и говорила сама в себе: «Пускай дураки ловят пустые титулы, а истинную славу отдам я Аполлону, чтоб наградил он ею тех, которые ее достойны». В таких размышлениях вышла она из города и увидела у ворот почти в беспамятстве меньшую свою сестру, которая носила деньги. «Что ты здесь делаешь, сестрица? — говорила она ей. — Сколь жалко видеть мне тебя в таком состоянии». Наконец несколько отдохнула умирающая Муза и начала говорить с тяжкими вздыханиями: «Ах! сколь я благополучна, увидя еще тебя; ты возвращаешь мне жизнь, которой я казалась быть лишленною. Никогда я не думала, чтоб люди были столько безумны. Пойдем скорее от таких уродов в безопасное место. Я истинно боюсь, чтоб они на меня еще не напали». — «Да что они тебе сделали?» — спрашивала та. «Представь себе, — отвечала она, — тысячу волков, которые целую неделю ничего не ели и мимо которых идет человек и несет на спине

ягненка: то будешь ты иметь точное изображение того, что сегодня случилось со мною. Как скоро вошла я в ворота, объявляя, что несу золото и буду раздавать тем, кои имеют в нем недостаток, то прибежало ко мне множество народа. Которые были в домах, те выскочили из окошек; они повалили меня с коробом и разломали его на мелкие части. Всякий рвал более к себе и, чего не мог захватить руками, то доставал ртом. Но как не осталось у меня больше в коробе, то сорвали они с меня платье и обыскивали по карманам, нет ли еще денег. Не нашед более нигде, оставили они меня; однако те, кои ничего не получили, хотели у других отнять силою и вцепились друг другу в волосы, так что, я думаю, у всякого расчесаны они были добрым порядком, и кто больше получил денег, тот более был бит».

После того как о сем объявлено было богам и увидели они, сколь жадны люди к забавам, чести и богатству, то определили отдать сии три вещи тем, которые имеют разум и добродетель. Исполнилось ли обещание их или нет, того сказать я не могу.

БЕСЕДА О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ СЫН ОТЕЧЕСТВА

— Не все рожденные в отечестве достойны величественного наименования сына отечества (патриота). Под игом рабства находящиеся не достойны украшаться сим именем. — Поудержись, чувствительное сердце, не произноси суда твоего на таковые изречения, доколе стоиши при праге.

— Вступи и виждь! Кому не известно, что имя сына отечества принадлежит человеку, а не зверю или скоту или другому бессловесному животному? Известно, что человек существо свободное, поелику одарено умом, разумом и свободною волею; что свобода его состоит в избрании лучшего, что сие лучшее познает он и избирает посредством разума, постигает пособием ума и стремится всегда к прекрасному, величественному, высокому. Все сие обретает он в едином последовании естественным и откровенным законам, инако божественными называемым, и извлеченным от божественных и естественных гражданским, или общежительным.

— Но в ком заглушены сии способности, сии человеческие чувствования, может ли украшаться величественным именем сына отечества?

— Он не человек, но что? Он ниже скота; ибо и скот следует своим законам, и не примечено еще в нем удаления от оных. Но здесь не касается рассуждение о тех злосчастнейших, коих коварство или насилие лишило сего величественного преимущества человека, кои соделаны чрез то такими, что без принуждения и страха ничего уже из таких чувствований не производят, кои уподоблены тяглому скоту, не делают выше определенной работы, от которой им освободиться нельзя; кои уподоблены лошади, осужденной на всю жизнь возить телегу, и не имеющие надежды освободиться от своего ига, получая равные с лошадью воздаяния и претерпевая равные удары; не о тех, кои не видят конца своему игу, кроме смерти, где кончатся их труды и их мучения, хотя и случается иногда, что жестокая печаль, объяв дух их размышлением, возжигает слабый свет их разума и заставляет их проклинать бедственное свое состояние и искать оному конца; не о тех здесь речь, кои не чувствуют другого, кроме своего унижения, кои ползают и движутся во смертном сне (летаргия), кои походят на человека одним токмо видом, в прочем обременены тяжестью своих оков, лишены всех благ, исключены от всего наследия человеков, угнетены, унижены, презренны; кои ничто иное, как мертвые тела, погребенные одно против другого; работают необходимое для человека из страха; им ничего, кроме смерти, не желательно и коим наималейшее желание заказано и самые маловажные предприятия казнятся; им позволено только расти, потом умирать; о коих не спрашивается, что

они достойного человечества сделали? какие похвальные дела, следы прошедшей их жизни, оставили? какое добро, какую пользу принесло государству сие великое число рук?

— Не о сих здесь слово; они не суть члены государства, они не человеки, когда суть ничто иное, как движимые мучителем машины, мертвые трупы, тяглый скот!

— Человек, человек потребен для ношения имени сына отечества! Но где он? где сей, украшенный достойно сим величественным именем?

— Не в объятиях ли неги и любострастия? Не объятый ли пламенем гордости, любоначалия, насилия? Не зарытый ли в скверноприбыточестве, зависти, зловождедении, вражде и раздоре со всеми, даже и теми, кои одинаково с ним чувствуют и к одному и тому же устремляются? или не погрязший ли в тину лени, обжорства и пьянства? Вертопрах, облетающий с полудня (ибо он тогда начинает день свой) весь город, все улицы, все дома для бессмысленнейшего пустоглаголения, для оболщения целомудрия, для заражения благонравия, для уловления простоты и чистосердечия, соделавший голову свою мучным магазином, брови вместилищем сажи, щеки коробками белил и сурика или, лучше сказать, живописною палитрою, кожу тела своего вытянутою барабанною кожею, похож больше на чудовище в своем убранстве, нежели на человека, и его распутная жизнь, знаменуемая смрадом, из уст и всего тела его происходящим, задушается целою аптекою благовонных опрыскиваний,— словом, он модный человек, совершенно исполняющий все правила щегольской большого света науки: он ест, спит, валяется в пьянстве и любострастии, несмотря на истощенные силы свои; переодевается, мелет всякий вздор, кричит, перебегает с места на место, кратко — он щеголь.

— Не сей ли есть сын отечества? — или тот, поднимающий величавым образом на твердь небесную свой взор, попирающий ногами своими всех, кои находятся пред ним, терзающий ближних своих насилием, гонением, притеснением, заточением, лишением звания, собственности, мучением, прельщением, обманом и самым убийством, словом, всеми одному ему известными средствами раздражающий тех, кои осмелятся произносить слова: человечество, свобода, покой, честность, святость, собственность и другие сим подобные? потоки слез, реки крови не токмо не трогают, но услаждают его душу. Тот не должен существовать, кто смеет противоборствовать его речам, мнению, делам и намерениям! сей ли есть сын отечества?

— Или тот, стирающий объятия свои к захвачению богатства и владений целого отечества своего, а ежели бы можно было, и целого света и который с хладнокровием готов отъять у злосчастнейших соотечественников своих и последние крохи, поддерживающие унылую и томную их жизнь, ограбить, расхитить их пылинки собственности; который

восхищается радостью, ежели открывается ему случай к новому приобретению, пусть то заплачено будет реками крови собратий его, пусть то лишит последнего убежища и пропитания подобных ему сочеловеков, пусть они умирают с голоду, стужи, зноя; пусть рыдают, пусть умерщвляют чад своих в отчаянии, пусть они отваживают жизнь свою на тысячи смертей; все сие не поколеблет его сердца; все сие для него не значит ничего,— он умножает свое имение, а сего и довольно.— И так не сему ли принадлежит имя сына отечества?

— Или не тот ли, сидящий за исполненным произведениями всех четырех стихий столом, коего услаждению вкуса и брюха жертвуют несколько человек, отъятых от служения отечеству, дабы по пресыщении мог он быть перевален в постель и там бы спокойно уже заниматься потреблением других произведений, какие он вздумает, пока сон отнимет у него силу двигать челюстями своими? И так, конечно, сей или же который-нибудь из вышесказанных четырех? (ибо пятого сложения толь же отдельно редко найдем). Смесь сих четырех везде видна, но еще не виден сын отечества, ежели он не в числе сих!

— Глас разума, глас законов, начертанных в природе и сердце человека, не согласен наименовать вычисленных людей сынами отечества! Самые те, кои подлинно таковы суть, произнесут суд (не на себя, ибо они себя не находят такими), но на подобных себе и приговорят исключить таковых из числа сынов отечества, поелику нет человека, сколько бы он ни был порочен и ослеплен собою, чтобы сколько-нибудь не чувствовал правоты и красоты вещей и дел.

— Нет человека, который бы не чувствовал прискорбия, видя себя унижаема, поносима, порабощаема насилием, лишаема всех средств и способов наслаждаться покоем и удовольствием и не обретая нигде утешения своего. Не доказывает ли сие, что он любит честь, без которой он как без души. Не нужно здесь изъяснять, что сия есть истинная честь, ибо ложная вместо избавления покоряет всему вышесказанному и никогда не успокоит сердца человеческого.

— Всякому врождено чувствование истинной чести; но освещает оно дела и мысли человека по мере приближения его к оному, следуя светильнику разума, проводящему его сквозь мглу страстей, пороков и предубеждений к тихому ее, чести то есть, свету. Нет ни одного из смертных толико отверженного от природы, который бы не имел той вложенной в сердце каждого человека пружины, устремляющей его к люблению чести. Всяк желает лучше быть уважаем, нежели поносим, всяк устремляется к дальнейшему своему совершенствованию, знаменитости и славе: как бы ни силился ласкатель Александра Македонского, Аристотель, доказывать сему противное, утверждая, что сама природа расположила уже род смертных так, что одна, и притом гораздо большая часть оных должна непременно быть в рабском состоянии и, следовательно, не чувствовать,

что есть честь? а другая в господственном, потому, что не многие имеют благородные и величественные чувствования.

— Не спорно, что гораздо знатнейшая часть рода смертных погружена во мрачность варварства, зверства и рабства; но сие нимало не доказывает, что человек не рожден с чувствованием, устремляющим его к великому и к совершенствованию себя и, следовательно, к люблению истинной славы и чести. Причиною тому или род провождаемой жизни, обстоятельства, или в коих быть принуждены, или малоопытность, или насилие врагов праведного и законного возвышения природы человеческой, подвергающих оную силою и коварством слепоте и рабству, которое разум и сердце человеческое обессиливает, налагая тягчайшие оковы презрения и угнетения, подавляющего силы духа вечнаго.

Не оправдывайте себя здесь, притеснители, злодеи человечества, что сии ужасные узы суть порядок, требующий подчиненности. О, ежели бы вы проникли цепь всея природы, сколько вы можете, а можете много! то другие бы мысли вы ощутили в себе; нашли бы, что любовь, а не насилие содержит толь прекрасный в мире порядок и подчиненность. Вся природа подлежит оному, и где оный, там нет ужасных позорищ, извлекающих у чувствительных сердец слезы сострадания и при которых истинный друг человечества содрогается.

— Что бы такое представляла тогда природа, кроме смеси нестройной (хаоса), ежели бы лишена была оной пружины? Поистине она лишилась бы величайшего способа как к сохранению, так и совершенствованию себя. Везде и со всяким человеком рождается оная пламенная любовь к снисканию чести и похвалы у других. Сие происходит из врожденного человеку чувствования своей ограниченности и зависимости. Сие чувство толь сильно, что всегда побуждает людей к приобретению для себя тех способностей и преимуществ, посредством которых заслуживается любовь как от людей, так и от высочайшего существа, свидетельствуемая услаждением совести; а заслужив других благосклонность и уважение, человек учиняется благонадежным в средствах сохранения и совершенствования самого себя.

— И если сие так, то кто сомневается, что сильная оная любовь к чести и желание приобрести услаждение совести своей с благосклонностию и похвалою от других есть величайшее и надежнейшее средство, без которого человеческое благосостояние и совершенствование быть не может? Ибо какое тогда останется для человека средство преодолеть те трудности, кои неизбежны на пути, ведущем к достижению блаженного покоя, и опровергнуть то малодушное чувствование, кое наводит трепет при воззрении на недостатки свои? Какое есть средство к избавлению от страха пасть навеки под ужаснейшим бременем оных? ежели отъять, во-первых, исполненное сладкой надежды прибежище к высочайшему существу не яко мстителю, но яко источнику и началу всех

благ; а потом к подобным себе, с которыми соединила нас природа ради взаимной помощи и которые внутренно преклоняются к готовности оказывать оную и, при всем заглушении сего внутреннего гласа, чувствуют, что они не должны быть теми святотатцами, кои препятствуют праведному человеческому стремлению к совершенствованию себя.

— Кто посеял в человеке чувствование сие искать прибежища? — Врожденное чувствование зависимости, ясно показывающее нам оное двойственное к спасению и удовольствию нашему средство. И что, наконец, побуждает его ко вступлению на сии пути? что устремляет его к соединению с сими двумя человеческого блаженства средствами и к заботе нравиться им? — Поистине ничто иное, как врожденное пламенное побуждение к приобретению для себя тех способностей и красоты, посредством которых заслуживается благоволение божие и любовь собратий своей, желание учиниться достойным их благосклонности и покровительства.

— Рассматривающий деяния человеческие увидит, что се одна из главнейших пружин всех величайших в свете произведений! И се начало того побуждения к люблению *чести*, которое посеяно в человеке при начале сотворения его! се причина чувствования того услаждения, которое обыкновенно сопряжено всегда с сердцем человека, как скоро изливается на оное благоволение божие, которое состоит в сладкой тишине и услаждении совести, и как скоро приобретает он любовь подобных себе, которая обыкновенно изображается радостью при воззрении его, похвалами, восклицаниями. Се предмет, к коему стремятся истинные человеки и где обретают истинное свое удовольствие! Доказано уже, что истинный человек и сын отечества есть одно и то же; следовательно, будет верный отличительный признак его, ежели он таким образом *честолюбив*.

— Сим да начинает украшать он величественное наименование сына отечества, монархии. Он для сего должен почитать свою совесть, возлюбить ближних; ибо единою любовию приобретается любовь; должно исполнять звание свое так, как повелевает благоразумие и честность, не забываясь нимало о воздаянии почести, превозношении и славе, которая есть спутница или паче тень, всегда следующая за добродетелию, освещаемую не вечерним солнцем правды; ибо те, которые гоняются за славою и похвалою, не только не приобретают для себя оных от других, но паче лишаются.

— Истинный человек есть истинный исполнитель всех предуставленных для блаженства его законов; он свято повинуется оным. Благородная и чуждая пустосвятства и лицемерия скромность сопровождает все чувствования, слова и деяния его. С благоволением подчиняется он всему тому, чего порядок, благоустройство и спасение общее требуют; для него нет низкого состояния в служении отечеству; служа оному, он знает, что он содействует здравоносному обращению, так

сказать, крови государственного тела. Он скорее согласится погибнуть и исчезнуть, нежели подать собою другим пример неблагонравия и тем отнять у отечества детей, кои бы могли быть украшением и подпорою оною; он страшится заразить соки благосостояния своих сограждан; он пламенеет нежнейшею любовию к целости и спокойствию своих соотчичей; ничего столько не жаждет зреть, как взаимной любви между ними; он возжигает сей благотворный пламень во всех сердцах; не страшится трудностей, встречающихся ему при сем благородном его подвиге; преодолевает все препятствия, неутомимо бдит над сохранением честности, подает благие советы и наставления, помогает несчастным, избавляет от опасностей заблуждения и пороков, и ежели уверен в том, что смерть его принесет крепость и славу отечеству, то не страшится пожертвовать жизнью; если же она нужна для отечества, то сохраняет ее для всемерного соблюдения законов естественных и отечественных; по возможности своей отвращает все, могущее запятнать чистоту и ослабить благонамеренность оных, яко пагубу блаженства и совершенствования соотечественников своих. Словом, он благонравен! Вот другой верный знак сына отечества!

— Третий же и, как кажется, последний отличительнейший знак сына отечества, когда он благороден. *Благороден* же есть тот, кто учинил себя знаменитым мудрыми и человеколюбивыми качествами и поступками своими; кто сияет в обществе разумом и добродетелию и, будучи воспламенен истинно мудрым любочестием, все силы и старания свои к тому единственно устремляет, чтобы, повинувшись законам и блюстителям оных, предержавшим властям, как всего себя, так и все, что он ни имеет, не почитать иначе, как принадлежащим отечеству, употреблять оное так, как вверенный ему залог благоволения соотчичей и государя своего, который есть отец народа, ничего не щадя для блага отечества. Тот есть прямо благороден, которого сердце не может не трепетать от нежной радости при едином имени отечества и который не инако чувствует при том воспоминании (которое в нем непрестанно), как бы то говорено было о драгоценнейшей всего на свете его части. Он не жертвует благом отечества предрассудкам, кои мечутся, яко блистательные, в глаза его; всем жертвует для блага оною: верховная его награда состоит в добродетели, то есть в той внутренней стройности всех наклонностей и хотений, которую премудрый творец вливает в непорочное сердце и которой в ее тишине и удовольствии ничто в свете уподобиться не может. Ибо истинное *благородство* есть добродетельные поступки, оживотворяемые истинною честью, которая не инде находится, как в непрерывном благотворении роду человеческому, а преимущественно своим соотечественникам, воздавая каждому по достоинству и по предписуемому законам естества и народоправления. Украшенные сими единственно качествами как в просвещенной древности, так и ныне почтены истинными хвалами. И вот третий отличительный знак

сына отечества!

— Но сколь ни блистательны, сколь ни славны, ни восхитительны для всякого благомыслящего сердца сии качества сына отечества и хотя всяк сроден иметь оные, но не могут, однако ж, не быть нечисты, смешаны, темны, запутаны, без надлежащего воспитания и просвещения * науками и знаниями, без коих наилучшая сия способность человека удобно, как всегда то было и есть, превращается в самые вреднейшие побуждения и стремления и наводняет целые государства злостестиями, беспокойствами, раздорами и неустройством. Ибо тогда понятия человеческие бывают темны, сбивчивы и совсем химерические. Почему прежде, нежели пожелает кто иметь помянутые качества истинного человека, нужно, чтобы прежде приучил дух свой к трудолюбию, прилежанию, повиновению, скромности, умному состраданию, к охоте благотворить всем, к любви отечества, к желанию подражать великим в том примерам, також к любви к наукам и художествам, сколько позволяет отправляемое в общежитии звание; применился бы к упражнению в истории и философии или любомудрии, не школьном, для словопрения единственно обращенном, но в истинном, обучающем человека истинным его обязанностям; а для очищения вкуса возлюбил бы рассматривание живописи великих художников, музыки, изявiania, архитектуры или зодчества.

— Весьма те ошибутся, которые почтут сие рассуждение тою платоническою системою общественного воспитания, которой события никогда не увидим, когда в наших глазах род такового точно воспитания и на сих правилах основанного введен богомудрыми монархами*, и просвещенная Европа с изумлением видит успехи оногo, восходящие к предположенной цели исполинскими шагами!

ПОХВАЛЬНАЯ РЕЧЬ НАУКЕ УБИВАТЬ ВРЕМЯ, ГОВОРЕННАЯ В НОВЫЙ ГОД

Любезные слушатели!

Наконец сбыли мы с рук еще один год, убили триста шестьдесят шесть дней и можем сказать торжественно: не видали, как прошло время! Строгие философы! вы, которые жалеете утратить минуту, как скупой полушку, и плачете о потере дня, проведенного без пользы! придите и позавидуйте нашей способности радоваться о том, что мы целый год провели, не сделав ни одного такого дела, коим, по вашему мнению, человек отличается. Зарывшись в книгах, вы почитаете невероятностью, что тот может радоваться, прощаясь с старым годом, кто три четверти его проспал, а достальную прозевал; вам покажется баснею, чтобы человек, который целый год одевался и раздевался, причесывался и растрепывался, чтобы сей человек не плакал, утратив таким образом время; вы никогда не поверите, чтобы тот, кто пропрыгал и прошаркал триста шестьдесят шесть дней, хотя бы в конце года заметил, что он целые двенадцать месяцев таскал по-пустому свою голову. Но, Сократы, Платоны, Пифагоры прошедших веков! воскресните на одну минуту, выберите себе бороды, причешитесь анкрошет, чтобы вас не стыдно было принять в большом свете; войдите в него, и вы увидите, сколь справедливо мое описание; увидите, как много философия ваша наделала успехов. Воскресните и проповедуйте, если хотите, сколь нужно соблюдать время. Вы увидите, что люди большого света лучше вас знают, к чему оно дается, и что наука убивать время есть одна наука, прямо достойная благородного человека, который умеет чувствовать, что небо дало ему голову только для того, чтобы она пересказывала, когда желудку его нужна пища.

Вот, милостивые государи, что бы я сказал философам, употребившим все силы свои на то, чтобы научить нас скучному упражнению размышлять. Они бы взглянули на вас и признались бы, что человек может обойтись без размышления, если только имеет проворный язык, и что мы, имея дарование не думать, по крайней мере, столько ж счастливы, как люди золотого века.

Недоверчивый, глядя на нас, на образ нашей жизни, конечно, усумнится: ему покажемся мы игрушками мод, мучениками суетных желаний; или, что еще более, сочтет он нас безумными, а потому-то и несчастливими, как будто бы дурак, любезные слушатели, должен быть непременно несчастливее мудрецов, коих самолюбие заставляет признавать счастливыми только себя и коих дикий ум не понимает, какое счастье

заклучено в том, чтоб делить по-братски время свое с обезьянами, с попугаями, посвятить себя блестящей службе четырех мастей, — словом, они не чувствуют прелестей науки убивать время, науки, впрочем, столь неисчерпаемой, что свет наш несколько тысяч лет в ней трудится и всегда открывает новые поля, столь же обширные, какие приписывают математике.

О сей-то прелестной науке, милостивые государи, хочу я ныне распространить свою речь — не для того, чтобы желал я вас в ней осовершенствовать, нет, вам уже не нужны учителя: природных способностей ваших к тому довольно, и вы, подражая предкам вашим, понимаете сие искусство самоучкою; притом же, когда праотцы наши убили семь тысяч лет, то стыдно бы нам было, имея величайшие примеры в истории и в глазах, требовать наставников, как убить несколько десятков лет, которые на нашу часть достались. Итак, я намерен соплесть только достойную похвалу сей завидной науке, к которой обращается целый свет и которой имя столь же редко слышно, сколь часто ее употребление, ибо, к стыду нашему, любезные слушатели, мы обладаем сим сокровищем, почти не чувствуя, что им наслаждаемся. Но да не смущает вас сия укоризна: недостаток ваш требует только исправления. Мы найдем в свете довольно примеров, что человек часто обладает сокровищем, пренебрегая его по незнанию. Так некогда американцы ходили по золоту и, не умея его обделывать, с радостью отдавали за европейские игрушки.

Может быть, критики скажут мне в возражение, что слово мое бесполезно; что доселе убивали мы время без всякого поощрения ораторов; что молодые люди наши, воспитанные в глазах французских гувернеров и в виду гончих и борзых собак, наполняются с младенчества благородною страстию расточать время; что по прошествии юношества учителя отдают их с рук на руки французским ростовщикам, иностранным магазейнам и театральным сборщицам сердец; что в сем новом свете получают они новые способы убивать время и иногда в одной переписке векселей не видят, как проходят целые годы или, не имея наследственного достатка, трутся около глупых Мидасов¹, побужденные благородною ревностию истреблять монополию в деньгах, и, таким образом, в приятной надежде обмануть удачно, сбывают неприметно с рук последнюю половину своего века; что все это делается без помощи убеждений; что, наконец, нужно только человеку броситься один раз в большие общества, и он будет иметь удовольствие умереть, прежде нежели приметит, что он жил на свете.

Не противоречу многому. — В самом здешнем собрании вижу я примеры природных способностей; вижу с восхищением прелестниц наших праотцев, которые, пережив три поколения, и доньше не могут догадаться, что они не ровесницы шестнадцатилетним девушкам. С набожностию взираю я на сих долговечных Венер, на коих глядя кажется, что они одногодки римской Капитолии² или, по крайней мере, Августовым

медалям, и которые при всем том не досчитываются у себя пяти шестых доль своего века. Какой резкий знак, что это время мастерски убито! В другом месте вижу я почтенных старичков, которые с таким же просвещением входят в могилу, с каким вошли в колыбель, и еще кажутся младенцами. Они примечают глубокую свою старость только потому, что им нельзя грызть орехов. — Какая скромность! Проносить семьдесят лет голову и не сделать из нее никакого употребления! Прожить век на скотном дворе и ограничить отличие свое от животных только тем, чтоб ходить на двух ногах! Иметь душу и не дать никому приметить, что ее имеешь, или, что еще более, самому этого не заметить! Вот чрезвычайная умеренность, которой не понимают тщеславные философы, хотя умеренность они и проповедают. Мы одни, милостивые государи! мы одни способны к сей блистательной добродетели, украшающей общества большого света, и между тем как малая кучка самолюбивых мудрецов старается только о том, чтоб целый мир перед нею стыдился, между тем вы, милостивые государи! такую скромностию обуздываете свои умы, что и лошади бы ваши не краснели, на вас глядя, хотя бы они и имели способность краснеться, способность вредную, которой остатки и в нашем просвещенном веке наносят иногда тягость прелестному полу.

Признаюсь, что все завидные сии подлинники образовались без всякой помощи ораторов. Но следует ли из того, чтобы словесные возбуждения были излишни? Нет, любезные слушатели, красноречие всегда умножало рвение умов, и если иногда не было поощрением, то служило награждением отличных дарований, которые уже поздно было поощрять, ибо, милостивые государи! премудрого человека весьма трудно заметить, прежде нежели пройдет триста лет после его смерти; и потому-то многие благоразумные народы сперва убивали своих мудрецов, а после делали им статуи; когда же вывелось это из употребления, тогда сыскали лучший способ: допускали их умирать в нуждах, в гонении и в презрении, а спустя после их смерти лет сто говорили им похвальные речи. Такой поступок умножил полки ученых, которые добровольно терпели первое и не получали последнего. Но благородная жадность к похвале не есть ли общая всему человеческому роду? Не она ли причину, что многие великие души, подобные душе Сезостриса и Александра Великого, ожидая величания от будущих веков, сносят терпеливо проклятие настоящего? — Когда же похвала столь лестна, то для чего же не возвеличить ею божественную нашу науку убивать время? — Все науки имели своих защитников, своих хвалителей; ужли она одна останется в молчании? Как будто бы наше веселое общество, блистая ее выгодами, стыдилось признаться, до какого довело оно ее совершенства.

Другая причина, еще важная, понуждает подать о ней полнейшее понятие: все науки, выключая математики, подвержены расколам; наша также избежать их не может. Я сам бывал свидетель, что

многие молодые люди садились за книги только для того, чтобы убить время, и, пристрастясь к постыдной для благородного человека жадности обогащаться познаниями, зачали скупиться временем, вздумали быть нас умнее: вздумали узнать свою голову короче, нежели сколько знали ее их волосочесы; и потом — жестокая неблагодарность! — сверх того, что сделались отступниками от нашего общества, первые стали на нас вооружаться и соблазнительным своим примером увлекли за собою последователей, которые, вместо того чтобы блистать на балах и в больших собраниях, свели скучное знакомство с мудрецами. — Такие-то развратительные примеры, происшедшие, может быть, от одного любопытства заглянуть в книгу, не должны ли прекратить и предостеречь наших молодых людей, чтобы они опасались всякой книги, выключая только полезных книг, заклеянных печатью Воспитательного дома?³

Дадим же, сколько можно, ясное понятие о сей науке. А вы, любезные юноши, которые под покровительством проворной гребенки и верных ножниц назначены, может быть, играть великие лица на театре света; вы, прелестные грации, которые будете некогда требовать от наших правнуков такой же нежности, какой ныне мы ищем от вас, выслушайте меня и умножьте свои силы победить наступающий год, и если уже необходимо должно, чтоб в физике⁴ вашей произвел он перемены, то оградитесь роскошью и ленью, и пусть хотя на морали вашей время не оставит никаких следов.

Время убивается двояким образом: или проводится оно в бездействии, или в таких упражнениях, которые на душе нашей никакого по себе следа не оставляют, и оттого-то в старых телах видим мы часто молодые души.

Хотя казалось, что люди, в которых примечается это явление, были во весь их век чрезвычайно заняты. — Какой великий предмет для благородного человека! убивать то, что все убивает! преодолевать то, чему ничто противустоять не может! Герои, упражняющиеся в таких великих подвигах, не должны ли заслужить хвалу величайших в свете мудрецов, основанную даже на нашем признании, что мы перед ними нищи духом?.. Так, государи мои! согласимся, что они умнее нас; поверим, что они лучше знают ценить вещи, и послушаем их учения. Тот истинный философ, говорят они, кто умеет презирать мирские сокровища. Потом сказывают, что время драгоценнее золота и лучше всех земных благ. Но когда мудрецы сии тщеславятся достоинством, что они презирают золото, то сколько ж почтеннее мы их, пренебрегая самое время, сие сокровище, коего тратить нет даже и у них довольно твердости духа. Итак, мы-то истинные мудрецы, милостивые государи! Они презирают вещь, которая всегда в их руках быть может; но мы тратим равнодушно время, зная, что воротить его не в силах. Удивляются Сципиону Африканскому, что он сжег свой флот, дабы воспрепятствовать возвращению своему в Рим. Редкая вещь! имея храбрых

воинов, он надеялся сожечь Карфаген и возвратиться домой на новых судах, но мы, сожигая, так сказать, наше время, не имеем никакой надежды возвратиться к нашему младенчеству и, следовательно, всякую минуту превосходим Сципиона мужеством. Великий Тит плакал, говорят, о том дне, который проводил, не сделав доброго дела, но мы — о, пример истинного великодушия! — мы проживаем лет по пятидесяти по-пустому и ни разу о том не поплачем.

Я уже сказал, что первый способ убивать время есть тот, чтобы ничего не делать или спать; но, к несчастью, человек не может быть столь совершен, чтобы проспать шестьдесят лет, не растворяя глаз и не сходя с постели, ни так же просидеть все это время, поджав руки, хотя и старались испанцы осовершенствовать сию часть; хотя нередко встретить можно там героев, которые, поддерживая древнее свое благородство, почитают за честь умереть с голоду, поджав руки, но великим подвигам легче удивляться, нежели последовать. Нам нужны другие способы. Притом же мало ли есть таких прекрасных упражнений в большом свете, которые почти столь же знамениты, как и дарование ничего не делать, а такие-то упражнения и нужны для нашего общества. Делать, ничего не делая, говорить, ничего не сказывая, — вот два сильнейшие способа убить время; с сими двумя правилами человека уважаю я столько же, как и того, кто имеет испанскую твердость духа скорей согласиться дать себе отрубить руки и голову, нежели ими действовать. Рассмотрите хорошенько около себя, и вы найдете тысячу великих душ, которые располагаются проспать будущий год, половину зажмурясь и лежа, а другую половину — ходя и с открытыми глазами, и подают вам пример сбывать с рук время. — Нужно ли вам знать имена их? — Исполню ваше желание. А вы, почтенные образцы! простите, если, уступая моим восторгам, потревожу я несколько вашу скромность, дабы поощрить юношество подражать вам. И пусть слабая похвала моя послужит вам малым воздаянием, доколь небо не увенчает вас завидною наградою лежать, не переворачиваясь с боку на бок. Повторим, любезные юноши, с благоговением их имена.

Первый встречается мне Подлон; с математическою точностию делит он утренние часы будущего года по числу прихожих, в которых проходит важную науку помрачить достоинства гибкости спины. Уже назначает он там себе самые выгодные места, где бы надежнее было ловить улыбки и благосклонные взгляды вельмож; уже, кажется, слышу я, как гибкий его язык, с беспристрастием историка, перед одним барином пересказывает дурачества другого, а этого едет бранить к третьему. Плата богатую подать новостями, мчится он по всему городу их собирать, чтобы назавтра позабыть своего покровителя насчет чести ближнего; он держит верный список рогам, выключая только своих; чувствуя, сколь становится он необходим, жалуется, что великих его трудов не может вынести четверня, и покровитель его, умея различать дарования, обещает

ему шестерню. Но когда с четырью только товарищами любезный наш Подлон наделал столько подвигов, то согласитесь, почтенные слушатели, что несравненно полезнее отечеству будет он сам-семь и более получит способов оказать свои достоинства, когда резвое счастье, награждая поворотливость его языка, прибавит ему еще двух товарищей.

Замотов подает вам другого рода образец, как убивать время. Вооружась против него, рассекает он уже мысленно будущий год на тысячу частей, чтобы разбросать их по кофейным домам, по маскарадам и по вечеринкам; собирается глядеть на все и ничего не видеть, говорить все и ничего не думать. Везде старается он поспеть. Всегда занят и никогда ничего не делает. Беспреданно хлопочет, чтобы нажить новые долги. Одним словом, вот примерный молодой человек, который добивается мастерски триумфального въезду в полицию. Уже мысленно вижу я великолепный сей въезд; вижу, как торжественно препровождается он толпою портных, сапожников, каретников и волосочесов, которые все, подобно унылым пленникам, следуют за ним, повеся головы и держа в руках огромные реестры знаменитых его дел, — дела сии привлекают внимание правительства, и герой наш, подобно древним атлетам, принимается на казенное содержание.

Но какой новый предмет представляется моему взору! Подборов, вооружая бесчисленными дюжинами карт, выступает против нового года и назначает себя к продолжению благородного ремесла метать неусыпно направо и налево. Наполняясь приятною надеждою обмануть ближнего, преодолевает он сон и голод; пренебрегая все науки, погружается он только в одну важную науку⁵ — выметать направо все то, чего ждет налево его соперник. Сему-то одному искусству посвящает он все свои дарования и, подобно Александру, не полагая границ своим победам, в героическом восторге грозитя целый свет пустить по миру.

Но до сих пор, любезные слушатели, предлагал я вам в пример особ, которые с возможною ревностию убивают время, достающееся на их часть; теперь хочу заключить, выставя в пример неподражаемого героя, который силится убить время даже своих потомков. Таков несравненный Скукобред; он, наводняя своими сочинениями публику, хочет и несколько веков спустя быть орудием убивать время. Какой похвалы не заслуживает он, когда, просиживая насквозь ночи, занимается важным предметом усыплять даже десятое наше поколение по нисходящей линии; не покоряется усталости, и хотя часто голову его раскачивает приятная дремота, но мощная рука его никогда не перестает писать — и что всего удивительнее, милостивые государи! то никакая академия не в силах различить, что он написал сквозь сон и что наяву.

Но сей пример, любезные слушатели, не с тем выставял я, чтоб возбудить в вас охоту ему подражать; довольно уже и того, если возбудит он в вас удивление. Мы уже видели, сколь вредно и опасно благородному

человеку заниматься книгами. Но со всем тем, если кто из вас, милостивые государи! чувствует в себе геройскую смелость, никогда не читав, начать писать, тому не советую оставлять такой прекрасной склонности, которая производит пирамиды печатных бумаг в честь парнасским каникулам нынешнего времени.

Но сим ли одним примером можно пользоваться? Другие не менее блистательны и более свойственны для благородного человека, который, и не принимаясь за перо, имеет право не называться безграмотным для того, что прадед его знал читать и писать. Для чего не подражать другим подлинникам, коих число столь велико, что предел речи моей не позволяет обо всех упомянуть, ибо я не намерен ни искусить терпения вашего, ни перешеголять бесконечностию те отборные предисловия, которым книги, кажется, печатают в приданое.

Теперь, милостивые государи! надеюсь я, что вы можете чувствовать, что есть наука убивать время; можете видеть ее необходимость и силу в большом свете. Главная уловка состоит в том, чтобы никогда не думать. Педанты скажут, что это невозможно, но вы, не вдаваясь в словесные споры, можете им доказать истину на самом деле. Правда, молодым девушкам очень пристало иногда задумываться, но думать — никогда: это ремесло прилично только тем низкорожденным людям, которые не могут обойтись без своей головы и которые имеют бесстыдство не различать нас с обезьянами. Но, не занимаясь трудными спорами и розысками по натуральной истории, б, что совсем не наше дело, встретим лучше, милостивые государи! как можно веселее наступивший год, подобно как храбрая армия встречает весело своего неприятеля. До сих пор часто видал я, что люди встречают Новый год в таком восхищении, как молодой супруг свою новобрачную или как малый ребенок новую куклу; а на третий день все они скучают своими новостями, зевают и не знают, куда деваться от скуки, то есть не знают, как убить время; но мы, любезные слушатели, получа теперь несколько подробнее идею, как сживать его с рук, мы, конечно, не будем подвергнуты опасности мучиться зевотою.

Соединим же нашу ревность, милостивые государи! год уже наступил; уже это время наваливается на наши руки, но ободритесь — остерегайтесь мыслить, остерегайтесь делать, и год сей будет служить нам оселком, над которым наука убивать время покажет новые опыты, достойные нашего просвещения.

С. Л. ПУШКИНУ

ФЕВРАЛЯ 15 (1837, ПЕТЕРБУРГ).

Я не имел духу писать к тебе, мой бедный Сергей Львович. Что я мог тебе сказать, угнетенный нашим общим несчастьем, которое упало на нас, как обвал, и всех раздавило? Нашего Пушкина нет! Это, к несчастью, верно; но все еще кажется невероятным. Мысль, что его нет, еще не может войти в порядок обыкновенных, ясных ежедневных мыслей. Еще по привычке продолжаешь искать его, еще так естественно ожидать с ним встречи в некоторые условные часы; еще посреди наших разговоров как будто отзывается его голос, как будто раздается его живой, веселый смех, и там, где он бывал ежедневно, ничто не переменялось, нет и признаков бедственной утраты, все в обыкновенном порядке, все на своем месте; а он пропал, и навсегда — непостижимо. В одну минуту погибла сильная, крепкая жизнь, полная гения, светлая надеждами. Не говорю о тебе, бедный дряхлый отец; не говорю об нас, горящих друзьях его. Россия лишилась своего любимого национального поэта. Он пропал для нее в ту минуту, когда его созревание совершалось; пропал, достигнув до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь с кипучею, буйною, часто беспорядочною силою молодости, тревожимой гением, предается более спокойной, более образовательной силе здравого мужества, столько же свежей, как и первая, может быть не столь порывистой, но более творческой. У кого из русских с его смертью не оторвалось что-то родное от сердца?

И между всеми русскими особенную потерю сделал в нем сам государь. При начале своего царствования он его себе присвоил; он отворил руки ему в то время, когда он был раздражен несчастьем, им самим на себя навлеченным; он следил за ним до последнего его часа; бывали минуты, в которые, как буйный, еще не остепенившийся ребенок, он навлекал на себя неудовольствие своего хранителя, но во всех изъявлениях неудовольствия со стороны государя было что-то нежное, отеческое. После каждого подобного случая связь между ими усиливалась: в одном — чувством испытанного им наслаждения простить, в другом — живым движением благодарности, которая более и более проникала душу Пушкина и наконец слилась в ней с поэзиею. Государь потерял в нем свое создание, своего поэта, который принадлежал бы к славе его царствования, как Державин — славе Екатерины, а Карамзин — славе Александра. И государь до последней минуты Пушкина остался верен своему благотворению. Он отозвался умирающему на последний земной крик его; и как отозвался? Какое русское сердце не затрепетало благодарностию на

этот голос царский? В этом голосе выражалось не одно личное, трогательное чувство, но вместе и любовь к народной славе и высокий приговор нравственный, достойный царя, представителя и славы и нравственности народной.

Первые минуты ужасного горя для тебя прошли; теперь ты можешь меня слушать и плакать. Я опишу тебе все, что было в последние минуты твоего сына, что я видел сам, что мне рассказали другие очевидцы.

Опишу просто все, что со мною было. В среду 27-го числа генваря в 10-ть часов вечера приехал я к князю Вяземскому. Вхожу в переднюю. Мне говорят, что князь и княгиня у Пушкиных. Это показалось мне странным. Почему меня не позвали? Сходя с лестницы, я зашел к Валуеву. Он встретил меня словами: «Получили ли вы записку княгини? К вам давно послали. Поезжайте к Пушкину: он умирает; он смертельно ранен». Оглушенный этим известием, я побежал с лестницы, велел везти себя прямо к Пушкину, но, проезжая мимо Михайловского дворца и зная, что граф Вьельгорский находится у великой княгини (у которой тогда был концерт), велел его вызвать и сказал ему о случившемся, дабы он мог немедленно по окончании вечера вслед за мною же приехать. Вхожу в переднюю (из которой дверь была прямо в кабинет твоего умирающего сына), нахожу в нем докторов Арендта и Спасского, князя Вяземского, князя Мещерского, Валуева. На вопрос мой: «Каков он?» Арендт, который с самого начала не имел никакой надежды, отвечал мне: «Очень плох, он умрет непременно».

Вот что рассказали мне о случившемся.

Дуэль была решена накануне (во вторник 26-го ген-варя) ; утром 27-го числа Пушкин, еще не имея секунданта, вышел рано со двора. Встретясь на улице с своим лицейским товарищем полковником Данзасом, он посадил его с собою в сани и, не рассказывая ничего, повез к д'Аршиаку, секунданту своего противника. Там, прочитав перед Данзасом собственноручную копию с того письма, которое им было написано к министру Геккерну и которое произвело вызов от молодого Геккерна, он оставил Данзаса для условий с д'Аршиаком, а сам возвратился к себе и дожидался спокойно развязки. Его спокойствие было удивительное; он занимался своим «Современником» и за час перед тем, как ему ехать стреляться, написал письмо к Ишимовой (сочинительнице «Русской истории для детей», трудившейся для его журнала); в этом письме, довольно длинном, он говорит ей о назначенных им для перевода пиесах и входит в подробности о ее истории, на которую делает критические замечания так просто и внимательно, как будто бы ничего иного у него в эту минуту в уме не было. Это письмо есть памятник удивительной силы духа: нельзя читать его без умиления, какой-то благоговейной грусти: ясный, простосердечный слог его глубоко трогает, когда вспоминаешь при чтении, что писавший это письмо с такою беззаботностью через час уже

лежал умирающий от раны. Но условию Пушкин должен был встретиться в положенный час со своим секундантом, кажется в кондитерской лавке Вольфа, дабы оттуда ехать на место; он пришел туда в (пробел) часов. Данзас уже его дождался с санями; поехали; избранное место было в лесу, у Комендантской дачи; выехав из города, увидели впереди другие сани; это был Геккерн с своим секундантом; остановились почти в одно время и пошли в сторону от дороги; снег был по колена; по выбору места надобно было вытоптать в снегу площадку, чтобы и тот и другой удобно могли и стоять друг против друга и сходитьсь. Оба секунданта и Геккерн занялись этою работою; Пушкин сел на сугроб и смотрел на роковое приготовление с большим равнодушием. Наконец вытоптана была тропинка в аршин шириною и в двадцать шагов длиною; плащами означили барьеры, одна от другой в десяти шагах; каждый стал в пяти шагах позади своей. Данзас махнул шляпою; пошли, Пушкин почти дошел до своей барьеры; Геккерн за шаг от своей выстрелил; Пушкин упал лицом на плащ, и пистолет его увязнул в снегу так, что все дуло наполнилось снегом. «Je suis blessé»⁴⁵, сказал он падая. Геккерн хотел к нему подойти, но он, очнувшись, сказал: «Ne bougez pas; je me sens encore assez fort pour tirer mon coup»⁴⁶. Данзас подал ему другой пистолет. Он оперся на левую руку, лежа прицелился, выстрелил, и Геккерн упал, но его сбила с ног только сильная контузия; пуля пробилла мясистые части правой руки, коею он закрыл себе грудь, и, будучи тем ослаблена, попала в пуговицу, которою панталоны держались на подтяжке против ляжки; эта пуговица спасла Геккерна. Пушкин, увидя его падающего, бросил вверх пистолет и закричал: «Bravo!» Между тем кровь лила из раны; было надобно поднять раненого; но на руках донести его до саней было невозможно; подвезли к нему сани, для чего надобно было разломать забор; и в санях довели его до дороги, где дождала его Геккернова карета, в которую он и сел с Данзасом. Лекаря на месте сражения не было. Дорогою он, по-видимому, не страдал, по крайней мере этого не было заметно; он был, напротив, даже весел, разговаривал с Данзасом и рассказывал ему анекдоты.

Домой возвратились в шесть часов. Камердинер взял его на руки и понес на лестницу. «Грустно тебе нести меня?» — спросил у него Пушкин. Бедная жена встретила его в передней и упала без чувств. Его внесли в кабинет; он сам велел подать себе чистое белье; разделся и лег на диван, находившийся в кабинете. Жена, пришедши в память, хотела войти; но он громким голосом закричал: «N'entrez pas»⁴⁷, ибо опасался показать ей рану, чувствуя сам, что она была опасною. Жена вошла уже тогда, когда он был совсем раздет. Послали за докторами. Арендта не нашли; приехал Шольц и Задлер. В это время с Пушкиным были Данзас и Плетнев. Пушкин велел всем выйти.

«Плохо со мною», — сказал он, подавая руку Шольцу. Рану осмотрели, и Задлер уехал за нужными инструментами. Оставшись с

Шольцем, Пушкин спросил: «Что вы думаете о моей ране; я чувствовал при выстреле сильный удар в бок, и горячо стрельнуло в поясницу. Дорогою шло много крови. Скажите откровенно, как вы находите рану?» — «Не могу вам скрыть, она опасная». — «Скажите мне, смертельная?» — «Считаю долгом не скрывать и того. Но услышим мнение Арендта и Соломона, за коими послано». — «Je vous remercie, vous avez agi en honnête homme envers moi»⁴⁸, — сказал Пушкин; замолчал; потер рукою лоб, потом прибавил: «Il faut que j'arrange ma maison»⁴⁹. Мне кажется, что идет много крови». Шольц осмотрел рану; нашлось, что крови шло немного; он наложил новый компресс. «Не желаете ли видеть кого из ваших ближних приятелей?» — спросил Шольц. «Прощайте, друзья!» — сказал Пушкин, и в это время глаза его обратились на его библиотеку. С кем он прощался в эту минуту, с живыми ли друзьями или с мертвыми, не знаю. Он немного погодя спросил: «Разве вы думаете, что я часу не проживу?» — «О нет! но я полагал, что вам будет приятно увидеть кого-нибудь из ваших. Г<осподин> Плетнев здесь». — «Да; но я желал бы Жуковского. Дайте мне воды; тошнит». Шольц тронул пульс, нашел руку довольно холодною; пульс слабый, скорый, как при внутреннем кровотечении; он вышел за питьем, и послали за мною. Меня в это время не было дома; и не знаю, как это случилось, но ко мне не приходил никто. Между тем приехали Задлер и Соломон. Шольц оставил больного, который добродушно пожал ему руку, но не сказал ни слова.

Скоро потом явился Арендт. Он с первого взгляда увидел, что не было никакой надежды. Первою заботою было остановить внутреннее кровотечение; начали прикладывать холодные со льдом примочки на живот и давать прохладительное питье; они произвели желанное действие, и кровотечение остановилось. Все это было поручено Спасскому, домовому доктору Пушкина, который явился за Арендтом и всю ночь остался при постеле страдальца.

«Плохо мне», — сказал Пушкин, увидя Спасского и подавая ему руку. Спасский старался его успокоить; но Пушкин махнул рукою отрицательно. С этой минуты он как будто перестал заботиться о себе и все его мысли обратились на жену. «Не давайте излишних надежд жене, — говорил он Спасскому, — не скрывайте от нее, в чем дело; она не притворщица, вы ее хорошо знаете. Впрочем, делайте со мною что хотите, я на все согласен и на все готов».

Когда Арендт перед своим отъездом подошел к нему, он ему сказал: «Попросите государя, чтобы он меня простил; попросите за Данзаса, он мне брат, он невинен, я схватил его на улице». Арендт уехал. В это время уже собрались мы все, князь Вяземский, княгиня, граф Вьельгорский и я. Княгиня была с женою, которой состояние было невыразимо; как привидение, иногда прокрадывалась она в ту горницу, где лежал ее умирающий муж; он не мог ее видеть (он лежал на диване, лицом

от окон к двери) ; но он боялся, чтобы она к нему подходила, ибо не хотел, чтобы она могла приметить его страдания, кои с удивительным мужеством пересиливал, и всякий раз, когда она входила или только останавливалась у дверей, он чувствовал ее присутствие. «Жена здесь, — говорил он. — Отведите ее». «Что делает жена? — спросил он однажды у Спасского. — Она, бедная, безвинно терпит! в свете ее заедят». Вообще с начала до конца своих страданий (кроме двух или трех часов первой ночи, в которые они превзошли всякую меру человеческого терпения) он был удивительно тверд. «Я был в тридцати сражениях, — говорил доктор Арендт, — я видел много умирающих, но мало видел подобного».

И особенно замечательно то, что в эти последние часы жизни он как будто сделался иной; буря, которая за несколько часов волновала его душу яростною страстию, исчезла, не оставив на нем никакого следа; ни слова, ниже воспоминания о поединке. Однажды только, когда Данзас упомянул о Геккерне, он сказал: «Не мстить за меня! Я все простил».

Но вот черта чрезвычайно трогательная. В самый день дуэля, рано поутру, получил он пригласительный билет на погребение Гречева сына. Он вспомнил об этом посреди всех страданий. «Если увидите Греча, — сказал он Спасскому, — поклонитесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере». У него спросили: желает ли исповедаться и причаститься. Он согласился охотно, и положено было призвать священника утром.

В полночь доктор Арендт возвратился.

Покинув Пушкина, он отправился во дворец, но не застал государя, который был в театре, и сказал камердинеру, чтобы по возвращении его величества было донесено ему о случившемся. Около полуночи приехал за Аренд-том от государя фельдъегерь с повелением немедленно ехать к Пушкину, прочитать ему письмо, собственноручно государем к нему написанное, и тотчас обо всем донести. «Я не лягу, я буду ждать», — стояло в записке государя к Арендту. Письмо же приказано было возвратить. И что же стояло в этом письме? «Если бог не велит нам более увидеться, прими мое прощенье, а с ним и мой совет: кончить жизнь христиански. О жене и детях не беспокойся. Я их беру на свое попечение».

Как бы я желал выразить простыми словами то, что у меня движется в душе при перечитывании этих немногих строк. Какой трогательный конец земной связи между царем и тем, кого он когда-то отечески присвоил и кого до последней минуты не покинул: как много прекрасного, человеческого в этом порыве, в этой поспешности захватить душу Пушкина на отлете, очистить ее для будущей жизни и ободрить последним земным утешением. «Я не лягу, я буду ждать!» О чем же он думал в эти минуты, где он был своею мыслью? О, конечно, перед постелью умирающего, его добрым земным гением, его духовным отцом, его примирителем с небом и землею. В ту же минуту было исполнено

угаданное желание государя. Послали за священником в ближнюю церковь. Умиравший исповедался и причастился с глубоким чувством. Когда Арендт прочитал Пушкину письмо государя, то он вместо ответа поцеловал его и долго не выпускал из рук; но Арендт не мог ею оставить ему. Несколько раз Пушкин повторял: «Отдайте мне это письмо, я хочу умереть с ним. Письмо! где письмо?» Арендт успокоил его обещанием испросить на то позволение у государя. Он скоро потом уехал.

До пяти часов Пушкин страдал, но сносно. Кровотечение было остановлено холодными примочками. Но около пяти часов боль в животе сделалась нестерпимой, и сила ее одолела силу души: он начал стонать; послали за Арендтом. По приезде его нашли нужным поставить промывательное, но оно не помогло и только что усилило страдания, которые в чрезвычайной силе своей продолжались до 7-н часов утра.

Что было бы с бедною женою, если бы она в течение двух часов могла слышать эти крики: я уверен, что ее рассудок не вынес бы этой душевной пытки. Но вот что случилось: она в совершенном изнурении лежала в гостиной, головою к дверям, и они одни отделяли ее от постели мужа. При первом страшном крике его княгиня Вяземская, бывшая в той же горнице, бросилась к ней, опасаясь, чтобы с нею чего не сделалось. Но она лежала неподвижно (хотя за минуту говорила); тяжелый летаргический сон овладел ею; и этот сон, как будто нарочно посланный свыше, миновался в ту самую минуту, когда раздалось последнее стенание за дверями. И в эти минуты жесточайшего испытания, по словам Спасского и Арендта, во всей силе сказалась твердость души умирающего; готовый вскрикнуть, он только стонал, боясь, как он говорил, чтобы жена не слышала, чтобы ее не испугать. К семи часам боль утихла. Надобно заметить, что во все это время и до самого конца мысли его были светлы и память свежа. Еще до начала сильной боли он подозвал к себе Спасского, велел подать какую-то бумагу, по-русски написанную, и заставил ее сжечь. Потом призвал Данзаса и продиктовал ему записку о некоторых долгах своих. Это его, однако, изнурило, и после он уже не мог сделать никаких других распоряжений. Когда поутру кончились его сильные страдания, он сказал Спасскому: «Жену! позовите жену!» Этой прощальной минуты я тебе не стану описывать. Потом потребовал детей; они спали; их привели и принесли к нему полусонных. Он на каждого оборачивал глаза молча; клал ему на голову руку; крестил и потом движением руки отсылал от себя. «Кто здесь?» — спросил он Спасского и Данзаса. Назвали меня и Вяземского. «Позовите», — сказал он слабым голосом. Я подошел, взял его похолодевшую, протянутую ко мне руку, поцеловал ее: сказать ему ничего я не мог, он махнул рукою, я отошел. Так же простился он и с Вяземским. В эту минуту приехал граф Вельгорский, и вошел к нему, и так же в последние подал ему живому руку. Было очевидно, что спешил сделать свой последний земной расчет и как будто подслушивал идущую к нему

смерть. Взявши себя за пульс, он сказал Спасскому: «Смерть идет».

«Карамзина? тут ли Карамзина?» — спросил он спустя немного. Ее не было; за нею немедленно послали, и она скоро приехала. Свидание их продолжалось только минуту, но когда Катерина Андреевна отошла от постели, он ее кликнул и сказал: «Перекрестите меня!» Потом поцеловал у нее руку. В это время приехал доктор Арендт. «Жду царского слова, чтобы умереть спокойно», — сказал ему Пушкин. Это было для меня указанием, и я решился в ту же минуту ехать к государю, чтобы известить его величество о том, что слышал. Надобно знать, что, простившись с Пушкиным, я опять возвратился к его постели и сказал ему: «Может быть, я увижу государя; что мне сказать ему от тебя». — «Скажи ему, — отвечал он, — что мне жаль умереть; был бы весь его».

Сходя с крыльца, я встретился с фельдъегерем, посланным за мной от государя. «Извини, что я тебя потревожил», — сказал он мне при входе моем в кабинет. — «Государь, я сам спешил к вашему величеству в то время, когда встретился с посланным за мною». И я рассказал о том, что говорил Пушкин. «Я счел долгом сообщить эти слова немедленно вашему величеству. Полагаю, что он тревожится о участи Данзаса». — «Я не могу переменить законного порядка, — отвечал государь, — но сделаю все возможное. Скажи ему от меня, что я поздравляю его с исполнением христианского долга; о жене же и детях он беспокоиться не должен: они мои. Тебе же поручаю, если он умрет, запечатать его бумаги: ты после их сам рассмотришь».

Я возвратился к Пушкину с утешительным ответом государя. Выслушав меня, он поднял руки к небу с каким-то судорожным движением. «Вот как я утешен! — сказал он. — Скажи государю, что я желаю ему долгого, долгого царствования, что я желаю ему счастья в его сыне, что я желаю ему счастья в его России». Эти слова говорил слабо, отрывисто, но явственно. Между тем данный ему прием опиума несколько его успокоил. К животу вместо холодных примочек начали прикладывать мягчительные; это было приятно страждущему. И он начал послушно исполнять предписания докторов, которые прежде отвергал упрямо, будучи испуган своими муками и ожидая смерти для их прекращения. Он сделался послушным, как ребенок, сам накладывал компрессы на живот и помогал тем, кои около него суетились. Одним словом, он сделался гораздо спокойнее. В этом состоянии нашел его доктор Даль, пришедший к нему в два часа. «Плохо, брат», — сказал Пушкин, улыбаясь Далю. В это время он, однако, вообще был спокойнее; руки его были теплее, пульс явственнее. Даль, имевший сначала более надежды, нежели другие, начал его ободрять. «Мы все надеемся, — сказал он, — не отчаивайся в ты». — «Нет! — отвечал он, — мне здесь не житье; я умру, да, видно, так и надо». В это время пульс его был полнее и тверже. Начал показываться небольшой общий жар. Поставили пиявки. Пульс стал ровнее, реже и гораздо мягче.

«Я ухватился, — говорит Даль, — как утопленник за соломинку, робким голосом провозгласил надежду и обманул было и себя и других». Пушкин, заметив, что Даль был пободрее, взял его за руку и спросил: «Никого тут нет?» — «Никого». — «Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?» — «Мы за тебя надеемся, Пушкин, право надеемся». — «Ну, спасибо!» — отвечал он. Но, по-видимому, только однажды и обольстился он надеждою, ни прежде, ни после этой минуты он ей не верил.

Почти всю ночь (на 29-е число; эту ночь всю Даль просидел у его постели, а я, Вяземский и Вьельгорский в ближней горнице) он продержал Даля за руку; часто брал по ложечке или по крупинке льда в рот и всегда все делал сам: брал стакан с ближней полки, тер себе виски льдом, сам накладывал на живот припарки, сам их снимал и проч. Он мучился менее от боли, нежели от чрезмерной тоски: «Ах! какая тоска! — иногда восклицал он, закидывая руки на голову. — Сердце изнывает!» Тогда просил он, чтобы подняли его, или поворотили на бок, или поправили ему подушку, и, не дав кончить этого, останавливал обыкновенно словами: «Ну! так, так — хорошо: вот и прекрасно, и довольно; теперь очень хорошо». Или: «Постой — не надо — потяни меня только за руку — ну вот и хорошо, и прекрасно». (Все это его точное выражение.) «Вообще, — говорит Даль, — в обращении со мною он был повадлив и послушен, как ребенок, и делал все, что я хотел».

Однажды он спросил у Даля: «Кто у жены моей?» Даль отвечал: «Много добрых людей принимают в тебе участие; зало и передняя полны с утра и до ночи». — «Ну, спасибо, — отвечал он, — однако же поди скажи жене, что все, слава богу, легко; а то ей там, пожалуй, наговорят». Даль его не обманул. С утра 28-го числа, в которое разнеслась по городу весть, что Пушкин умирает, передняя была полна приходящих. Одни осведомлялись о нем через посланных спрашивать об нем, другие — и люди всех состояний, знакомые и незнакомые — приходили сами. Трогательное чувство национальной, общей скорби выражалось в этом движении, произвольном, ничем не приготовленном. Число приходящих сделалось наконец так велико, что дверь прихожей (которая была подле кабинета, где лежал умирающий) беспрестанно отворялась и затворялась; это беспокоило страждущего; мы придумали запереть дверь из прихожей в сени, задвинули ее залавком и открыли другую, узенькую, прямо с лестницы в буфет, а гостиную от столовой отгородить ширмами (это распоряжение поймешь из приложенного плана). С этой минуты буфет был набит народом; в столовую входили только знакомые, на лицах выражалось простодушное участие, очень многие плакали.

Государь император получал известия от доктора Арендта (который раз по шести в день и по несколько раз ночью приезжал навестить больного) ; государыня великая княгиня, очень любившая Пушкина, написала ко мне несколько записок, на которые я отдавал

подробный отчет ее высочеству согласно с ходом болезни. Такое участие трогательно, но оно естественно; естественно и в государе, которому дорога народная слава, какого рода она бы ни была (а в этом отличительная черта нынешнего государя; он любит все русское; он ставит новые памятники и бережет старые) ; естественно и в нации, которая в этом случае не только заодно с своим государем, но этою общею любовью к отечественной славе укореняется между ими нравственная связь; государю естественно гордиться своим народом, как скоро этот народ понимает его высокое чувство и вместе с ним любит то, что славно отличает его от других народов или ставит с ним наряду; народу естественно быть благодарным своему государю, в котором он видит представителя своей чести.

Одним словом сии изъявления общего участия наших добрых русских меня глубоко трогали, но не удивляли. Участие иноземцев было для меня усладительною нечаятельностью. Мы теряли свое; мудрено ли, что мы горевали? Но их что так трогало? Что думал этот почтенный Барант, стоя долго в унынии посреди прихожей, где около его шептали с печальными лицами о том, что делалось за дверями. Отгадать нетрудно. Гений есть общее добро; в поклонении гению все народы родня! и когда он безвременно покидает землю, все провожают его с одинаковою братскою скорбью. Пушкин по своему гению был собственности») не одной России, но и целой Европы; потому-то и посол французский (сам знаменитый писатель) приходил к двери его с печалью собственною, и о нашем Пушкине пожалел как будто о своем. Потому же Люцероде, саксонский посланник, сказал собравшимся у него гостям в понедельник ввечеру: «Нынче у меня танцевать не будут, нынче похороны Пушкина».

Возвращаюсь к своему описанию. Послав Даля ободрить жену надеждою, Пушкин сам не имел никакой. Однажды спросил он: «Который час?» И на ответ Даля продолжал прерывающимся голосом: «Долго ли... мне... так мучиться?... Пожалуйста, поскорей!..» Это повторил он несколько раз: «Скоро ли конец?..» И всегда прибавлял «Пожалуйста, поскорей!» Вообще (после мук первой ночи, продолжавшихся два часа) он был удивительно терпелив. Когда тоска и боль его одолевали, он делал движения руками или отрывисто кряхтел, но так, что его почти не могли слышать. «Терпеть надо, друг, делать нечего, — сказал ему Даль, — но не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче». — «Нет, — он отвечал иерерывчиво, — нет... не надо... стонать... жена... услышит... Смешно же... чтоб этот... вздор... меня... пересилил... не хочу».

Я покинул его в 5 часов и через два часа возвратился в 7-м, то есть через два часа. Видев, что ночь была довольно спокойна, я пошел к себе почти с надеждою, но, возвращаясь, нашел иное. Арендт сказал мне решительно, что все кончено и что ему не пережить дня. Действительно, пульс ослабел и начал упадать приметно; руки начали стыть. Он лежал с

закрытыми глазами; иногда только подымал руки, чтобы взять льду и потереть им лоб.

Ударило два часа пополудни, и в Пушкине осталось жизни на три четверти часа. Он открыл глаза и попросил моченой морошки. Когда ее принесли, то он сказал внятно: «Позовите жену, пускай она меня покормит». Она пришла, опустила на колена у изголовья, поднесла ему ложечку-другую морошки, потом прижалась лицом к лицу его; Пушкин погладил ее по голове и сказал: «Ну, ну, ничего; слава богу; все хорошо! поди». Спокойное выражение лица его и твердость голоса обманули бедную жену; она вышла как просиявшая от радости лицом. «Вот увидите, — сказала она доктору Спасскому, — он будет жив, он не умрет».

А в эту минуту уже начался последний процесс жизни. Я стоял вместе с графом Вельгорским у постели его, в головах; сбоку стоял Тургенев. Даль шепнул мне: «Отходит». Но мысли его были светлы. Изредка только полудремотное забытье их отуманивало. Раз он подал руку Далю и, пожимая ее, проговорил: «Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше... ну, пойдем!» Но, очнувшись, он сказал: «Мне было пригрезилось, что я с тобой лечу вверх по этим книгам и полкам; высоко... и голова закружилась». Немного погодя он опять, не раскрывая глаз, стал искать Далеву руку и, потянув ее, сказал: «Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе». Даль, по просьбе его, взял его под мышки и приподнял повыше; и вдруг, как будто проснувшись, он быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: «Кончена жизнь». Даль, не расслышав, отвечал: «Да, конечно; мы тебя положили». «Жизнь кончена!» — повторил он внятно и положительно. «Тяжело дышать, давит!» — были последние слова его. В эту минуту я не сводил с него глаз и заметил, что движение груди, доселе тихое, сделалось прерывистым. Оно скоро прекратилось. Я смотрел внимательно, ждал последнего вдоха; но я его не заметил. Тишина, его обьявшая, казалась мне успокоением. Все над ним молчали. Минуты через две я спросил: «Что он?» — «Кончилось», — отвечал мне Даль. Так тихо, так таинственно удалилась душа его. Мы долго стояли над ним молча, не шевелясь, не смея нарушить великого таинства смерти, которое совершилось перед нами во всей умиленной святине своей.

Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась; руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! Это было не сон и не покой! Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не было также и выражение поэтическое! нет! какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на

какое-то полное, глубокое, удовлетворенное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: «Что видишь, друг?» И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, можно сказать, я видел самую смерть, божественно тайную, смерть без покрывала. Какую печать наложила она на лицо его и как удивительно высказала на нем и свою и его тайну. Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нем и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина.

Опишу в немногих словах то, что было после. К счастью, я вспомнил вовремя, что надобно с него снять маску. Это было исполнено немедленно; черты его еще не успели измениться. Конечно, того первого выражения, которое дала им смерть, в них не сохранилось; но всё мы имеем отпечаток привлекательный; это не смерть, а сон. Спустя 3/4 часа после кончины (во все это время я не отходил от мертвого, мне хотелось взглянуть в прекрасное лицо его) тело вынесли в ближнюю горницу; а я, исполняя повеление государя императора, запечатал кабинет своею печатью. Не буду рассказывать того, что сделалось с печальною женою: при ней находились неотлучно княгиня Вяземская, Е. И. Загряжская, граф и графиня Строгановы. Граф взял на себя все распоряжения похорон. Побыв еще несколько времени в доме, я поехал к Вьельгорскому обедать; у него собрались и все другие, видевшие последнюю минуту Пушкина; и он сам был приглашен за гробом к этому обеду: это был день моего рождения. Я счел обязанностью донести государю императору о том, как умер Пушкин; он выслушал меня наедине в своем кабинете: этого прекрасного часа моей жизни я никогда не забуду.

На другой день мы, друзья, положили Пушкина своими руками в гроб; на следующий день, к вечеру, перенесли его в Конюшенную церковь. И в эти оба дни та горница, где он лежал в гробе, была беспрестанно полна народом. Конечно, более десяти тысяч человек приходило взглянуть на него: многие плакали; иные долго останавливались и как будто хотели всмотреться в лицо его; было что-то разительное в его неподвижности посреди этого движения и что-то умирительно таинственное в той молитве, которая так тихо, так однообразно слышалась посреди этого шума.

И особенно глубоко трогало мне душу то, что государь как будто сопresentствовал посреди своих русских, которые так просто и смиренно и с ним заодно выражали скорбь свою о утрате славного соотечественника. Всем было известно, как государь утешил последние минуты Пушкина, какое он принял участие в его христианском покаянии, что он сделал для его сирот, как почтил своего поэта и что в то же время (как судья, как верховный блюститель нравственности) произнес в осуждение

бедственному делу, которое так внезапно лишило нас Пушкина. Редкий из посетителей, помолясь перед гробом, не помолился в то же время за государя, и можно сказать, что это изъятие национальной печали о поэте было самым трогательным прославлением его великодушного покровителя.

Отпевание происходило 1 февраля. Весьма многие из наших знакомых людей и все иностранные министры были в церкви. Мы на руках отнесли гроб в подвал, где надлежало ему остаться до вывоза из города. 3 февраля в 10 часов вечера собрались мы в последний раз к тому, что еще для нас оставалось от Пушкина; отпели последнюю панихиду; ящик с гробом поставили на сани; сани тронулись; при свете месяца несколько времени я следовал за ними; скоро они повертели за угол дома; и все, что было земной Пушкин, навсегда пропало из глаз моих.

МЫСЛИ И ЗАМЕЧАНИЯ О ТЕАТРЕ И ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Того актера можно назвать совершенным, которого поймет и не знающий языка (представляемой пьесы) по выразительности голоса, лица, телодвижений; даже глухой — по двум последним; даже слепой — по одному первому.

*

Актер, в сильных драматических ролях, в двух случаях может играть хорошо: он должен быть или с пламенным воображением, с чрезмерно раздражительною чувствительностию, все увеличивающий, все принимающий близко к сердцу, приходящий в восторг от того, что другой едва примечает, — или внимательный только наблюдатель хода страстей человеческих и с хладнокровием, но верно им подражающий. В первом случае — талант, во втором — искусство; соединение их — составляет совершенство.

*

Почти каждый из славных актеров имел в игре нечто свое, самим гением ему внушенное и — неподражаемое. Без сомнения, надобно пользоваться сим средством, но не забывать меры; иначе оно обратится в порок.

Великая важность для актера — особливо же для того, кто не одарен отличными физическими средствами от природы — уметь сберегать себя (не охлаждая игры) для сильных мест своей роли. — Шушерин употреблял сей способ с совершенным успехом.

*

Редко случается, чтоб актеры, одаренные отличными средствами, талантом и блестящею наружностию, достигали великого искусства. Причина ощутительна и естественна: кто обижен от природы, тот старается (имея склонность к своему искусству и ум) вознаградить свои недостатки познаниями, точностию игры, прилежным разбором ролей, примерами, советами; а дарование, украшенное всеми выгодами наружности, бросааясь в глаза полузнатокам, обольщая надеждами даже и образованных судей, исторгает громкие похвалы и, ослепя самолюбием актера, останавливает его на пути к совершенству.— Печальный пример тому был наш Яковлев!.. Яковлев, сотворенный природою со всеми возможными, великими душевными и телесными средствами к достижению совершенства, Яковлев, предназначенный быть славою российского театра, красою знаменитых актеров образованной Европы — скажу смело, не выдерживал

ни одной роли! места были чудесные, а все было дурно!.. Просвещенная русская публика имеет право горько жаловаться на неумеренных его почитателей, которые называли его северным Лекенем!.. Дмитриевский и Шушерин могут служить противоположными примерами, как искусство побеждает природные недостатки⁵⁰.

*

Есть весьма дурная привычка у актеров и актрис, впрочем и недурных: они на сцене стараются голос свой делать ненатуральным и в самых жарких местах своей роли смотрят в глаза зрителям; а последние, в самое это время, часто поправляют свои уборы, чем убивают очарование, и зритель не может забыться. От сего порока не изъяты и знаменитые актрисы: девица Жорж была ему подвержена.

*

Хорошо, если актер каждый раз сходит со сцены недовольный собою, несмотря на громкие рукоплескания.

*

Многие спорят о том: нужен ли напев при декламации стихов в трагедиях, или нет? — По моему мнению, он необходим, но должно употреблять его умеренно и не везде. В местах, где говорится без сильного волнения страстей, в торжественных речах к воинам, к народу, в описательных рассказах, в обращениях к божеству — напев должен быть. К чему сей великий труд писать стихами, если читать их, как прозу? И созвучное протяжение стихов не производит ли живейшего впечатления в сердце человеческого?—Скажут, что такое чтение ненатурально; но разве натурально говорить стихами, да еще и с рифмами? В изящных искусствах есть условная натуральность. Не есть ли трагедия возвышенное, необыкновенное зрелище? Но я весьма далек от того, чтоб согласиться на распевание трагедии, как то делали в Петербурге французские актеры и сама Жорж. Сие неумеренное распевание всегда вводилось славными артистами; их таланты, огонь, чувства одушевляли напев и делали его привлекательным, а подражатели их, как и всегда бывает, подумали, что в нем-то и заключается вся тайна искусства. Впрочем, на французском языке, который не весьма благозвучен, напев может употребляться в большей степени, нежели на нашем.

*

Можно принять за аксиому, что покуда некоторая часть зрителей не будет состоять из истинных знатоков и покуда актеры не будут уважать их мнением более, нежели рукоплесканием множества, до тех пор и с дарованиями актеры — никогда не будут истинными артистами.

*

Талант — первое условие для успеха; хорошие средства⁵¹ почти

так же важны; но без образования, без трудов, без очищенного вкуса, получаемого непременно в хорошем обществе, — ничего еще не значит. К сожалению, важность, необходимость последнего не всегда уважается молодыми артистами; сие неуважение погубило и Яковлева.

*

Отчего, в продолжение нескольких лет, почти все дебютанты (в обеих столицах, особливо в Петербурге) первыми своими появлениями приводили в восторг простых зрителей и обольщали великими надеждами самих знатоков, а впоследствии времени делались несносными и для тех и для других? Между многими другими главнейшая тому причина (мне кажется) состоит в том, что обыкновенно дебютанты показываются в ролях сильных и всегда бывают кем-нибудь из хороших актеров или любителей театра поставлены на свои дебюты с голосу. Зрители с приятным изумлением видят, что неопытный актер, в первый раз выходящий на сцену в роле трудной, уже ее понимает; слабость в выражении чувств относят к несмелости их выказать, к непривычке им предаваться; игра вообще слаба, но нет грубых ошибок; за некоторые точно выраженные места, за трудность роли охотно прощают все дурное, приписывая его неопытности, застенчивости и пр. Не шутка показаться пред целую публику столицы!.. это даже некоторым образом льстит ее самолюбию!.. Сей же актер является потом в роле не так важной; зрители не сомневаются, что он ее сыграет очень хорошо... Напротив!.. Увенчанный лаврами дебютант, уже оставленный собственному невежеству и даже получивший о себе высокое мнение, играет ее — очень дурно!.. Зрители изумляются, на первый раз прощают, но требуют, чтоб с продолжением времени прибавлялось его искусство... Нисколько; он играет день ото дня хуже. Все видят, что обманулись, и за свою ошибку отмщают ужасно; от сего жестокого мщения гаснет последняя искра дарования, и актер, с восхищением принятый публикою в Полинике, Эдипе и Магомете, сходит на роли наперсников, потом простых вестников и везде — делается посмешищем, предметом оскорбления неумолимых зрителей и — навсегда потерянным для искусства!

*1825 года. Февраля 15-го,
Село Надежино.*

О НАРОДНОМ ВОСПИТАНИИ

Последние происшествия обнаружили много печальных истин. Недостаток просвещения и нравственности вовлек многих молодых людей в преступные заблуждения. Политические изменения, вынужденные у других народов силою обстоятельств и долговременным приготовлением, вдруг сделались у нас предметом замыслов и злонамеренных усилий. Лет 15 тому назад молодые люди занимались только военною службою, старались отличаться одною светскою образованностию или шалостями; литература (в то время столь свободная) не имела никакого направления; воспитание ни в чем не отклонялось от первоначальных начертаний. 10 лет спустя мы увидели либеральные идеи необходимой вывеской хорошего воспитания, разговор исключительно политический; литературу (подавленную самой своенравною цензурою), превратившуюся в рукописные пасквили на правительство и возмутительные песни; наконец, и тайные общества, заговоры, замыслы более или менее кровавые и безумные.

Ясно, что походам 13 и 14 года, пребыванию наших войск во Франции и в Германии должно приписать сие влияние на дух и нравы того поколения, коего несчастные представители погибли в наших глазах; должно надеяться, что люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, образумились; что, с одной стороны, они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой — необъятную силу правительства, основанную на силе вещей. Вероятно, братья, друзья, товарищи погибших успокоятся временем и размышлением, поймут необходимость и простят оной в душе своей. Но надлежит защитить новое, возрастающее поколение, еще не наученное никаким опытом и которое скоро явится на поприще жизни со всею пылкостью первой молодости, со всем ее восторгом и готовностию принимать всякие впечатления.

Не одно влияние чужеземного идеологизма пагубно для нашего отечества; воспитание, или, лучше сказать, отсутствие воспитания есть корень всякого зла. Не просвещению, сказано в высочайшем манифесте от 13-го июля 1826 года, но праздности ума, более вредной, чем праздность телесных сил, недостатку твердых познаний должно приписать сие своеволие мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец — гибель. Скажем более: одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия.

Чины сделались страстию русского народа. Того хотел Петр Великий, того требовало тогдашнее состояние России. В других землях

молодой человек кончает круг учения около 25 лет; у нас он торопится вступить как можно ранее в службу, ибо ему необходимо 30-ти лет быть полковником или коллежским советником. Он входит в свет безо всяких основательных познаний, без всяких положительных правил: всякая мысль для него нова, всякая новость имеет на него влияние. Он не в состоянии ни поверять, ни возражать; он становится слепым приверженцем или жалким повторителем первого товарища, который захочет оказать над ним свое превосходство или сделать из него свое орудие.

Конечно, уничтожение чинов (по крайней мере, гражданских) представляет великие выгоды; но сия мера влечет за собою и беспорядки бесчисленные, как вообще всякое изменение постановлений, освященных временем и привычкою. Можно, по крайней мере, извлечь некоторую пользу из самого злоупотребления и представить чины целию и достоянием просвещения; должно увлечь всё юношество в общественные заведения, подчиненные надзору правительства; должно его там удерживать, дать ему время перекипеть, обогатиться познаниями, созреть в тишине училищ, а не в шумной праздности казарм.

В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное: ребенок окружен одними холопами, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Воспитание его ограничивается изучением двух или трех иностранных языков и начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-нибудь нанятым учителем. Воспитание в частных пансионах не многим лучше; здесь и там оно кончается на 16-летнем возрасте воспитанника. Нечего колебаться: во что бы то ни стало должно подавить воспитание частное.

Надлежит всеми средствами умножить невыегоды, сопряженные с оным (например, прибавить годы унтер-офицерства и первых гражданских чинов).

Уничтожить экзамены. Покойный император, удостоверясь в ничтожестве ему предшествовавшего поколения, желал открыть дорогу просвещенному юношеству и задержать как-нибудь стариков, закоренелых в безнравствии и невежестве. Отселе указ об экзаменах, мера слишком демократическая и ошибочная, ибо она нанесла последний удар дворянскому просвещению и гражданской администрации, вытеснив всё новое поколение в военную службу. А так как в России всё продажно, то и экзамен сделался новой отраслью промышленности для профессоров. Он походит на плохую таможенную заставу, в которую старые инвалиды пропускают за деньги тех, которые не умели проехать стороною. Итак (с такого-то году), молодой человек, не воспитанный в государственном училище, вступая в службу, не получает вперед никаких выгод и не имеет права требовать экзамена.

Уничтожение экзаменов произведет большую радость в старых

титулярных и коллежских советниках, что и будет хорошим противодействием ропоту родителей, почитающих своих детей обиженными.

Что касается до воспитания заграничного, то запрещать его нет никакой надобности. Довольно будет опутать его одними невыгодами, сопряженными с воспитанием домашним, ибо, 1-е, весьма немногие станут пользоваться сим позволением; 2-е, воспитание иностранных университетов, несмотря на все свои неудобства, не в пример для нас менее вредно воспитания патриархального. Мы видим, что Н. Тургенев, воспитывавшийся в Геттингенском университете, несмотря на свой политический фанатизм, отличался посреди буйных своих сообщников нравственностью и умеренностью — следствием просвещения истинного и положительных познаний. Таким образом, уничтожив или, по крайней мере, сильно затруднив воспитание частное, правительству легко будет заняться улучшением воспитания общественного.

Ланкастерские школы входят у нас в систему военного образования и, следовательно, состоят в самом лучшем порядке.

Кадетские корпуса, рассадник офицеров русской армии, требуют физического преобразования, большего присмотра за нравами, кои находятся в самом гнусном запущении. Для сего нужна полиция, составленная из лучших воспитанников; доносы других должны быть оставлены без исследования и даже подвергаться наказанию; чрез сию полицию должны будут доходить и жалобы до начальства. Должно обратить строгое внимание на рукописи, ходящие между воспитанниками. За найденную похабную рукопись положить тяжчайшее наказание; за возмутительную — исключение из училища, но без дальнейшего гонения по службе: наказывать юношу или взрослого человека за вину отрока есть дело ужасное и, к несчастю, слишком у нас обыкновенное.

Уничтожение телесных наказаний необходимо. Надлежит заранее внушить воспитанникам правила чести и человеколюбия; не должно забывать, что они будут иметь право розги и палки над солдатом; слишком жестокое воспитание делает из них палачей, а не начальников.

В гимназиях, лицеях и пансионах при университетах должно будет продлить, по крайней мере, 3-мя годами круг обыкновенный учения, по мере того повышая и чины, даваемые при выпуске.

Преобразование семинарий, рассадника нашего духовенства, как дело высшей государственной важности, требует полного особенного рассмотрения.

Предметы учения в первые годы не требуют значительной перемены. Кажется однако ж, что языки слишком много занимают времени. К чему, например, 6-летнее изучение французского языка, когда навык света и без того слишком уже достаточен? К чему латинский или

греческий? Позволительна ли роскошь там, где чувствителен недостаток необходимого?

Во всех почти училищах дети занимаются литературою, составляют общества, даже печатают свои сочинения в светских журналах. Всё это отвлекает от учения, приучает детей к мелочным успехам и ограничивает идеи, уже и без того слишком у нас ограниченные.

Высшие политические науки займут окончательные годы. Преподавание прав, политическая экономия по новейшей системе Сея и Сисмонди, статистика, история.

История в первые годы учения должна быть голым хронологическим рассказом происшествий, безо всяких нравственных или политических рассуждений. К чему давать младенствующим умам направление одностороннее, всегда непрочное? Но в окончательном курсе преподавание истории (особенно новейшей) должно будет совершенно измениться. Можно будет с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных; не хитрить, не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря, превознесенного 2000 лет, но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря честолюбивым возмутителем. Вообще не должно, чтоб республиканские идеи изумили воспитанников при вступлении в свет и имели для них прелесть новизны.

Историю русскую должно будет преподавать по Карамзину. «История государства Российского» есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека. Россия слишком мало известна русским; сверх ее истории, ее статистика, ее законодательство требуют особенных кафедр. Изучение России должно будет преимущественно занять в окончательные годы умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою, имея целию искренно и усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не препятствовать ему, безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве.

Сам от себя я бы никогда не осмелился представить на рассмотрение правительства столь недостаточные замечания о предмете столь важном, каково есть народное воспитание: одно желание усердием и искренностию оправдать высочайшие милости, мною не заслуженные, понудило меня исполнить вверенное мне препоручение. Ободренный первым вниманием государя императора, всеподданнейше прошу его величество дозволить мне повергнуть пред ним мысли касательно предметов, более мне близких и знакомых.

О ПРЕПОДАВАНИИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

I

Всеобщая история, в истинном ее значении, не есть собрание частных историй всех народов и государств без общей связи, без общего плана, без общей цели, куча происшествий без порядка, в безжизненном и сухом виде, в каком очень часто ее представляют. Предмет ее велик: она должна обнять вдруг и в полной картине все человечество, каким образом оно из своего первоначального, бедного младенчества развивалось, разнообразно совершенствовалось и наконец достигло нынешней эпохи. Показать весь этот великий процесс, который выдержал свободный дух человека кровавыми трудами, борясь от самой колыбели с невежеством, природой и исполинскими препятствиями: вот цель всеобщей истории! Она должна собрать в одно все народы мира, разрозненные временем, случаем, горами, морями, и соединить их в одно стройное целое; из них составить одну величественную полную поэму. Происшествие, не произведшее влияния на мир, не имеет права войти сюда. Все события мира должны быть так тесно связаны между собою и цепляться одно за другое, как кольца в цепи. Если одно кольцо будет вырвано, то цепь разрывается. Связь эту не должно принимать в буквальном смысле. Она не есть та видимая, вещественная связь, которою часто насильно связывают происшествия, или система, создающаяся в голове независимо от фактов и к которой после своевольно притягивают события мира. Связь эта должна заключаться в одной общей мысли: в одной неразрывной истории человечества, перед которою и государства и события — временные формы и образы! Мир должен быть представлен в том же колоссальном величии, в каком он являлся, проникнутый теми же таинственными путями промысла, которые так непостижимо на нем означались. Интерес необходимо должен быть доведен до высочайшей степени, так, чтобы слушателя мучило желание узнать далее; чтобы он не в состоянии был закрыть книгу или не дослушать, но если бы и сделал это, то разве с тем только, чтобы начать сызнова чтение; чтобы очевидно было, как одно событие рождает другое и как без первоначального не было бы последующего. Только таким образом должна быть создана история.

II

Все, что ни является в истории: народы, события — должны быть

непрерывно живы и как бы находиться пред глазами слушателей или читателей, чтоб каждый народ, каждое государство сохраняли свой мир, свои краски, чтобы народ со всеми своими подвигами и влиянием на мир проносился ярко, в таком же точно виде и костюме, в каком был он в минувшие времена. Для того нужно собрать не многие черты, но такие, которые бы высказывали много, черты самые оригинальные, самые резкие, какие только имел изображаемый народ. Для того чтобы извлечь эти черты, нужен ум, сильный схватить все незаметные для простого глаза оттенки, нужно терпение перерывать множество иногда самых неинтересных книг. Но что уже один узнал, то другим передается легко; и потому слушатели должны узнать это, не роясь в архивах.

III

Преподаватель должен призвать в помощь географию, но не в том жалком виде, в каком ее часто принимают, то есть для того только, чтобы показать место, где что происходило. Нет! География должна разгадать многое, без нее неизъяснимое в истории. Она должна показать, как положение земли имело влияние на целые нации; как оно дало особенный характер им; как часто гора, вечная граница, взгроможденная природою, дала другое направление событиям, изменила вид мира, преградив великое разлитие опустошительного народа или заключивши в неприступной своей крепости народ малочисленный; как это могучее положение земли дало одному народу всю деятельность жизни, между тем как другой осудило на неподвижность; каким образом оно имело влияние на нравы, обычаи, правление, законы. Здесь -то они должны увидеть, как образуется правление; что его не люди совершенно устаковляют, но нечувствительно устанавливает и развивает самое положение земли; что формы его оттого священны, и изменение их неминуемо должно навлечь несчастье на народ.

IV

События и эпохи великие, всемирные, должны быть означены ярко, сильно, должны выдвигаться на первом плане со всеми своими следствиями, изменившими мир; не так, как делают иногда преподаватели, которые, сказавши, что такое-то происшествие есть великое, тем и отделяются или приводят близорукие следствия в виде отрубленных ветвей, тогда как должно развить его во всем пространстве, вывести наружу все тайные причины его явления и показать, каким образом следствия от него, как широкие ветви, распростираются по грядущим векам, более и более разветвляются на едва заметные отпрыски, слабеют и наконец

совершенно исчезают или глухо отдаются даже в нынешние времена, подобно сильному звуку в горном ущелье, который вдруг умирает после рождения, но долго еще отзывается в своем эхе. Эти события должно показать в таком виде, чтобы все видели ясно, что они великие маяки всеобщей истории; что на них она держится, как земля держится на первозданных гранитах, как животное на своем скелете.

V

Теперь об образе преподавания. Слог профессора должен быть увлекательный, огненный. Он должен в высочайшей степени овладеть вниманием слушателей. Если хоть один из них может предаться во время лекции посторонним мыслям, то вся вина падает на профессора: он не умел быть так занимателен, чтобы покорить своей воле даже мысли слушателей. Нельзя вообразить, не испытавши, какое вредное влияние происходит от того, если слог профессора вял, сух и не имеет той живости, которая не дает мыслям ни на минуту рассыпаться. Тогда не спасет его самая ученость: его не будут слушать; тогда никакие истины не произведут на слушателей влияния, потому что их возраст есть возраст энтузиазма и сильных потрясений; тогда происходит то, что самые ложные мысли, слышимые ими стороною, но выраженные блестящим и привлекательным языком, мгновенно увлекут их и дадут им совершенно ложное направление. Что же тогда, когда профессор еще сверх того облечен школьною методою, схоластическими мертвыми правилами и не имеет даже умственных сил доказать их; когда юный, развертывающийся ум слушателей, начиная понимать уже выше его, приучается презирать его? Тогда даже справедливые замечания возбуждают внутренний смех и желание действовать и умствовать наперекор; тогда самые священные слова в устах его, как-то: преданность к религии и привязанность к отечеству и государю, превращаются для них в мнения ничтожные. Какие из этого бывают ужасные следствия, это видим, к сожалению, нередко. И потому-то не должно упускать из внимания, что возраст слушателей есть возраст сильных впечатлений; и потому нужно иметь всю силу, всю увлекательность, чтобы обратить этот энтузиазм их на прекрасное и благородное; чтобы рассказ профессора дышал сам энтузиазмом. Его убеждения должны быть так сильны, так выведены из самой природы, так естественны, чтобы слушатели сами увидели истину еще прежде, нежели он совершенно укажет на нее. Рассказ профессора должен делаться по временам возвышен, должен сыпать и возбуждать высокие мысли, но вместе с тем должен быть прост и понятен для всякого. Истинно высокое одето величественною простотою: где величие, там и простота. Он не должен довольствоваться тем, что его некоторые понимают; его должны

понимать все. Чтобы делаться доступнее, он не должен быть скуп на сравнения. Как часто понятное еще более поясняется сравнением! и потому эти сравнения он должен всегда брать из предметов самых знакомых слушателям. Тогда и идеальное и отвлеченное становится понятным. Он не должен говорить слишком много, потому что этим утомляется внимание слушателей и потому что многосложность и большое обилие предметов не дадут возможности удержать всего в мыслях. Каждая лекция профессора непременно должна иметь цель и казаться оконченной, чтоб в уме слушателей она представлялась стройною поэмою; чтобы они видели в начале, что она должна заключать в себе и что заключает: чрез это они сами в своем рассказе всегда будут соблюдать цель и целость. А это необходимее всего в истории, где ни одно событие не брошено без цели.

VI

План же для преподавания, после многих наблюдений, испытаний себя и слушателей, я полагаю лучшим следующий.

Прежде всего почитаю необходимым представить слушателям эскиз всей истории человечества, в немногих, но сильных словах и в нераздельной связи, чтобы они вдруг обняли все то, о чем будут слышать, иначе они не так скоро и не в такой ясности постигнут весь механизм истории. Все равно как нельзя узнать совершенно город, исходивши все его улицы: для этого нужно взойти на возвышенное место, откуда бы он виден был весь как на ладони. Я набрасываю здесь эскиз для того, чтобы показать вместе, в каком виде и в какой связи должна быть история.

Прежде всего я должен представить, каким образом человечество началось Востоком. Я должен изобразить Восток с его древними патриархальными царствами, с религиями, облеченными в глубокую таинственность, так непонятную для простого народа, кроме религии евреев, между коими сохранилось чистое, первобытное ведение истинного бога; как эти древние государства оградилась друг от друга, будто неприступною стеною, нетерпимостью и китайскою осторожностью; как один только народ финикийский, первые мореплаватели древнего мира, приводил невольно своею промышленностью в сообщение эти почти неподвижные государства, и каким образом первый всемирный завоеватель, Кир, с свежим и сильным народом, персами, подверг весь Восток своей власти и насильно соединил разнохарактерные народы; но нравы, религия, формы правления остались в государствах те же, цари только обратились в сатрапов, и весь Восток видел над собою одну верховную власть царя царей, персидского повелителя; как постепенно от взаимного сообщения эти народы теряли свою особенность и национальность и вместе с своим царем царей, почти богом, невидимым

для народа, поверглись в азиатскую роскошь.— Здесь я останавливаюсь и обращаюсь к другой части древнего мира, к Европе. Я должен изобразить, как возник в ней этот цвет его, народ греческий, с живым, любопытным умом, республиканским духом, совершенно противоположными формами правления, поэтической религией, ясными, живыми идеями, так противоборствующими важной таинственности Востока; как развернулось у них просвещение в таком необыкновенном блеске, и как, наконец, один честолюбивый грек подверг их своей монархической власти, как этот великий грек задумал гигантское дело: соединить Восток с Европою и разнести везде греческое просвещение. И вот, чтобы связать теснее три части света, строится город Александрия; герой упирает, всесветная монархия падает вместе с ним. Но подвиги его живы, плоды зреют: настает знаменитый александрийский век, когда весь древний мир толпится у гавани александрийской, когда греческие ученые во всех городах, и национальность опять исчезает, народы опять смешиваются! А между тем в Италии, почти невидимо от всех, созревает железная сила римлян.

Я должен изобразить, как этот суровый, воинственный народ покоряет одно за другим государства, обогащается награбленными богатствами, поглощает весь Восток. Легионы его проникают в те земли Европы, где владение уже не доставляет ничего нужного для человека. Уже Цезарь заносит ногу в Британию, римские орлы на скалах Албиона... между тем неведомые степи Средней Азии извергают толпы неведомых народов, которые теснят и гонят пред собою других, вгоняют их в Европу, сами несутся по пятам их и грозно останавливаются на севере, как зловещая кара, ожидающая обреченной жертвы, скрытые от римлян германскими лесами и непроходимыми болотами. А между тем уже ни одного не остается независимого царства. Весь мир разделен на римские провинции. Римляне перенимают все у побежденных народов, сначала пороки, потом просвещение. Все мешается опять. Все делается римлянами, и ни одного настоящего римлянина! И когда развратные императоры, своевольное войско, отпущенники и содержатели зрелищ тиранствуют над миром,— в недрах его неприметно совершается великое событие: в ветхом мире зарождается новый! воплощается неузнанный миром божественный Спаситель его; и вечное слово, не понятое властелинами, раздается в темницах и пустынях, таинственно выжидая новых народов. Наконец на весь древний мир непостижимо находит летаргический сон, та страшная неподвижность, то ужасное онемение жизни, когда просвещение не двигается ни вперед, ни назад, сила и характер исчезают, все обращается в мелкий, ничтожный этикет, жалкую, развратную бесхарактерность. А в Азии между тем новый толчок, как электрическая искра, пробегает по всей цепи: один народ теснит и гонит перед собою другой, который, в свою очередь, сгоняет третий, и самые крайние появляются уже на римских границах, тогда как жалкие победители мира употребляют все усилия

спасти себя: сначала откупаются золотом, потом из них же составляют себе войско защитников, потом отдают им одну за другою все свои провинции, наконец, предают им Рим, и те, которые сохраняли еще слабые остатки познаний, бегут на восток, прочие, невежественные и слабые, исчезают в сильных толпах нового народа.

Я должен изобразить, как начинается новая жизнь в Европе; как основываются и принимают крещение дикие государства в границах, назначенных природою, с феодальными правами, с вассальными владениями, и как могущественный папа, прежде только римский первосвященник, делается государем, незаметно присоединяет к своей сильной религиозной власти светскую. Между тем на Востоке остатки римлян теснятся и покоряются новым сильным народом, мгновенно, как бы фантастически, возродившимся на своем каменном аравийском полуострове, подвигнутым до исступления религией, совершенно восточной, основанной полупомешанным энтузиастом Магометом; как этот народ, с азиатской саблей в руках, распространял магометанство на место прежних остатков греческого просвещения, и как изумительно, быстро этот чудесный народ из завоевателей делается просветителем, разворачивается во всем блеске, с своей роскошной фантазией, глубокими мыслями и поэзией жизни, и как он вдруг меркнет и затмевается выходцами из-за моря Каспийского, которым оставляет в наследство одно магометанство, как почти в то же время в Европе корсары северных морей, норманны, с неслыханною дерзостью, в малом числе, грабят и овладевают целыми государствами, наконец, переменяют дикую религию свою на христианство и прибавляют Европе свою силу и нравы; а между тем папа мало-помалу делается неограниченным монархом всей Европы, и самый император немецкий, которого уважали все народы, не смеет противустать ему, и как по мановению его целые народы, вассалы, короли оставляют свои земли, богатства, кладут пламенный крест на рамена и спешат с энтузиазмом в Палестину; как вся Европа, двинувшись с мест, валится в Азию, Восток сшибается с Западом, и две грозные силы, христианство — с магометанством; как это великое событие порождает рыцарство, обнявшее всю Европу; как возникли орденовые общества, осудившие себя на безбрачную, одинокую жизнь, чтобы быть верными одной цели, и произошел самый сильнорелигиозный христианский век; как энтузиазм к вере перешел потом границы, начертанные десницею божественного Спасителя; и как в то же время невидимо от всей Европы совершается великий эпизод всемирной истории: создается беспримерная по величине монархия Чингис-ханова, поглотившая все азиатские земли, неизвестные европейцам. В Европе одни только монастыри имеют землю и оседлость; все обратилось в рыцарство, все кочует, все беспокойно: каждый вместе и воин и полководец, и вассал и повелитель, и слушается и не слушается,— век величайшего разъединения и вместе единства! Каждый управляется

своей волей, и между тем все согласны в одной цели и мыслях. Бедные поселяне, вытерпев чашу бед, наконец решаются соединиться независимо от своих повелителей в города. Возникает среднее сословие граждан, города начинают богатеть, и на севере Европы, в отпор рыцарям, образуется Ганзейский союз, связывающий всю северную Европу своей торговлей. Между тем на юге возникает порождение крестовых походов — страшная торговля Венеция, эта царица морей, эта чудная республика, с таким замысловатым и необыкновенно устроенным правлением. Все богатства Европы и Азии невидимо перешли в ее руки, и как папа религиозную властью, так Венеция непомерным богатством повелевала Европою. Духовный деспот употреблял все силы убить ее торговлю, но все было напрасно — пока наконец генуэзский гражданин не убил ее открытием Нового Света. Наконец, я должен представить, как вдруг расширился круг действий; как пала торговля Средиземного моря. Европейцы с жадностью спешат в Америку и вывозят кучи золота; Атлантический и Восточный океаны в их власти; и в то же время папские миссии проникают в северо-восточную Азию и Африку — и мир открывается почти вдруг во всей своей обширности. Между тем в Европе понемногу сомневаются в справедливости папской власти, и как прежде торговлю Венеции убил бедный генуэзец, так власть папы сокрушил августинский монах Лютер. Как образовалась эта мысль в голове смиренного монаха, как сильно и упрямо защищал он свои положения! Как, при падении своем, папа становился грознее и изобретательнее: ввел ужасную инквизицию и страшный невидимую силою орден иезуитский, который вдруг рассыпался по всему свету, проник во все, прошел везде и тайно сообщался между собою на двух разных концах мира. Но чем грознее становился папа, тем сильнее против него работали типографские станки. Вся Европа разделилась на две партии, и эти партии, наконец, схватились за оружие, и война жестокая внутри и вне государств, долгая, обхватила вдруг всю Европу. Но уже не копьями и не стрелами производилась она. Нет! пушками, ядрами, громом и огнем, ужасным и благодетельным изобретением монаха-алхимиста разыгралась эта великая тяжба. Духовная власть пала. Государи становятся сильнее. Я должен изобразить, как изменилась Европа после этих войн. Государства, народы сливаются плотнее в нераздельные массы. Нет того разъединения власти, как в средние века. Она сосредоточивается более в одном лице. И как оттого сильные характеры становятся виднее, круг государей, министров, полководцев обширнее! Сам собою, невольно завязывается в Европе политический союз, полагающий защищать оружием неприкосновенность каждого государства. А между тем неутомимые купцы-голландцы, вырвавшие СБЮЮ землю у моря, овладевают островами Восточного океана, берут миллионы за разводимые на них плантации драгоценных растений юга и как прежде Венеция, схватывают торговлю всего мира,

пока один необыкновенный государь не подрывает ее и не покушается на неприкосновенность государств. Я должен изобразить блестящий век, произведенный этим государем (Лудовиком XIV), когда Франция закипела изделиями роскоши, фабриками, писателями, когда Париж сделался зсемирною столицею, куда съезжались со всей Европы, и французский язык, французские нравы, французский этикет и обычаи распространились по всей Европе. Но, нарушивши неприкосновенность чужих владений, этот честолюбивый король хотя и расстроивает торговлю голландцев, но вместе разоряет свое государство и сам убивает свое величие. Как быстро пользуются этим островитяне британские, которые до того медленно, но верно близились к своей цели, наконец очутились почти вдруг обладателями торговли всего мира: ворочают миллионами в Индии, собирают дань с Америки, и где только море, там британский флаг. Им преграждает путь исполин XIX века, Наполеон, и уже действует другим орудием: совершенно военным деспотизмом; своими быстрыми движениями оглушает Европу и налагает на нее железное свое протекторство. Напрасно гремит против него в английском парламенте Питт и составляет страшные союзы. Ничто не имеет духа ему противиться, пока он сам не набегает на гибель свою, вторгнувшись в Россию, где неведомые ему пространства, лютость климата и войска, образованные суворовскою тактикою, погубляют его. И Россия, сокрушившая этого исполина о неприступные твердыни свои, останавливается в грозном величии на своем огромном северо-востоке. Освобожденные государства получают прежний вид и прежние формы, утверждают снова союз и неприкосновенность владений. Просвещение, не останавливаемое ничем, начинает разливаться даже между низшим классом народа; паровые машины доводят мануфактурность до изумительного совершенства; будто невидимые духи помогают во всем человеку и делают силу его еще ужаснее и благодетельнее; и он, в священном трепете, видит, как слово из Назарета обтекло наконец весь мир.

Когда история мира будет удержана в таком кратком, но полном эскизе и происшествия будут так связаны между собою, тогда ничто не улетит из головы слушателей и в уме их невольно составитя целое. Наконец, этот эскиз, разившись в великом объеме, составит полную историю человечества.

VII

После изложения полной истории человечества я должен разобрать отдельно историю всех государств и народов, составляющих великий механизм всеобщей истории. Натурально, та же полнота, та же целость должна быть видна и здесь в обозрении каждого порознь. Я должен обнять

его вдруг с начала до конца: как оно основалось, когда было в силе и блеске, когда и отчего пало (если только пало) и каким образом достигло того вида, в каком находится ныне; если же народ стерся с лица земли, то каким образом на место его образовался новый и что принял от прежнего.

VIII

Чтоб еще глубже все сказанное вошло в память, по окончании курса необходимы повторительные обзоры. Но чтобы повторение было успешнее, нужно стараться дать ему интерес и занимательность новизны. После истории всего мира и отдельно каждой земли и народа не мешает сделать обзор каждой части света и тут показать все отличие как их, так и народов, в них находящихся, чтоб слушатели сами могли вывести результат:

Во-первых, об Азии, этой обширной колыбели младенствующего человечества — земле великих переворотов, где вдруг возрастают в страшном величии народы и вдруг стираются другими; где столько наций невозвратно пронесли одна за другою, а между тем формы правления, дух народов одни и те же: все так же важен, так же горд азиатец, так же быстро воспламеняется и кипит страстями, так же скоро предается лени и бездейственной роскоши. И вместе с сим эта часть света есть земля разительных противоположностей и какого-то великого беспорядка: еще один народ кочует беззаботно в необозримом многолюдстве с необозримыми табунами, а между тем на другом конце, где-нибудь в пустыне, иступленный изувер, изнуряя себя бесконечным постом, замышляет новую религию, которая впоследствии обхватит всю Азию, оденет народ, как непроницаемой броней, своим иступленным вдохновением и поведет его на разрушение; и тут же, может быть, недалеко от него находится народ, уже перешедший все эти явления и кризисы, уже погруженный в роскошь, утомленный азиатским пресыщением. Только здесь может находиться та странная противоположность, которой дивимся в дереве юга, где на одной ветке, в одно время, один плод цветет, между тем как другой наливается, третий зреет, четвертый переспелый валится на землю.

Потом о Европе, история которой означена совершенно противоположною характерностью, где существование народов, напротив, долго и мощно; где все, напротив, порядок и стройность: народы разом поднимаются такт в такт, как регулярные европейские войска; государства все почти в одно время растут и совершенствуются; при всех характерных отличиях наций, в них видно общее единство, и каждая из них так чудно запутана с другими, что становится совершенно понятною только в

соединении со всей Европою, и вся Европа кажется одним государством. И в этой небольшой части света решилась долгая тяжба: человек стал выше природы, а природа обратилась в искусство; самая бедность и скупость ее вызвали наружу весь безграничный мир, скрывавшийся в человеке, дали ему почувствовать, во сколько он выше земного, и превратили всю страну в вечную жизнь ума. В этой одной только части света могущественно развился высокий гений христианства, и необъятная мысль, осененная небесным знаменем креста, витает над нею, как над отчизною.

Потом об Африке, представляющей, в противоположность Европе, смерть ума, где природа всегда деспотически властвовала над человеком; где она во всем своем царственном величии и всегда почти возвращала его в первобытное состояние, в жизнь чувственную; где ни один коренной туземный народ не прожил мощною жизнью и не отбросил от себя ярких лучей на мир; где даже переселенцы с других земель напрасно вступали в борьбу с палящею природою африканскою; чем далее погружались они в Африку, тем глубже повергались в чувственность.

Наконец, об Америке, этой всемирной колонии, вавилонском смещении наций, где столкнулись три противуречащие части света, смешались, но еще не слились в одно, и потому еще не имеющей покамест никакого единства, даже единства религии; невзирая на частную характерность, не получившей общего характера; несмотря на огромную массу, все еще состоящей из первоначальных стихий, разложенных начал; несмотря на независимые государства, все еще похожей на колонию.

Быстрый обзор истории каждой части света, во всей ее резкой характерности, не поверхностный, но глубокий — результат веков и событий, потому необходим, что он наводит на мысли и заставляет слушателей думать. Ум тогда быстрее развивается, когда сам предлагает себе великий и поэтический вопрос. Этот обзор каждой части тем более еще необходим, что показывает часто с новой стороны те же предметы. А для полного уразумения нужно, чтобы предмет был освещен со всех сторон. «Только тогда вы знаете хорошо историю,— говорит Шлецер,— когда знаете ее и вдоль, и поперек, и вкось, и во всех направлениях».

IX

И для того в виде эпилога после окончания курса хорошо рассмотреть за одним разом весь мир по столетиям. Тогда всеобщая история представит у меня великую лестницу веков. Я должен непременно показать, чем ознаменовано начало, середина и конец каждого столетия, потом дух и отличительные черты его. Чтобы лучше определить каждый век и избежать монотонности числ, я назову его именем того народа или лица, который стал в нем выше других и ярче действовал на поприще мира.

Эта лестница столетий есть лучшее средство к утверждению в памяти слушателей современности событий, лиц и явлений.

X

Мне кажется, что такой образ преподавания будет действительно и ближе к истине. По крайней мере, глубоко понимающий величие истории увидит, что он не произведение мгновенной фантазии, но плод долгих соображений и опыта; что ни один эпитет, ни одно слово не брошено здесь для красоты и мишурного блеска, но их породило долговременное чтение летописей мира; что составить эскиз общий, полный истории всего человечества, хотя даже столь краткий, как здесь, можно не иначе, как когда узнаешь и постигнешь самые тонкие и запутанные нити истории, и что одна любовь к науке, составляющей для меня наслаждение, понудила меня объявить мои мысли; что цель моя — образовать сердца юных слушателей той основательной опытностью, которую разворачивает история, понимаемая в ее истинном величии; сделать их твердыми, мужественными в своих правилах, чтобы никакой легкомысленный фанатик и никакое минутное волнение не могло поколебать их; сделать их кроткими, покорными, благородными, необходимыми и нужными сподвижниками великого государя, чтобы ни в счастье, ни в несчастье не изменили они своему долгу, своей вере, своей благородной чести и своей клятве — быть верными отечеству и государю.

1832

БЫТЬ И КАЗАТЬСЯ

Ученики Второй одесской гимназии обратились ко мне с просьбой о дозволении им играть на публичном театре, по примеру студентов лицея, играть с целью помочь некоторым из своих товарищей. Узнав, что и прежде ученикам гимназий, воспитывавшимся в сиротском доме, позволялось действовать на сцене, я также позволил.

Но совесть моя этим не успокоилась.

У меня родился нравственно-педагогический вопрос: можно ли позволять молодым людям, чтобы они прямо со школьной скамьи выступали на сцену и представлялись действующими лицами пред публикой?

Известно, что везде, где вместе с гимназией существует высшее учебное заведение — университет или лицей, гимназисты стараются во всем подражать студентам. Известно также, что такое подражание обыкновенно не ведет к добру. Но я смотрю на заданный себе вопрос с другой, более общей, стороны. Спрашивается: вообще дозволяет ли здравая нравственная педагогика выставлять детей и юношей пред публикой в более или менее искаженном и, следовательно, не в настоящем их виде? Оправдывает ли цель в этом случае средство?

Не обязаны ли истинные нравоучители смотреть на духовную сторону юноши и дитяти как на святой храм, о котором сказано: «Храм мой, храм молитвы наречется». Не обязан ли нравоучитель изгонять из него все продающееся и покупающееся? Совместима ли с этим взглядом на духовную сторону юности выставка, возбуждающая суетность и тщеславие? Родитель или наставник, дозволяя себе выставлять юношество в искаженном виде на публичное созерцание, не вносит ли в восприимчивую душу начало лжи и притворства? Разве разыграть хорошо роль, принять кстати подготовленную позу, суметь сделать удачный жест и живо выразить миной поддельное чувство, разве — говорю — все это не есть школа лжи и притворства? А шумные похвалы, воздаваемые именно тому притворству, которое сделалось натуральным, разве не пробуждают желания усовершенствоваться, и в какой душе? — еще не коротко знакомой с наукой *быть и казаться*.

Но цель? Да, на свете существует одна школа, которая целью освещает средства. И все мы — что греха таить, — употребляя название этой школы, как эпитет коварства и лжи, подчас позволяем себе пользоваться упругостью ее догм. Но, согласитесь, нельзя же, не отказав себе в последовательности, защищать открыто ее учение, утверждая, что благая цель оправдывает выбор средства, нравственно ненадежного.

Если бы еще это средство было только не прилично важности и святости задуманной цели, но само по себе невинно, то почему бы не так?

Света мы, конечно, не исправим; он останется, несмотря на все возгласы моралистов, таким, каким он был и есть. Так почему же в практической жизни, известной своей непоследовательностью, не воспользоваться человеческими слабостями к достижению общей благой цели, если эти слабости невинны и не предосудительны? Но другое дело, если мы вздумаем для этой цели развивать в молодой душе такие склонности, которых последствий нельзя ни предвидеть, ни исчислить. Тут уже, мне кажется, цель никак не может оправдать средства.

Детские балы, детские театры и всевозможные зрелища, в которых дети являются действующими лицами, слава богу, изобретение не наше, а чужое, и потому извинительно и не зная, кем впервые и почему они введены были в моду. Но, судя по вероятностям, такая мысль могла прийти в голову или родителям, желавшим похвастаться милым искусством детей под предлогом доставить им удовольствие, или же наставнику, желавшему, без сомнения, с какой-нибудь педагогической целью возбудить соревнование в своих учениках.

Я думаю, что родители были легкомысленны, а наставник близорук. Уже не один раз, и прежде, и после, родители под благовидным предлогом утешить детей утешали свою суетность. Не раз педагоги ошибались в выборе средств, ослепленные случайной удачей или стараясь приноровиться к вкусу общества. Признаюсь, я сам еще недавно позволил детям в лицейском пансионе разыграть одну маленькую пьесу; но театр был чисто домашний, зрителями были товарищи и наставники; я видел в игре только средство для изучения языка.

Я заметил и тут, однако же, что, несмотря на всю безыскусственность и простоту обстановки, в некоторых из актеров обнаруживался такой прием суетности, который еще более увеличивать было бы опасно. Потому и дома, и в учебных заведениях можно бы только и даже должно позволять детям от 12 до 14 лет выучивать избранные роли из различных пьес, но без всякой обстановки и только единственно с целью упражнения в языке и способе выражать отчетливо мысли. Пусть наставник объяснит этим ученикам, что именно хотел выразить автор тем или другим оборотом речи. Пусть покажет вместе, какие Приемы свойственны тому или другому характеру действующего лица, но без всякой обстановки, без огласки, без посторонних зрителей. Наставник и его ученики должны быть и публикой, и действующими лицами, школьная комната — сценой. Пусть воображение довершит и украсит все остальное. Но опаснее сцена для мальчиков в 15 лет и более. В этом возрасте, особенно на юге, дети во что бы то ни стало не хотят уже быть детьми. Воображение в эти лета уже начинает терять свою калейдоскопическую подвижность. Оно уже не с прежней быстротой превращает один предмет в другой и не так легко заменяет призраком действительное. Несмотря на то,

юноша все-таки еще не ясно различает два свойства своего я: *быть* и *казаться*.

Должны ли же мы преждевременно давать повод юной душе обнаружить ее двойственность? Пусть *быть* и *казаться* останется покуда в жизни юноши одним и тем же. Скоро, слишком скоро и без всяких побуждений проявляется в его действиях то, о чем апостол Павел сказал: «Еже бо содеваю, не разумею: *не еже бо хоцу сие творю: но еже ненавижду. то соделываю*» (к Римл. VII, 15).

И не выходя на театральную сцену — и без того, на одной сцене жизни — он скоро научится лучше *казаться*, чем *быть*.

Подождите, дайте время развиться духовному анализу. Дайте время начать борьбу с самим собой и в ней окрепнуть. Тогда, кто почувствует в себе призвание, пожалуй, пусть будет и актером: он все-таки не перестанет быть человеком. И если и Тальма, и Каратыгин были только *кажущимися* героями, то по крайней мере ваш сын или ученик не будет одним только *кажущимся* актером.

Но не лучше выставок детей на паркете и театральной сцене и публичные выставки на *сцене школьной*. Это тоже театр в своем роде. Да еще на театре выставляется по крайней мере то, что должно быть выставлено: искусство притворяться и великий дар заставлять себя чувствовать по собственной воле. А на публичных экзаменах выставляется напоказ *знание*, которого истина и значение ничем столько не оцениются, как скромностью.

Все эти искусственные и натянутые попытки так называемого развития ума и сердца развивают только преждевременно двойственность души человека, еще не окрепшего в борьбе с самим собой. Они довершают только то, что и без них начинают слишком рано общество, школа и — увы! — сам родительский дом.

Пусть каждый из нас припомнит, когда он начал *казаться* не тем, что он *есть*. И верно, отвечая на этот вопрос, немногие из нас похвалятся своей памятью. А когда мы вступили в борьбу с самими собой, полагая, что мы все уже вступили, то мы, наверное, *казались* давно не тем, чем мы *были*. Неужели же мы захотим то же самое передать в наследство нашим детям? Неужели все попытки нравственной педагогики, все успехи, все стремление человека к совершенству — одна только пустая игра слов, один обольстительный вымысел?

Нет! Мы не имеем права не верить в истину. Если бы мы принялись общими силами, мы бы много такого исправили в наших детях, чего не успели или не умели исправить наши отцы в нас. Правда, мы можем дать только то, что мы сами имеем. Но кто хочет идти вперед, не по одним только грязным и пыльным улицам, тот найдет в душе довольно силы и вести борьбу с собой, и следить за первыми обнаружениями душевной двойственности у своих детей.

Первое ее проявление есть *притворство* и *ложь*. Трудно определить время жизни, в которое они впервые обнаруживаются у ребенка. Я знал шестилетнюю девочку, которая была уже такая виртуозка лжи, что трудно было различать длинные рассказы ее собственного изобретения от правды, так все в них было связно и отчетливо. Знал я еще и одного мальчика четырех лет, который на вопрос, видал ли он колибри, не желая из хвастовства сказать просто: *не знаю*, описал как нельзя подробнее виденную им колибри, которая, однако же, оказалась просто вороной; а когда ему заметили, что колибри водятся не в тех местах, где он жил, а в Китае, то он, нисколько не конфузясь, уверял, что большую черную птицу прислал в подарок его маменьке китайский император.

Про девочку я после ничего не слышал, но про мальчика знаю наверное: он теперь перестал так безбожно хвастать.

Из этих и из множества других фактов нельзя ли заключить, что уже с первым лепетом ребенка начинает обнаруживаться и двойственность нашей духовной стороны? И да, и нет. Я не сомневаюсь, что у ребенка есть свой мир, отличный от нашего. Воображение создало этот мир ребенку, и он в нем живет и действует по-своему. Взрослый, действующий как ребенок, есть в наших глазах или лгун, или сумасшедший. И если дитя нам не кажется ни тем, ни другим, то именно потому, что оно — дитя. Итак, если мы, достигши известного возраста, не перестаем жить в мире, созданном нашим детским воображением, мы делаемся непременно или лжецами, или взрослыми детьми, т. е. чудаками, помешанными, или назовите как угодно, только не обыкновенными людьми.

Мы привыкли называть сумасшедшим того только, в действиях которого мы замечаем явную несообразность и непоследовательность. Но эта кажущаяся несообразность слов с действиями и одного поступка с другим иногда только служит признаком помешательства, а иногда и нет. Кто сомневается еще в этой неопределенности и сбивчивости наших понятий, пусть спросит у судебных врачей, всегда ли и во всяком ли данном случае им бывает легко решить вопрос о сумасшествии.

Нелегко решить также об ином: заблуждается ли он, или лжет. Известно, что привыкший лгать наконец это делает вовсе несознательно.

Но если у взрослого в практической жизни так трудно бывает провести точные границы между здравомыслием и помешательством, между убеждением и ложью, то еще осторожнее мы должны оценивать поступки ребенка.

У ребенка кажущаяся нам непоследовательность поступков и мыслей, сознательная ложь и бессознательная так незаметно переходят одна в другую, что почти каждого из детей можно назвать глупым и лгуном, применяя к нему слова и понятия, взятые из жизни взрослых. Но в этом-то и заключается именно ошибка и родителей, и наставников, что они, не в пору устарев, забыли про тот мир, в котором сами некогда жили. И в

лжи, и в несообразностях действий ребенок еще не перестает *казаться* именно тем, что он *есть*, потому что он живет в собственном своем мире-, созданном его духом, и действует, следуя законам этого мира. Чтобы судить о ребенке справедливо и верно, нам нужно не переносить его из его сферы в нашу, а самим переселиться в его духовный мир. Тогда, но только тогда, мы и поймем глубокий смысл слов спасителя: «Аминь глаголю вам, аще не обратитесь и будете яко дети, не внидете в царство небесное».

Если бы все человеческое общество состояло из одних детей, то двойственность души в ребенке никогда бы не обнаружилась и он всегда бы казался тем, что он *есть*. Он всю окружающую природу переносил бы в свой духовный мир и действовал бы в нем, верно, последовательнее нас.

Но мы, мы — взрослые — нарушаем беспрестанно гармонию детского мира. Мы, насильственно врываясь в него, переносим ребенка, на каждом шагу, к себе, в наш свет. Мы спешим ему внушить *наши* взгляды, *наши* понятия, *наши* сведения, приобретенные вековыми усилиями уже зрелого человека. Мы от души восхищаемся нашими успехами, полагая, что ребенок нас понимает, и сами не хотим понять, что он понимает нас *по-своему*.

Мы не хотим «ни умалиться», «ни обратиться и быть как дети» и между тем быть их наставниками и даже считаем себя вправе пользоваться званием наставника, не исполнив этого первого и самого главного условия.

Кто же теперь виноват, что мы так рано замечаем у наших детей несомненные признаки двойственности души? Не мы ли сами немилосердно двоим ее?

Действительно, наши усилия венчаются успехом. Но каким? Исторгая беспрестанно ребенка из его собственного духовного бытия, перенося его все чаще в нашу сферу, заставляя его и смотреть и понимать *по-нашему*, мы, наконец, достигаем одного: он начинает нам *казаться* не тем, что он *есть*. И вот венец нашей педагогики, вот поп *plus ultra* всех наших трудов и усилий.

Чего не придумано у нас к достижению этого результата? И детские балы, и театры, и живые картины, и костюмы, и даже школьная обстановка. А чтобы лучше убедиться, действительно ли ребенок нам кажется не таким, как он есть, мы изобрели и срочные испытания. Мало этого: нашлись такие педагоги, которые придумали из самих детей сделать орудие наблюдения за детьми же, чтобы и те и другие как можно лучше двоили свой духовный быт и как можно точнее разделяли бы *быть и казаться*. Известно, каких блестящих результатов на этой почве достигли отцы-иезуиты. Если мы, при нашей общественной методе воспитания, много способствуем,— хотя бессознательно и действуя по крайнему разумению,— развитию в ребенке *лжи* и *притворства*, то иезуиты, не довольствуясь этим, уже сознательно доводят двойственность до степени *клеветы*.

Твердо верящему в стремление человечества вперед, к усовершенствованию кажется уже неприличным утверждать, что и дети, и вообще люди в старину, т. е. когда-то, были лучше. Но тем не менее в этой известной поговорке стариков и недовольных есть доля и правды.

Во-первых, для всякого старика это действительно *относительная* истина. Он, принимая менее участия в действиях переходного состояния от старого к новому, видит яснее худое, всегда сопровождающее каждый переход, чего современное ему свежее поколение не примечает, будучи само проводником нового. Во-вторых, есть и действительно такие периоды для человечества, в которых старое еще недостаточно состарилось, а новое, втекая целым потоком, еще не успело ни созреть, ни амальгамироваться со старым.

Эти периоды также вредны для нравственности, как у нас на севере ранние оттепели для посева: семена уносятся тающим снегом. И это уже не одна только *относительная истина* для стариков.

Чуть ли мы сами не живем в одном из таких периодов.

Если так, то немудрено, что в то время, когда старое было еще во всей своей силе, т. е. еще не было старым, и воспитание совершалось с большей последовательностью, и именно потому, что было более односторонним. Правда, и прежде, точно так же как теперь, и даже больше, взрослые мерили детей по своей мерке, особенный детский мир и прежде для взрослых так же мало существовал, как и теперь. Но средства, которые они употребляли для сообщения детям своих понятий и взглядов, были грубее и именно потому лучше наших. Наши отцы и праотцы, следуя буквально правилу царя Соломона: «Кто щадит *жезл* свой, ненавидит сына своего: любящий же наказует прилежно», переносили ребенка насильно из его внутреннего мира в свой собственный, но зато скорее и отпускали назад.

Если уже нужно выбирать одно из двух, то, без сомнения, лучше вторгаться в духовно-детский мир с *жезлом* в руке, чем с театральной афишей и бальным костюмом. Яд и позолоченная отравка опаснее палки и синяков.

Воображение ребенка и развивается, и действует по мере развития внешних чувств и понятия. У него мысль никогда не опережает воображения. Окружающая природа, для него еще новая, доставляет ему столько пищи, что оно постоянно в работе. Это калейдоскоп в беспрестанном вращении, через который дитя смотрит на все окружающее. Берегитесь нарушать эту фантастическую игру вашими действиями. Вашей искусственной обстановкой, как бы она ни была обворожительна, вам все-таки не удастся заменить те чудные образы, которые творит детская фантазия. Вы только понапрасну развлечете ее деятельность и рано пробудите чувство недовольства. Ребенок, недовольный *своим*, будет сам

проситься в *ваш* мир и *выкажется* уже в нем не тем, чем он *был* в своей сфере. Двойственность и пресыщение должны необходимо следовать.

Итак, немудрено, если в старину, при менее искусственной обстановке воспитания, яснее обозначались высокие и выдержанные характеры. Кто выходил невредим из *школы жезла*, тот выносил дух, так же хорошо закаленный, как закалено тело диких и номадов, купающих новорожденных детей в студеной воде.

Но наша современная обстановка воспитания еще слишком нова, чтобы точно обсудить ее результаты. Только над одним иезуитским способом воспитания, который также не вовсе потерял современность, суд истории уже произнесен. Везде, где он господствовал, и теперь еще господствует двойственность души. Насильственно разделенное иезуитством *быть* и *казаться* породило и притворство, и коварство, и клевету с ябедой и доносом.

Если все, что я сказал, заключает в себе хотя тень истины, то скажите мне: не лучше ли — пред богом и человечеством — заменить все искусственные попытки нашего собственного воображения воспитанием, основанным на законах девственно-фантастического мира дитяти?

В наше время, когда глубокие умы посвятили себя изучению духовной стороны даже умалишенных; когда начинает обнаруживаться, что и эти отверженцы нашего общества имеют свою собственную логику, свою последовательность в действиях, когда наука, проникнув в их особый мир, ищет в нем связей с нашим, должны ли мы — говорю — именно теперь оставаться хладнокровными к духовному миру наших детей и не изучать его во всех возможных направлениях?

Скажите, что может быть поучительнее, что выше, что святее духовного сближения с этим божьим, чудным детским миром? Кому не занимательно следить за всеми его обнаруживаниями, за всеми проявлениями во времени и в пространстве? Кому не весело самому помолодеть душою? О! если бы все родители и педагоги по призванию вошли в этот таинственно-священный храм еще девственной души человека! Сколько нового и не разгаданного еще узнали бы они! Как обновились бы, как поумнели бы сами! Один взгляд, брошенный в него бедным швейцарцем, сердечно любившим детей, произвел на свет целую систему учения, которого плодами мы теперь только что начинаем пользоваться.

К вам, матери семейств, относится преимущественно мой совет! Вместо того чтобы посылать ваших детей на театральную и балльную сцену, ступайте сами за кулисы детской жизни! Наблюдайте отсюда за их первым лепетом и первыми движениями души; наблюдайте их здесь и тогда, когда они возвратятся к вам, утомленные играми и всегда готовые снова начать их.

Я бы дал и еще совет, но не знаю, как вы примете и этот. Подчиняясь одним влечениям души к добру и правде, вы, может быть, и без меня придумали что-нибудь лучше. Я сам обращаюсь теперь за советом, всегда уважая его, если он дан от души, если в нем проглядывают смысл и любовь к истине и добру. Скажите мне, отцы и педагоги, все ли вы принимаете со мной этот детский мир с его особенными законами? Если — да, то скажите мне откровенно: как вы в него вступаете? И потом посоветуйте мне, должен ли я и впредь позволять детям и юношам играть на публичной сцене? Пусть будет ваш совет, пожалуй, и чисто теоретический, все равно, я приму его с благодарностью.

Рецензии

Новая библиотека для воспитания, издаваемая Петром Редкиным. Москва, 1847. Две книжки.

Сын рыбака, Михаил Васильевич Ломоносов.

Повесть для детей. Сочинения П. Фурмана. Издание второе. СПб., 1847.

Альманах для детей, составленный П. Фурманом. СПб., 1847.

Что читать детям? Нашим детям вовсе нечего читать! — Вот вопросы и восклицания, которые беспрестанно раздаются со всех сторон. А между тем, сколько ежегодно издается у нас книг и книжек для детей, издавались и даже теперь издается детский журнал. Конечно, наши детские книги большею частию очень плохи и принадлежат совсем не к литературе, а к промышленности, составляют часть товара, который должен наполнять лавки с детскими игрушками; но все же между нашими книгами и изданиями для детей есть и порядочные; по крайней мере такие, которые только со стороны языка и слога уступают французским сочинениям этого рода, а по содержанию и направлению столько походят на них, сколько следует переводам и переделкам походить на свои оригиналы... Но загляните в эти лучшие книги — и вы невольно скажете: «Бедные дети, вам действительно нечего читать! И уж лучше вам вовсе ничего не читать, нежели читать эти вздоры и пошлости!..»

Скажем яснее нашу мысль: за исключениями, слишком немногими и редкими, мы считаем вздорными и вредными не только наши русские книги для детей, но и их иностранные образцы, разгуливающие по всему свету под эгидою громких имен их знаменитых авторов...

Если бы это было не так, то откуда же возник бы вопрос: нужны ли, полезны ли детские книги вообще? А этот вопрос со дня на день повторяется чаще и решается различно. Одни утверждают, что для чтения детям необходимы книги, приравливаемые к их понятию; другие доказывают, что дети должны читать те же самые книги, какие читают и взрослые, только более с строгим выбором.

Не беремся решить этот вопрос, но попытаемся изложить наше о нем мнение.

Решение подобных вопросов и легко, и трудно. Все дети имеют общие родовые их возрасту свойства и качества, и потому ничего нет легче, как, составивши себе отвлеченное понятие о детях, решить все касающиеся до них вопросы. Но вот в чем трудность: у каждого ребенка своя натура, свои интеллектуальные средства, нравственные наклонности, характер; дети бывают различных возрастов, потребности семилетнего дитяти уже не те, что у ребенка 3 лет, а потребности двенадцатилетнего дитяти далеко не те, как у семилетнего, и т. д. Притом, где границы детского возраста?

Неужели человек в 14 лет — уже юноша? И время от 14 до 16 лет не составляет ли перехода от детства к юношеству? Кроме того, не случается ли, что один и в 18 лет смотрит ребенком, а другой в 14 обнаруживает интеллектуальную зрелость юноши? При этом какую важную роль играет различие полов! Что идет мальчикам, то не годится для девочек, и наоборот.

С каких лет должно начинать учить ребенка чтению и письму? — Опять вопрос относительный, которого нельзя решить для всех детей, но который должен решаться особо для каждого ребенка. Обыкновенно общим средним термином для начала учения полагают семилетний возраст. Мы думаем, что и при самых острых и резко выказывающихся способностях ребенка нет никакой нужды торопиться начинать учение раньше 7 лет. До этого же возраста должно обращать все внимание преимущественно на физическое и нравственное воспитание. Первое должно быть положительным и состоять в развитии здоровья, телесной крепости, гибкости и ловкости. Это дело гимнастики и правильного образа жизни. Пусть дети играют, шумят, резвятся, лишь бы во всем этом не было ничего грубого, пошлого, неприличного и лишь бы они вовремя и в меру ели, вовремя ложились спать и в меру спали. Нравственное воспитание детей даже и дальше семилетнего возраста должно быть отрицательное, т. е. состоять в удалении от них всяких дурных примеров и в развитии в них чувств любви, справедливости и человечности, не правилами морали, а, так сказать, влиянием привычки, так, чтобы они не знали, какие это чувства и как они в них развиваются. Все это зависит от людей, которыми окружены бывают дети ежедневно. Но моральные правила, сентенции, поучения способны только наводить на детей скуку и возбуждать в них отвращение или образовывать из них педантов, резонеров, лицемеров. Чем моложе ребенок, тем непосредственнее должно быть его нравственное воспитание, т. е. тем более должно его не учить, а приучать к хорошим чувствам, наклонностям и манерам, основывая все преимущественно на привычке, а не на преждевременном и, следовательно, неестественном развитии понятий. Приобретенное дитятею таким непосредственным образом, так сказать, привычкою послужит самым прочным основанием для сознательного развития всех человеческих чувств, когда настанет время деятельности его ума и рассудка. Что касается до учения, то дитя учится и до азбуки: дети любопытны обо всем спрашивают старших: что это и что то. Должно отвечать им кратко, терпеливо, серьезно, не шутя и не обманывая их, объяснять им сообразно с степенью их понимания и искусно уклоняться от их вопросов, когда они касаются таких предметов, о которых им знать не следует, или таких, которые выше их понятия. Кроме того, в этот возраст можно и должно тем, у кого есть средства, учить детей живым иностранным языкам, но только говорить, и собственно не учить, а приучать, опять основываясь только на силе привычки.

Но вот ребенку семь лет, вот он уже довольно бегло читает. Что же читать ему? И заботливые родители ищут по книжным лавкам приличной пищи для читательского голода их детей. Да, помилуйте, мало ли у них чтения и без этих книг? Ведь азбука не конец, а только начало учения. Дитя, которое до семи лет успело выучиться лепетать на двух или трех иностранных языках, кроме русской азбуки должно заняться еще тремя азбуками. Кроме того, за азбукой следует грамматика, арифметика, география и т. д. Все это возьмет много времени у ребенка и охладит его излишнее порывание к книгам, потому что охота попрыгать, пошуметь, побегать, поиграть и даже пошалить у иного не проходит даже и в 15 лет. Но, скажут нам, и за уроками, и за играми все-таки остается праздное время, особенно зимою, которого нечем наполнить. Это может быть. Но какие же давать тут детям книги? Главный недостаток этих книг тот, что они или выше, или ниже понятий детей. В первом случае они делают из детей скороспелых умников, педантов, резонеров; во втором — делают их слабоумными, приучая к неестественной их возрасту наивности. Большая часть детских книг вмещают в себя вдруг оба эти недостатка. Вот почему они даже не бесполезны только, а положительно вредны. В этих рассказах для детей все — ложь, фраза, реторика; жизнь отражается в них, как предметы в кривом да еще запачканном спереди и потертом сзади зеркале. И потому лучшими книгами для чтения детей первого возраста могли бы быть такие книги, которые бы весело знакомили их с землею, с природою и отчасти с историей. Книги эти непременно должны быть с картинками, ибо наглядность должна быть основанием детского развития. Если бы нашлась книжка с картинками, изображающими горы, моря, острова, полуострова, минералы, разные чудеса физической природы, потом явления растительного и наконец животного царства, и при этих картинках был бы объяснительный текст, простой, толковый, без фраз и восклицаний о том, как прекрасна природа и т. п.; если бы все эти предметы были изложены не только в порядке, но и в ученой системе, а в тексте ни слова не упоминалось ни о каких системах: такую книжку всякий отец должен бы поспешить купить для своих детей в полной уверенности, что это бесценный по своей полезности гостинец для них. Где кончается царство животных, там начинается царство человека. Для легкого и приятного знакомства детей с этим царством очень полезны путешествия или просто описания земель и народов всего земного шара. Картинки тут опять должны играть главную роль. Текст должен быть такой, как будто он писан для взрослых людей, только из него должно быть исключено все, что выше понятия детей, что не может быть им интересно, чего не следует им знать. Что касается до истории, она должна состоять из биографий исторических лиц, анекдотов из их жизни, отдельных исторических событий, имеющих нравственное значение. Нравственность тут должна быть главным предметом, но о ней отнюдь не должно упоминать, отнюдь никаких

наставлений и поучений: она должна быть не в словах, а в деле и переходить в детей не как понятие, а как чувство. Разумеется, такого рода книги должны быть приурочены к детскому возрасту. Дети очень любят биографии полководцев, но для них нет никакого интереса в биографиях ученых, художников, философов, администраторов и т. д. Впрочем, все зависит от намерения, цели и умения автора книги. Биография Платона во всяком случае бесполезна и скучна для детей, потому что от превыспренных идей этого, конечно, гениального мыслителя, но вместе с тем и мечтателя и фантаста и у взрослых людей иногда ум за разум заходит. Но биография Сократа — другое дело. Это был не столько философ, сколько мудрец; учение его было живое, практическое, удобоприложимое к жизни; самая манера его спорить и доказывать может быть и полезна и интересна для детей, если изложить ее ясной искусно: в ней так много драматического элемента. Но что за польза детям знать биографию Гомера прежде, нежели прочтут они «Илиаду» и «Одиссею» и им что-нибудь понравится в этих поэмах? После — это другое дело.

Дети ужасно впечатлительны, так что от этой способности зависит и их спасение, и их гибель. Человек всю жизнь помнит всякий вздор, который читал он в детстве и который тогда особенно ему понравился. Из этого видно, какое великое счастье для детей, когда их мягкий и впечатлительный, как воск, свежий, не засоренный пустяками и вздорами, не усталый, не истомленный мозг обогатится только полезными и дельными впечатлениями! Это должно быть одною из главных забот воспитания, чтобы и приятное было полезно. Но несчастны те дети, которых юный мозг засорится сперва чтением детских книг и потом водевилями, вздорными романами и всякою подобною дрянью! Лучше бы им вовсе ничего не читать!

Из всего можно сделать злоупотребление. Охота к чтению — хорошая склонность в детях, но и она может сделаться вредною, приучив их к мечтательности и похищая время у их учения. Пусть на чтение будет у них свое время, и пусть чтение не отнимает времени не только у учения, но даже у игр и резвости. Всему должно быть свое время, и строгий порядок должен быть душою всего. Когда видишь умного и страстного к чтению ребенка или юношу, который лишен всех средств к учению и образованию, предоставлен природе и самому себе и с жадностью читает без разбора все, что ни попадется ему под руку, и хорошее и дурное, и жалеешь о нем, и радуешься за него. Все лучше и полезнее ему так читать, нежели пристраститься, от лени или от нечего делать, к картам, бильярду, к вину и другим неизящным «художествам». Но грустно видеть ребенка или молодого человека, который, имея все средства к учению, тратит большую часть своего времени на чтение литературных произведений, предается мечтательности и гонится за энциклопедическим всезнанием, которое иногда хуже положительного невежества!

От 7 до 14 лет много воды утекает, и ребенок становится уже не ребенком. Учение идет своим порядком и кроме пользы в свою очередь, *может* доставить ему и удовольствия чтения. Это в особенности переводы с иностранных языков. Корнелий Непот, Саллюстий, Плутарх: разве содержание их сочинений не так же интересно, как и содержание романа? По крайней мере, надо стараться, чтобы это было так. Всего лучше, если молодой человек прочтет на доступных ему иностранных языках все, признанное классическим, *дельным*, и пристрастится к этому роду чтения прежде, нежели познакомится с романами и вообще с легкою литературою.

Время для чтения романов молодым людям есть время их перехода от детства к юношеству, когда уже им можно читать многое, но еще не иначе, как с выбора и разрешения старших. Первый роман, который можно дать молодому человеку лет двенадцати,— «Юрий Милославский» г. Загоскина. Затем понемногу можно давать романы Вальтера Скотта и Купера. Тут все дело в том, чтобы не дать в руки молодого человека такой книги, которая может прежде времени познакомить его с такими чувствами, страстями и понятиями, которые несвойственны его возрасту. Это истинная гибель и для здоровья, и для нравственности. Вот почему мы прямо и без оговорок указали на Вальтера Скотта и Купера: в их романах изображена жизнь действительная, а не воображаемая, они изящны, художественны, а между тем в них нет ничего опасного даже для детей. Мы очень уважаем Гофмана, и если видим в нем чудака и безумца, то все же гениального, и, однако ж, считаем его для детей столько же или еще и более вредным, нежели Поль де Кока, хотя и вовсе другим образом. Для детей страшно вредно все, что развивает и возбуждает фантазию насчет других интеллектуальных способностей; фантазия у детей и без того самая деятельная способность, и потому ее следует скорее сдерживать, нежели возбуждать, или, что всего губительнее, давать ей уродливое направление ко вреду деятельности ума и в особенности рассудка и здравого смысла.

«Новая библиотека для воспитания», издаваемая г. Редкиным *, есть единственная книга, которую можно рекомендовать отцам семейств из всех книг этого рода, появившихся в последнее время. Не все статьи, составляющие ее содержание, одинакового достоинства; но между ними нет решительно дурных, и есть очень хорошие. Пересмотрим их по порядку. О «Луне», статья г. А. Драшусова *, очень дельна по содержанию. Иначе и быть не может: нельзя сказать о луне что-нибудь другое, кроме того, что можно сказать о ней, если говорить примется человек, коротко знакомый с астрономиею. Стало быть, все достоинство такой статьи должно состоять в оживленном и увлекательном изложении. К сожалению, статья г. Драшусова суха, черства и скучна, а сверх того, написана языком и стилем, нельзя сказать, чтобы изящными. «Мы покажем впоследствии, как просто и легко разрешается вопрос, с первого взгляда весьма трудный, на который, как кажется многим, отвечать совершенно невозможно,— об

определении расстояния небесных тел; но здесь необходимо предварительно объяснить, почему мы называем близким расстояние луны от земли, между тем как из достоверных измерений известно, что оно составляет около 360 000 верст,— *удаление* (разве *отдаление*, или всего лучше *расстояние*), которое каждому покажется огромным» (стр. 3). Период, нельзя сказать, чтобы короткий и складный! Но вот еще лучше. «Кроме *суточного* движения, общего солнцу и звездам, по причине которого светила в продолжение суток восходят и садятся (заходят?), или же описывают на небе полные, правильные круги, как будто бы небесный свод, со всеми рассеянными по нем звездами обращался около неподвижной оси, — луна имеет еще особенное собственное движение, в силу которого ее расстояние от звезд беспрестанно переменяется: она постоянно удаляется от светил, лежащих на западе, в той стороне, где заходит солнце, и приближается к светилам, расположенным на востоке, близ места солнечного восхода, и движется, таким образом, с правой стороны в левую» (стр. 5—6). Это семимильный период словно переведен с немецкого, ясность его — тоже немецкая. «Описанные явления суть, очевидно, затмения звезд луною, которая, будучи *тело(м)* непрозрачное (ым), скрывает их от нашего зрения, пока движется между ними и нашими глазами» (стр. 12). «Заклучение, в строгости справедливое» (стр. 62). Автор хотел сказать «*строго справедливое*»; а у него вышло как-то *справедливое* в *строгости*, т. е. строгое, но справедливое. В начале своей статьи г. Драшусов говорит, что «внимательное чтение, особенно при помощи наставника», его статьи познакомит с луною. Но если нужен наставник, то статья вовсе не нужна. В свое время молодой человек на университетских лекциях узнает все, что относится до луны, а до тех пор ему лучше учиться у своего наставника чистой математике, без которой невозможно знание астрономии. Зачем же ему терять время над статьею не литературно и не изящно написанной?.. «Прогулка по Гарцу», статья г. В. Лапшпна, не лишена интереса и написана хорошо. Но мы решительно не понимаем, зачем помещена в «Библиотеке для воспитания» сказка «Золотой жук»? *А что* ручается, что это не сказка, а анекдот, а если и анекдот, что в нем хорошего для детей? Разве то, что он разовьет в них манию к отыскиванию кладов?.. Вторая книжка «Библиотеки» начинается «Русской летописью для первоначального чтения»; это пересказ, если можно так выразиться, несторовой хроники его же складом, да только нашим языком. Вот это статья! Она равно интересна и полезна и для детей, и для взрослых, которые и не прочь бы от знания отечественной истории, но несколько не расположены изучать ее ученым образом, по источникам, которых чтение так трудно. А здесь можно получить понятие и об источниках, не трудясь, а только наслаждаясь. Статья принадлежит г. Соловьеву, который обещает для «Библиотеки» целый ряд таких статей. Мысль счастливая, особенно, когда исполняется ученым, который может

отвечать за каждое выражение, за каждое слово в своей статье, что всего важнее в статьях такого рода. Следующая статья — «Пирр» есть именно одна из тех статей, которые желательно как можно чаще встречать в этом издании. Она извлечена из «Roth's Lesebuch zur Ein leituiig in die Geschichte». «Мне хотелось быть лекарем» — повестца для детей, не лишенная интереса; в ней говорится о нравах и обычаях персиян нашего времени. «Странствования Одиссея», по нашему мнению, должны бы быть изложены иначе — просто в прозаическом переводе, пожалуй, с выпусками, сокращениями и изменениями, но в переводе; в пересказе же эта поэма лишилась всей своей поэтической прелести и стала похожа на нелепую сказку.

Мы не скажем, чтобы «Новая библиотека для воспитания», издаваемая г. Редкиным, вполне удовлетворяла всем требованиям и не могла бы быть лучше, даже гораздо лучше; но мы по совести можем сказать, что и сама по себе это — дельная и полезная для детей книга, которую смело можно рекомендовать отцам семейств, и что она не идет ни в какое сравнение с книгами этого рода, беспрестанно издающимися у нас. Надеемся и уверены, что ее издатель не будет жалеть никаких трудов на постепенное улучшение такого полезного издания.

«Сына рыбака» мы выставили в начале нашей статьи не потому, что это лучшая из детских книг, изданных в последнее время в Петербурге, и не потому, что она достигла второго издания, а потому, что она представляет собой богатый образец совершенной бесполезности большей части детских книг. Какой может быть интерес для детей в биографии поэта и ученого, когда еще они не имеют ни малейшего понятия ни о поэзии, ни о науке? И Давать для малолетних детей подобную книгу — не то ли это самое, что издавать для крестьян биографию Гегеля? Вот другое дело издать для детей биографию Петра Великого, Суворова, Кутузова; это им -доступнее: они любят рассказы о сражениях, да и личность Петра Великого, как государя и как человека, искусно очерченная, не могла бы их не заинтересовать. Но что им в Ломоносове? А когда они подрастут, то пусть прочтут роман-биографию Ломоносова, прекрасно составленный г. К. Полевым, да вместе с тем примутся читать и самого Ломоносова. И как бедно и жалко составлена книжка г. Фурмана! Первая половина ее — компиляция из прекрасной книги г. К. Полевого, а вторая — вялый и мертвый набор слов. И все это украшено восемью безобразнейшими литографиями. И такие книги появляются вторым изданием! Бедные дети, лучше бы вам вовсе не знать грамоте!

Детский «Альманах для детей», изданный г. Фурманом, избрали мы для рецензии как общий тип почти всех детских книг. Этот альманах состоит из четырех драматических пьес в прозе. Несмотря на русские (весьма неудачно придуманные) имена и фамилии, явно, что все эти пьесы переведены с французского: в них вовсе не наши нравы, и от этого

нелепость их делается еще вопиющее. В них добродетельные говорят словно по книге, порочные к концу пьесы непременно раскаиваются и делаются добродетельными. Нигде незаметно причин ни порока, ни раскаяния. Стало быть, все вздор и ложь. Но для многих людей развивать в детях нравственные чувства можно, только обманывая их: достойная проклятия мысль! Сатана — отец гнусной лжи — породил ее, а лживые или ограниченные люди уверовали в нее и чают от нее спасения детей своих! Все в этих пьесах неестественно, сентиментально, пошло, надуто — и чувства, и выражение! А язык — это верх неестественности: ни одной простой фразы, все по-книжному. Вот несколько примеров: «Не угодно ли вам прогуляться со мною по саду в *ожидании возвращения* наших детей». Помилуйте! кто ж так говорит? всякий скажет: *пока воротятся наши дети*. Простой, невоспитанный мальчик, поднятый рыбаком с улицы, на которой он лежал замертво от стужи, говорит о своем отце, утонувшем в море: «Волна, которая его потопила, поглотила также и все средства к моему дальнейшему существованию». Благовоспитанные девицы, в разговоре, беспрестанно употребляют слова *ибо, кои* и оные!!! Это разговорный слог! Может быть, пьесы эти переводила одна из тех особ, для чтения которых назначается эта книжка (под тремя из них написано: *А. С-на*); но чего же смотрел издатель, зачем не поправил он? Или он сделал только то, что мог? В таком случае умоляем его не издавать больше книг для детей.

Обращаясь к общей идее полезности или бесполезности детских книг, вот что скажем мы, как результат нашего мнения об этом предмете.

Мнение, что дети должны читать только то, что читают и взрослые, не лишено основания и справедливости; но требует больших исключений и ограничений. Но нам кажется, что можно дать на этот предмет правило, не допускающее почти никаких исключений и ограничений: книги для детей можно и должно писать, но хорошо и полезно только то сочинение для детей, которое может занимать взрослых людей и нравиться им не как детское сочинение, а как литературное произведение, писанное для всех. И к повестям, рассказам и драматическим пьесам это относится едва ли еще не более, чем к статьям другого рода.

Да где же взять таких книг? Это уже не наше дело. Мы сочтем себя очень счастливыми, если изложением нашего мнения об этом предмете наведем много талантливого человека на настоящий путь в отношении к сочинению книг для детей.

ОПЫТ БЕСЕДЫ С МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ ¹⁾

Вероятно, каждому молодому человеку, сколько-нибудь привычному к размышлению, приходило в голову: отчего в природе всё так весело, ярко, живо, а в книге то же самое скучно, трудно, бледно и мертво? Неужели это — свойство речи человеческой. Я не думаю. Мне кажется, что это — вина неясного понимания и дурного изложения.

Ни трудных, ни скучных наук вовсе нет, если их начинать с начала и идти в каком-нибудь порядке. Труднее всего и во всём азбука и чтение, — они требуют механических усилий памяти и соображения, чтоб запомнить множество у с л о в н ы х з н а к о в, но вы знаете, как это легко делается. Всякая наука имеет свою азбуку, далеко не так сложную, как настоящая, но которая издали дика и запутана; через неё надобно пройти, и это ничего не значит. Разумеется, нельзя читать химическое рассуждение, не зная, что такое кислота, соль, основание, сродство и проч. Но не надобно забывать, что нельзя и в карты играть, не давши себе труда выучиться мастям и названиям.

Будьте уверены, что трудных предметов нет, но есть бездна вещей, которых мы просто не знаем, и ещё больше таких, которые знаем дурно, бессвязно, отрывочно, даже ложно. И эти-то ложные сведения ещё больше нас останавливают и сбивают, чем те, которых мы совсем не знаем.

Основываясь на ложном и неполном понимании, на произвольных предположениях, как на решённом деле, мы быстро доходим до больших ошибок. Пустые ответы убивают справедливые вопросы и отводят ум от дела. Вот причина, почему, начиная говорить с вами, я не только не требую от вас знаний, но скорее был бы доволен, если бы вы забыли всё, что знаете школьно, и имела бы тот простой взгляд и те неизбежные понятия о вещах, которые сами собой приобретаются в жизни — иногда смутной и ошибочной, но не п р е д н а м е р е н н о ложной.

Мне хотелось бы не столько сообщить вам сведения, дать ответы на ваши вопросы, как научить вас спрашивать, поставить вас относительно предметов на точку зрения здравого смысла. Овладевши её несложными приёмами, вам легко будет приобрести, сколько хотите, знаний из огромных запасов наблюдений и фактов. Мне хотелось бы указать вам тропинку в их дремучем лесу, чтоб вас не обошёл, как говорят наши мужички, «лукавый», т. е. дух лжи и неправды, — дать вам нить, которая довела бы вас до других, уже более опытных проводников и, если вы того захотите, до собственного наблюдения.

¹⁾ Я убедительно прошу принять эту статейку только за опыт. Если я не умел его сделать, пусть кто-нибудь другой напишет на тех же началах ; я вполне убеждён, что в н и х я не ошибся. — А. Г.

Предания, которые нас окружают с детства, общепринятые предрассудки, с которыми мы выросли, которые мы повторяем по привычке и к которым привыкаем по повторениям, страшным образом затрудняют нам простое изучение окружающей нас жизни. Желая что-нибудь понять из естественных явлений, мы почти никогда не имеем дела с ними самими, а с какими-то аллегорическими призраками, вызываемыми по их поводу в нашем воображении. Оттого мы почти всегда смотрим на произведения природы, как на фокусы или на колдовство, и, вместо отыскания причин, законов, связи, мы думаем о фокуснике, который нас обманывает, или о колдуне, который ворожит.

Большая часть людей, занимавшихся изучением природы, знают, что это не так, но сами принимают неверный язык и лепет младенческого развития, — одни, воображая, что они этим сделают понятнее науку, так, как дурные няньки, говоря с маленькими детьми, повторяют нарочно детские ошибки и детское произношение; другие из равнодушного неуважения к истине или из жалкой боязни раздражить людей, верующих в исторические предрассудки.

Я намерен говорить с вами, как с совершеннолетними, и думаю, что мне никогда не придётся ни употреблять детский лепет, ни лицемерить. Лучше молчать, если нельзя иначе.

Безнравственно на вопрос о причине какого-нибудь явления отвечать вздором, только для того, чтоб отделаться. А это-то мы и видим сплошь да рядом.

Отчего, спрашиваете вы, зверь глупее человека? Оттого, говорят вам, что у зверя и н с т и н к т , а у человека у м. Неужели этот ответ дельнее того, который бы кто-нибудь сделал на вопрос, — отчего близорукий видит хуже других? — Оттого, что он миоп. Или, ещё лучше, слабые глаза назвал бы одним именем, а сильные глаза другим, и дал бы вам это за объяснение.

Кому не хочется, глядя на природу, заглянуть за её кулисы, в ту мастерскую, из которой непрерывно идёт, летит, стремится это множество всякой всячины: звёзды, камни, деревья, вы, я... И всякий раз на вопрос ваш о том, как всё это делается, вам отвечают шалостью или обманом, чтоб скрыть своё неведение, а иногда, и это ещё хуже, чтоб скрыть своё знание.

Один из обыкновенных приёмов — пугать начинающих такими цифрами лет, милей, что их и произнести нельзя. Сбивши ими с толку, начинают толковать о сотворении мира, прежде, нежели объясняют, что такое мир и как он может быть сотворен; потом заставляют принять на веру три, четыре силы, и всё то для того, чтоб потом с их помощью трудным путём дойти до того, с чего начинается катехизис.

Не лучше было бы начать с первого предмета, попавшегося на глаза, с предмета знакомого, который можно взять в руки, посмотреть? Тем больше, что природа везде одинакова, все её произведения равны перед законом, какого бы роста они ни были, какое бы значение они ни имели

— близко ли, далеко ли, в телескоп ли на них смотрят, простыми глазами, или в микроскоп. Капля воды и струйка дыма подлежат тем же общим правилам, как океан и вся атмосфера. Страх перед количеством, длиной и долготой надобно победить с самого начала, а потом и следует начинать с величин соизмерных : то, что мы в них найдём, наверно можно будет приложить ко всем прочим.

В капле нечистой воды зарождается бездна маленьких животных, в междузвёздных пространствах — бездна планет и комет, на сырой стене плесень.

Объяснить образование плесени не легче, чем объяснить образование земного шара. Плесень нас не удивляет только потому, что она не казиста, не велика. А, ведь, было время, что и земной шар был меньше тех животных, которые тысячами вертятся в одной капле воды.

Сделаться большим не так трудно, как начать расти. Вы, верно, слышали о той даме, которая на вопрос — верит ли она, что св. Дионисий прошёл большое пространство без головы, отвечала, что не в этом важность, что он далеко ушёл, но в том, что он сделал первый шаг.

Действительно, в определённых явлениях всё зависит от первого шага, т. е. от начальной встречи необходимых условий; где они соберутся, там и делается первый шаг, и, если ничего не помешает, развитие пойдёт длинным ядром изменений, смотря по обстоятельствам — в комету, в цветок, в плесень. Эти встречи делаются непрерывно, везде, на каждой точке безграничного пространства. Миры возникают непрерывно, так, как плесень и инфузории; они не сделаны, не готовы, а делаются, одни существуют теперь, другие едва образуются, третьи кончают свою жизнь в этой форме.

Мы имеем один факт, не подлежащий, так сказать, нашему суду, факт, втесняющий нам себя, обязывающий себя признать; это факт существования чего-то непроницаемого в пространстве — вещества. Мы можем начинать только от него, он тут, он есть; так ли, иначе ли — всё равно, но отрицать его нельзя. Пространств без веществ мы не знаем; мы знаем только, что в иных пространствах вещества больше, т. е. что они гуще и плотнее, в других меньше, т. е. что они жиже и пустее.

Где бы вы ни начали изучать вещество, вы непременно дойдёте до таких общих свойств его, до таких законов, которые принадлежат всякому веществу, и из этих законов можете вывести, изменяя условия, что хотите: возникновение миров и их движение, или движение пылинок, которые колеблются и несутся на солнечном луче.

Вот, например, одно из этих общих свойств, самых очевидных и лёгких для наблюдения. Стоит посмотреть на несколько разных веществ, чтоб увидеть, что частицы одного вещества иногда соединяются с частицами другого, одни льнут друг к другу, другие сближаются теснее, как бы просасываясь друг в друга.

Продолжая наблюдение, мы можем изучить, заметить некоторые особенности, сопровождающие тесные соединения частиц. Возьмём, например, стакан воды и стакан спирту, смешаем их так, чтоб ничего не утратилось: мы получим весом сумму веса воды и веса спирта, а объём их будет немного меньше двух стаканов. Новая жидкость сделалась несколько плотнее. Стало быть, есть соединения, при которых разные частицы соединяются теснее и, в силу этого, занимают, соединившись, меньшее пространство.

Я хочу, взяв в основание эти два простейшие явления, показать вам возможность объяснять ими возникновение всего на свете.

Одного только я потребую от вас, того, что требует всякая старушка, рассказывающая сказки, — немного внимания и немного воображения.

Вместо двух стаканов, из которых в одном налит спирт, а в другом вода, вы себе представьте глухую ночь бесконечного пространства, в котором носится разжиженное до чрезвычайности вещество; рассеянные частицы непрерывно встречаются, соединяются, просасываются друг в друга, снова разлагаются, опять соединяются, — и это повсюду, спокон века и ежеминутно. В бесконечном числе этих соединений должны встретиться и такие, которые удержались и с тем вместе сделались плотнее. Что может выйти из этого? Первое последствие будет нарушение равновесия, в котором около носившиеся частицы держали друг друга в балансе. Окружающие частицы, не встречая прешего препятствия, стали падать к более плотному соединению, чтобы наполнить изреженное место, от которого вещество долей отступило, сделавшись плотнее.

Зачем? На этот вопрос, совершенно правильный, я буду отвечать фактом. Раздвигаемость частиц и стремление занять наибольшее пространство есть отличительное свойство одного из трёх нам известных состояний вещества, мы его называем воздухом.

В обыкновенной жизни мы почти не считаем воздух за вещество. Мы говорим: «стакан пустой», когда в нём нет ничего жидкого и ничего твёрдого, забывая, что он полон воздуха, и в этом нет никакой ошибки, потому что стакан сделан для того, чтоб содержать жидкость. Тем не меньше надобно остерегаться и от тех ложных представлений, которые вносит не книга, а практически-житейское отношение к предметам. Воздух у нас в большом пренебрежении. Вещь улетученную, воздухообразную мы считаем уничтоженной вещью. «Сколько мы истребили дров нынешней зимой!» — говорим мы относительно правильно, ибо дрова, как вещь ценная, как вещь полезная, даже как вещь осязательная, не существуют больше; но не следует забывать, что от сожжённых дров ничего не пропало и не могло пропасть. Нет того снаряда, того пресса, того паровика, того плавильного огня, которым бы можно уничтожить пылинку, носящуюся в воздухе, малейшую скорлупу ореха. Если собрать

сажу, дым, уголь, золу и разные воздушные соединения, вы бы увидели с весками в руках, что дрова ваши совершенно целы, а только живут иначе. Дело в том, что всякое самое твёрдое тело (так, как вы это видите на льду), свинец, например, может сначала расплавиться, а потом при известных условиях, сделается воздухообразным, несколько не переставая быть свинцом, и точно так же может из воздухообразного снова перейти в своё твёрдое состояние так, как водяные пары превращаются в лёд. Это нас приводит к одному из величайших законов природы: ничего существующего нельзя уничтожить, а можно только изменить. Но если сегодня нельзя ничего уничтожить, то и вчера нельзя было, и тысячу лет тому назад, и так далее, т. е. что вещество вечно и только по обстоятельствам переходит в разные состояния. Люди, толкующие о преходимости всего вещественного, не знают, что говорят; если льду нет, за то есть вода; если воды нет, за то есть пары; если и их разложить, мы получим два воздухообразные вещества, которые можно на тысячу ладов соединить, но уничтожить ничем нельзя, ни даже человеческим воображением; сделайте опыт представить себе что-нибудь существующее уничтоженным, как же оно примется за то, чтоб не быть?

Сочетания и разложения вещества — по собственному ли развитию или по воле человеческой — могут только переделывать, изменять материал, приводить его в другие соединения и в другие формы, но материалу от этого ни больше, ни меньше, он всё тот же и в том же количестве. Если в одном месте сделается что-нибудь гуще, непременно где-нибудь будет жиже. Перед вами фунт говядины, вы её съедаете и становитесь фунтом тяжелее, а через час или два — несколько легче, но разница не пропала; говядина, превратившись в кровь, потеряла разные водяные и воздушные частицы, оставившие ваше тело испарением, дыханием. Эти освобождённые частицы пошли каждая своей дорогой: одни были всосаны растениями, другие соединились с землей, рассеялись в воздухе.

Но если всё, что делается в природе, — только перемена вечного, готового материала, то вы, несколько подумавши, ясно увидите, что также нельзя в природе ничего вновь сделать, ничего прибавить, ничего создать. Можно пары охладить в воду, воду заморозить в лёд, но водяных паров нельзя составить, если нет их составных частей; с чего же начать?

Мы остановились на том, что частицы вещества, окружавшие более плотное соединение, устремились к нему. При этом движении они должны были увлекать с собой слой за слоем и, следовательно, быть причиной нового колебания, продолжающегося до тех пор, пока движение слоев не потеряется в пространстве и не придёт в равновесие.

Наши соединившиеся частички в этом колебании уже играют роль средоточия, зерна; стремящиеся на них воздуха (газы) наносят им новые

соединяющиеся частицы, движение от этого становится больше и больше. Вы знаете, что ветер — не что иное, как перемещение слоев воздуха, тёплых и холодных, сухих и наполненных парами, продолжающееся до тех пор, пока слои придут в равновесие. Мы можем поэтому представить себе, как мало-помалу возрастали выюги и вихри, колебавшиеся в воздушном растворе, без всякой рамы, на просторе бесконечного пространства, около гущённого средоточия.

Если средоточие выдержит напор, не потеряв своей особенности, не распутившись в пространстве, не прильнув само к другому, то оно с волнующимся около него воздухом или туманом представится нам особенной областью, вымежёвывавшейся от окружающего пространства своим движением около ядра. Если же оно вступит в другие соединения, вовлечётся в другое движение, что вероятно повторялось миллионы и миллионы раз, тогда оставим его своей судьбе и займёмся тем другим средоточием, в котором развитие продолжается. В той ли воздушной области или в другой идёт операция, мы не можем иначе себе представить её форму, как шарообразной, потому что нет никакой причины частицам простираться больше или меньше в одну сторону, нежели в другую. А простираться ровным образом во все стороны от одного средоточия, — значит быть шарообразным.

Но отчего же развилась та область или другая, почему тут образовалось более плотное соединение, а не там?.. Это один из самых пустых вопросов, но так как его повторяют довольно часто, то надобно было о нём упомянуть. Естественные науки не дают никакого ответа на подобные вопросы, потому что им нечего сказать. В бесконечном пространстве нет местничества; там, где случились необходимые условия, и именно в то время, когда они встречались, там и начало, там и продолжение; случись оно в другом месте, в другое время, оно было бы там, а не тут; может, было бы в обоих местах. Ну что же из этого?

Природа представляет нам факт, наше дело его изучать, приводить к сознанию, раскрывать его законы. Ну, а если бы у неё были другие законы, тогда, вероятно, и нас бы не было, а было бы что-нибудь совсем другое... где тут предел?.. Мы изучаем те факты, которые существуют, и смиренно принимаем их, как они есть.

Говоря о возникновении миров, например, само собою разумеется, мы говорим о тех мирах, которые возникли, и об общем законе возникновения... миры могли и могут возникать на всякой точке, но не на всякой точке нашлись условия, для них необходимые. На иных могут быть условия, годные для начала, но которые не в силах поддержать развитие. Мы их не знаем, да если бы знали, их следовало бы оставить. Описывая животных, мы не останавливаемся на неудавшихся зародышах или на уродливых недоносах.

Естественные науки занимаются только фактами и их изучением, не допуская фантастического созерцания возможностей. Почём мы знаем, что теперь делается в мрачных и холодных пространствах между звёзд, какие образуются там новые миры и подрастают на замену солнечной системы или какой другой?.. Во всём этом нам не на что опереться, кроме на наведение, оно действительно подтверждает, что должно быть это так; тем и оканчивается весь научный интерес, и дальнейшее переходит в область мечтаний.

Нас ожидают вопросы больше существенные в жизнеописании нашей воздушной области. Будучи гуще внутри, она должна была сложиться в последовательное наслоение. Лёгкие слои всплыли наверх, потяжеле повисли в середине, самые тяжёлые потонули к средоточию. Пока всё не пришло в равновесие, в шаре делалось то, что делается, когда кипятят воду: подогретая вода подымается, в то время как холодная низвергается на дно. Противоположные потоки должны были стремиться одни лучеобразно от центра ко всем точкам поверхности, другие — от всех точек поверхности к центру, но по мере того, как все частицы повисли бы на своём месте, они успокоились бы, и общее движение мало-помалу должно остановиться, а с ним замереть и дальнейшее развитие. Этот покой действительно и настаёт в кипятке, если воду не будут подогревать. Но где её очаг, который бы подогревал наш воздушный шар?

Переходим опять к ежедневным, домашним опытам; возьмите кусок «холодного железа, положите его на холодную наковальню и начните его бить холодным молотом; оно сначала делается тёплым, потом горячим — где очаг? Если в металлической трубке с одним отверстием подвижной пробкой, туго входящей, быстро сжать воздух, то трут, прикреплённый на дне трубки, загорается. Кто его зажёт? Дело состоит в том, что тела, сжимаясь, становятся теплее. А, ведь, две первые частицы, соединившись, заняли меньше пространства — сжались, стало быть, они сделались теплее. Притеченне новых частиц и их соединение развивало больше и больше тепла в ядре, отсюда движение частиц, отдаляющихся от центра и притекающих к нему, должно было становиться сильнее и сильнее, температура центральной части выше и выше.

Идём далее... Имеем ли мы какое-нибудь право себе представить, что та данная воздушная «капля», при развитии которой мы присутствуем, одна и есть во всей вселенной. Если б это было так, то, стало быть, было когда-нибудь время, в которое ничего не было, т. е. в которое нельзя было во з н и к н у т ь чему-нибудь, т. е. что вещество и законы его были не те, которые теперь, чего мы допустить не можем; совсем напротив, потому что эта область могла развиваться, стало быть, и другие миры должны были развиваться прежде неё. Если же это так... то наша сфера где-нибудь, как-нибудь встретится с другими.

Какое же будет их взаимодействие? Верхние слои, самые изреженные по свойству воздухообразного состояния, проникнут друг в друга, могут смешаться, если не будут удерживаемы потоками частиц, летящих или низвергающихся к средоточию. Мы не имеем причины предполагать обе сферы одинакового объёма, одинаковой плотности — это может быть, но это один из случаев; гораздо легче себе представить, что одна сфера больше другой, и тогда меньшая будет постоянно склоняться к большой. Если частицы, стремящиеся к зерну меньшей сферы, не в состоянии противодействовать удаляющимся от него, то она упадёт на большую, распухнет в нём, станет двигаться как один из его слоев или как одна из его частных областей.

Но если движение частиц к средоточию достаточно, чтоб противодействовать падению, но недостаточно, чтоб совсем пересилить стремление частиц к средоточию большой сферы, тогда, повинувшись двум движениям, шар наш будет кружиться около центра большой сферы, постоянно готовый сорваться с пути или упасть к его центру. И то, и другое может случиться, но нам для нашей цели следует взять такое отношение сфер, в котором они уравниваются на постоянном движении одной около другой.

Но все частицы вещества, составляющего воздушный шар, несущийся около средоточия, вне его находящегося, одинаково ринуты в движение. Слои ближе к его зерну вертятся медленнее, у самого центра всё покойно, быстрота, разумеется, возрастает с удалением от него и всего больше на поверхности. Простой опыт мячика, привязанного на бечёвке, который вы станете кружить, даёт наглядное представление.

Сверх того, и на самой поверхности не все точки двигаются с равной скоростью, потому что не все подвергаются одинаковой близости к большой сфере, около которой двигается меньшая. Наибольшее движение будет на том поясе, который всего ближе к большой сфере, туда и будет притекать наибольшее частиц.

В силу этого разного движения, мы можем определить такую линию, около которой шар будет обращаться, как около своей оси.

С своей стороны, постоянное притечение частичек к поясу наибольшего движения должно изменить шарообразную форму, — она сплюснется у полюсов, т. е. у концов оси, и увеличится у пояса, ближайшего к внешнему средоточию.

Но чем далее частицы от зерна, тем слабее их связь с ним, а так как и движение там всего сильнее, то под его влиянием пояс может, наконец, сорваться или, лучше, расчлениться с общей массой, продолжая увлекаться её движением, уже не как её слоем, а в виде обруча. За ним может отделиться другой, третий и т. д., тогда плотность всей сферы сделается, так сказать, полосатой в отношении к густоте гораздо изреженнейшей между обручами, гораздо плотнейшей в них самих.

При крутом и стремительном движении обручей, они сами могут разорваться, и тогда, — одна часть дуги отставая, а другая напирая на неё, — они могут собраться, сжаться в один или несколько комков, обращающихся около общего центра своей сферы и увлекаемых с нею около средоточия большой сферы; в каждом расчленившемся обруче или кольце снова повторятся те же явления.

При этих отделениях обручей, при их распадаениях на шары должны были остаться свободные частицы, уносимые общим потоком, и которые, в свою очередь, льнут к тем или другим шарам, больше и больше сгущая их. Самое образование обручей было сгущением, но сгущаться значит *р а з о г р е в а т ь с я*; чем больше накаливались частные центры, тем сильнее стремились от них частицы, поднимаясь к окружности. Таким образом, зерно, вместо того, чтоб делаться плотнее и плотнее, становилось всё жиже и жиже, истощаясь своим лучезарным рассеянием частиц.

Такое средоточие — наше солнце; его расчленившиеся обручи — планеты нашей системы, их отделившиеся обручи в свою очередь составили их спутников, как луна, или остались обручами, как кольца Сатурна.

Вся солнечная система имеет своё общее движение около одного из своих созвездий. Представляет ли это созвездие общее средоточие, или само обращается около чего-нибудь? Наверно последнее. Мы слишком бедны, чтоб доказать это опытом, наши периоды наблюдений слишком ограничены и слишком малы, но нелепость средоточия чего-нибудь бесконечного так же очевидна, как означение года, делящего на две равные эпохи вечность. Общего средоточия движения не может быть, оно не в духе природы... Всё носится друг около друга; одни центры исчезли, послуживши причиной движения; другие возникают, приставая к той или другой системе, или перетягивая к себе.

Так это и наша солнечная система когда-нибудь перестанет существовать? — Непременно. Одна из причин бросается в глаза, — это постоянное истощение солнца; оно уже и теперь не может производить новых планет, обручи не отделяются от него, но оно продолжает на огромное пространство до Сатурна греть и светить, не получая топлива снаружи; силы солнца также сочтены, придёт время, когда воздушный очаг потухнет.

Что касается до возникновения новых небесных тел, мы можем следить за образованием и ростом плотной части *т у м а н н ы х* *п я т е н* и комет так, как можем изучать по обитателям Новой Зеландии начала стадной жизни людской.

На этом мы остановимся. Мне хотелось в этом опыте только показать, как из лёгкого химического опыта и из самых элементарных понятий механики и физики, что тела, сжимаясь, нагреваются, что воздухообразные частицы стремятся занимать больше пространства; что

есть такие соединения веществ, при которых соединённое тело становится плотнее соединяемых, — есть возможность объяснить всемирные явления, не вводя никаких фокусов, никаких спрятанных колдунов, не отводя глаз. Цель моя будет совершенно достигнута, если мой опыт возбудит умственную деятельность и желание ближе узнать то, что едва обозначено в нём. Одного желал бы я безмерно, чтоб вы заметили коренную разницу этого приёма с обыкновенным риторико-теологическим.

В этом сжатом очерке я старался до того сберечь чистоту вашего воображения, что не употреблял, как ни было мне это трудно, таких слов, как притяжение, тяготение, центробежная и центростремительная сила, которыми для краткости выражают общие причины всех явлений, вследствие которых частицы соединяются, влекутся к другим, кружатся и проч. Я боялся их употреблять и предпочёл передавать факты, не означая их именем, потому что незнакомые названия с условным собирательным смыслом: заменяют очень часто объяснение, останавливают вопросы; произнося слово, нам кажется, что мы знаем его смысл, что мы определяем самую причину, в то время, как мы только её н а з ы в а е м .

Мы смеёмся с Мольером над шутком, который объясняет свойство ревеня тем, что он имеет слабительную силу, и в то же время довольствуемся тем, что частицы вещества соединяются вследствие с и л ы с ц е п л е н и я .

А что такое сила сцепления? Опять колдовство, только в другой форме, переведённое с мистического языка на язык науки, переодетое из монашеской рясы в докторскую мантию.

Слова эти необходимы, но необходимы как знаки; это стропилы, вехи по дороге к истине, а не сама истина «взаправду», как говорят дети.

Явления, ожидающие нас, если мы будем продолжать наши беседы, становятся определённое и вводят нас в сферы больше живые. Мы видели, что с сжатием является теплота, с теплотой свет, при их посредстве рассеянные частицы вещества обнаруживают больше и больше действия друг на друга (химизм), с теплотой и химизмом неразлучно электричество, а тут является и кристаллизация, и органическая клетчатка, а с ними всё животное царство и человек.

НАСТОЯЩЕЕ И ДУМЫ
(Письма к Герцену)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Отвыкли мы от философских тем,
В поэзии бракуют их совсем —
И Анненков, и Гегель, и другие
Философы помельче, небольшие.
В поэзии им образы нужны —
А вот поставь, хоть ради новизны,
Леонтьева с Катковым на картину,
Все ж образ их пойдет за образину.
Пишу к тебе — зачем, не знаю сам,
Не знаю, что в стихах я передам —
Раздумие и мысли, взгляд и нечто
Иль образы... Ну!.. Да о чем бишь речь-то?
О критиках... Бог с ними, милый мой!
Пишу к тебе, чтоб тайную тревогу
Исканьем рифм рассеять понемногу
И как-нибудь над рифмою тугой
Слегка вздремнуть, поникнув головой.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Ночь. Город спит, насилу удосужась...
Все тихо, так — что даже без причин
Таинственный охватывал бы ужас...
Но в сердце нет мистических пружин,
Мой ужас прост: мое дитя больное
В соседней комнате. Малейший звук
Я слушаю сквозь веянье ночное
И жду беды и чувствую испуг.
Жизнь или смерть?.. Поди, решай загадку —
Куда природа выпрет лихорадку!

Природа — мать!., пожалуй, что и мать,
Но с сердцем мачехи... засмейся сразу,
И у меня наткнувшись на фразу!..
Но я хотел совсем не то сказать:
Природа (иль — по-древнему — натура) —

Ни мать, ни мачеха, а просто дура.
Родит себе и рушит наповал,
И все равно ей — смерть или родины;
А человек в ней цели отыскал
И умные последствия причины...
Увы! в ней все ни глупо, ни умно,
А просто так у ней заведено.

Сижу и слушаю... вот два пробило...
Чу! кашляет... Иду я в тишине
На цыпочках, чтобы неслышно было...
Дитя мое! Все тело, как в огне,
И мечется, и тяжело дыханье...
Еще вчера она приснилась мне —
Обнять меня хотела на прощанье,
А губы у нее — смотрю — черны
И кровию запекшейся полны...
Меня так разом обдал пот холодный,
И сон с тех пор пугает безотходно.

Воды тебе? Испей, дитя мое!
Приляг опять, дай я тебя прикрою,
А завтра будь здоровою такою,
Я расскажу про прежнее житье...
Она глядит, но, видно, не узнала,
Заплакала в бреду, и закричала,
И снова спит, и дышит тяжело.
А голос был так раздрающ, тонок,
Что жалостью всю душу мне свело,
Как будто всем хотел сказать ребенок:
«Простите мне! Не виновата я!
За что же вы так душите меня!»
Беспомощно стою я у кровати...
Беспомощно!.. Гляди себе и жди,
Хоть разорвись с усилий на догадки,—
Не будешь знать, что выйдет впереди,
И не найдешь ты средства на спасенье.
Сам медик мне сказал свое решенье:
«Болезнь должна иметь благой исход,
Но может взять и скверный поворот...»
И истиной, наукою добытой,
Был горд сей муж, в науке знаменитый.
Беспомощно!.. Как в этом слове, друг,

Вся жизнь сама сказалась неподдельно!
Как ясен мне весь заповедный круг
Ненужности, бессильной и бесцельной.
Стою, молчу и мыслю про себя:
Вчера глядел, любуясь и любя,
На глазки светлые, на ясный лобик!
А завтра вот пойду готовить гробик.
И снова жизнь потянется пуста,
В напеве не достанет звука,
Внутри тоска, кругом тупая скука...
Не в первый раз развеется мечта,
Не в первый раз переживать утраты,
Шесть тысяч лет все люди мрут да мрут,
А с похорон — поплачут и живут.
Переживу и я... На благо общее отдам мой труд,
Да, сверх того, и умиранье больно...
Тушу свечу! На этот раз довольно...

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Сегодня ей заметно лучше стало...
А я, мой друг, сегодня плакал. Да!
Меня сегодня хуже, чем когда
Беспомощность другая добивала,
Отчаянье безвыходной борьбы,
Ношение кар заслуженной судьбы,
Сухая боль бесплодного томленья
Без ласки внутренней, без умиленья.
Когда взошел я к дочери больной,
Вдруг вижу — мать в порыве раздраженья
На нянюшку. Неловкою рукой
Давала пить ребенку и водой
Позалила (случайно, без сомненья)...
Забыто все — и как беде помочь
И что нельзя пугать больную дочь;
Забыта скорбь и, может, близость гроба,
Над всем всплыла одна сухая злоба.
Я был объят каким-то духом тьмы,
Мне дикий вид и речи были гадки,
Я вышел вон безумно, без оглядки,
Как будто б я спасался от чумы.
Бежал, бежал, забыл мою больную,
Мой тайный страх, мою печаль иную...

О! отчего я не имею сил,
Ни сил на власть, ни сил на убежденье,
На вкрадчивость сердечного моления.
Я много бед еще бы отвратил...
Я, страстно эту женщину спасая,
Сказал бы ей, из глубины взывая:
«О! ради наших прошлых дней
Погибшего, погубленного счастья,
Не разрушай в душе моей
К прошедшему последнего участия!
Прости меня! Я виноват,
Я погубил твой возраст юный,
Я порвал все святые струны,
На ум наваял праздный чад,
Я развил волей иль неволей
Дух неразумных своеволий,
Я допустил в душе твоей
Тревогу мелких нетерпений,
И сухость мстительных волнений,
И необузданность страстей!
Прости меня! Перед тобою
Клонюсь преступной головою,
Но я любил, но я был слаб,
Я был не старший брат, а раб.
О! ради наших прошлых дней
Погибшего, погубленного счастья,
Не разрушай в душе моей
К прошедшему последнего участия!
Твой слух на голос мой склони,
Пойми всю ширь сердечного прощенья
И тихой грустию благоволенья
Порывы злобы замени.
Чтоб ты пришла к уразуменью,
Как много я наделал зла
Моей потворственной ленью,
И мне простить ее могла,—
Сойди в себя! отвергни оправданья,
Очисти жизнь слезою покаянья...
Вчера — ты помнишь ли,— вчера
Еще ты ночью говорила,
Что, зная, за то, что ты забыла
Понятье правды и добра,
Тебе дочернее страданье

Дано судьбою в наказанье?
Ужель опять ни страх перед судьбой,
Ни мягкая надежда исцеленья
Не взяли верх над мелкой и сухой
Презренной тревогой озлобленья?
Подумай, оглянись назад —
Безумный вихрь, ревнивый чад...
Сердечной лаской не пригреты,
Две девочки забудут кров родной,
Нарушены пред урной гробовой
Тобою данные обеты.
Ужель и в жизнь своих детей
Навешь ты все то же роковое
Дыханье злобы и страстей,
Туманный вихрь, съедающий живое,
Ума лишающий людей?
Пойми, что злоба на все лица,
Что праздно бешеная кровь,
Тревога дикая волчицы —
Еще не женская любовь.
О! слух на голос мой склони,
Пойми всю ширь любви и умиленья
И тихой грустию благоволенья
Порывы злобы замени.
О! сделай, сделай, ради бога,
Чтоб я, когда иду к больной,
Я не стоял бы у порога,
Терзаем думою одной,
Что вот войду — и вновь тревога,
И вокруг пойдет рассудок мой,
И я, встречая сердца малость,
Забуду и любовь и жалость.
О! дай же плакать мне над ней,
Над бедной Лизою моей,
Любить ее и целовать ей руки
Без задних дум проклятия и муки.
У ног твоих, еще любя,
Рыдаю и молю тебя —
Сойди в себя. Отвергни оправданья,
Очисти жизнь слезою покаянья.
О! ради наших прошлых дней
Погибшего, погубленного счастья
Не разрушай в душе моей

К прошедшему последнего участия..
Но тщетно все... Я знаю, голос мой —
Пустынный бред моей души больной,
И я слова мои напрасно трачу —
Склоняю голову и плачу.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Она останется жива!
Уже сегодня говорила
Она веселые слова
И сказки сказывать просила.
Уже сквозь усталь и недуг
Смеются умненькие глазки...
Какие ж я тебе, мой друг,
Сказать могу сегодня сказки?
Я помню только лишь одну —
Как рыцарь с синей бородою
Хотел привычною рукою
Убить девятую жену.
Прослушала четыре раза,
Но просит все конца рассказа,
Все говорит, не кончен он:
Скажи про прежних восемь жен.
Она останется жива!
Дай этой мыслью насладиться!
Хотя на миг один иль два
Дай в чувстве радости забытья,
Куда-нибудь, хоть за забор,
Отбросив жизни грязь и сор.
Так доживу ж я, вероятно,
Чтобы взглянуть хоть на расцвет
Весенних отроческих лет,
И будет ей не непонятно
Благословенье, и завет,
И ласка слов моих прощальных,
Спокойных, тихих и печальных.
Да! я увижу возраст тот,
Откуда времени полет
Мои черты сквозь сумрак бледной
С сердечной памяти бесследно
Крылом холодным не сотрет.

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ «ОБЩЕСТВА ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРАМОТНОСТИ И ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Есть факты, очевидная полезность которых до того несомненна, что не нуждается ни в каких доказательствах. К таким фактам принадлежит необходимость распространения грамотности и элементарных общепользованных сведений в России. Эта необходимость чувствуется всеми: и правительством, которое, между прочими заботами, клонящимися к просвещению нашего отечества, печется также о распространении грамотности в полках, и частными людьми, заводящими школы — воскресные, городские и сельские, и другими лицами, занимающимися изданием дешевых книг и сборников для народа. Все эти стремления благотворны и достойны полного сочувствия; но они разрознены, часто неясны, не имеют достаточного обеспечения — ни вещественного, ни нравственного, — а потому слабы и подвержены всем невыгодам случайных стремлений. Нам кажется, что настало время собрать воедино, направить к определенной ясной цели все эти отдельные силы, заменить частные, всегда более или менее неудовлетворительные попытки совокупным, обдуманым действием всех образованных русских людей — одним словом, свести в это благое дело могущество единодушных дружных усилий и светосознательной мысли. Проникнутые этим убеждением, мы предлагаем основать «Общество для распространения грамотности и первоначального образования».

Мы твердо уповаем на разумный привет со стороны всех сословий нашего народа, а также на сочувствие и покровительство самого правительства. Мы являемся перед ним в виде его помощников в деле народного просвещения; мы желаем придать устройство и организацию разрозненным, часто ему самому неизвестным общественным силам; мы подвергаем их и себя его постоянному контролю. Обучая грамотности тех самых людей, которых оно освобождает, мы продолжаем его дело; мы также освобождаем их от другого рабства — от рабства невежества.

Прежде всего, мы должны объявить, что наше общество не имеет и не может иметь целью воспитание народа: такое дело превышает силы какого бы то ни было общества. Мы не имеем подобных притязаний; мы намерены строго ограничиться одним первоначальным, элементарным обучением; мы желаем распространения грамотности в тесном ее смысле. Заводить как можно более школ, пропускать как можно более лиц сквозь эти школы и — прибавим — в наивозможно кратчайшее время (что, конечно, никак не должно мешать основательности получаемых сведений) — вот в чем должна состоять задача нашего общества. Другими словами: мы должны стараться развести как можно более лиц, умеющих читать, писать, знающих закон божий, первые правила арифметики и имеющих

самые первоначальные сведения в истории и географии. Для достижения этой цели общество:

а) само заводит школы;

б) входит в сношения со всеми лицами, желающими заводить школы; предлагает им свое деятельное участие (в особенных, комитетом общества определяемых случаях помогает денежными пособиями), сообщает им по возможно уменьшенным ценам необходимые руководства, а также все добытые опытом педагогические и экономические сведения;

с) само издает эти руководства, а также и другие сочинения для первоначального чтения, перечень которых будет представлен ниже;

д) издает «Ежемесячный вестник», который, помещая на своих страницах предложения и пожертвования членов, их поименный список, отчет о школах, объявления о новых изданиях и мерах — словом, ограничиваясь преимущественно одними статистическими данными, касающимися дела распространения грамотности, будет служить как бы официальным органом деятельности общества {Время покажет, полезно ли будет основать в этом «Вестнике общества» отдел, посвященный научной разработке вопросов, касающихся первоначального обучения.

е) предоставляет себе, при развитии своих трудов, право заводить дешевые кабинеты для чтения, в которых, кроме собственных изданий общества, будут находиться только такие сочинения, строго элементарный характер которых будет соответствовать постоянной и неизменной цели наших усилий.

Мы не намерены входить в подробные объяснения того, каким образом будут устроены школы общества, назначенные, как это явствует из самой сущности дела, для одних приходящих лиц обоюбого пола и всех сословий. Скажем только, что устройство школ будет, по мере возможности, просто, несложно, дешево; что всё в них будет доступно контролю общества, гласности, правительства. При составлении устава нашего общества, а еще более при составлении необходимых инструкций о самых способах обучения и распространения грамотности все подобные вопросы будут разработаны с надлежащею зрелостью; ничего не будет оставлено без внимания, мы воспользуемся и богатствами других стран, опередивших нас на поприще общественной педагогики, и трудами собственных ученых, на деятельное содействие которых мы заранее рассчитываем. Мы полагаем, однако, нужным теперь же указать на этот принцип, которому наше общество будет следовать при издании элементарных книг, о которых было говорено выше и необходимости которых бросается в глаза каждому. Необходимость эта подтверждается, между прочим, целым рядом неудачных, иногда даже вредных попыток народных изданий; отсутствие знаний, определенной цели, отсутствие правильно проведенной системы не могло привести к доброму результату:

за такое дело следует братья осмотрительно и сообща. Нечего и говорить, что составление изданий общества будет поручено нашим лучшим деятелям и подвергнуто возможно строгой оценке. Мы будем постоянно иметь в виду, что наши издания назначаются исключительно для людей, желающих обучиться грамоте, и для людей, только что обучившихся ей; а потому они должны быть:

а) Многочисленны, по мере возможности дешевы, всюду и всякому доступны.

б) Они и содержанием и изложением своим должны соответствовать степени развития того народного слоя, для которого они назначены. Едва ли следует упоминать о совершенной неуместности в них всякого прибауточного и сказочного тона: с народом должно обращаться искренно, честно и с полным уважением.

с) Наконец, самая цель нашего общества ограничивать уже число предметов, которым будут посвящены наши издания. Перечень их следующий: азбука; грамота (в смысле писания); элементарные начертания — законодательства русского относительно прав и обязанностей состояний, арифметики, географии, естественных наук, технологии по всем ее отраслям, земледелия и скотоводства, вообще хозяйства в обширном смысле. Беллетристика допускается только с величайшей осторожностью и не иначе как с общепольного, обучающего целью; сочинения, имеющие предметом один интерес вымысла, не допускаются вовсе; избранные биографии, хорошие описания путешествий получают почти исключительное предпочтение. Одна из главных обязанностей будущих комитетов должна состоять в неуклонном надзоре за этим отделом и в недопускании в него всяких посторонних элементов. Объявить заранее невозможность каких-либо отступлений от этого перечня было бы неуместным; но принцип должен быть сохранен.

О кабинетах для чтения и устройстве их теперь распространяться не для чего: они предвидятся только при дальнейшем развитии общества.

Считаем нужным сказать здесь несколько слов в предупреждение возможных возражений насчет излишней обширности нашей программы, а именно насчет соединения школьного дела с делом издания элементарных книг.

В наших глазах заведение школ стоит на первом плане в вопросе народного просвещения, а издание элементарных книг является уже как необходимое ему подспорье: на неподготовленной почве не взойдут и лучшие семена. Нам прежде всего предстоит создать читателей, а потом дать им возможность продолжать свое образование. Заведение элементарных школ своим, так сказать, первобытным, не литературным, а чисто общественным и нравственным характером привлечет к нам всех желающих блага России, возбудит благородное соревнование во многих

умах, не находивших доселе поприща для своей деятельности. Правительство будет, несомненно, сочувствовать нашим ясным и простым целям; вспомним, что ни одно из европейских правительств не могло, именно в деле элементарного образования, обойтись без содействия частных обществ; вспомним также и то, что наше правительство, в инструкциях г. министра внутренних дел по поводу освобождения крестьян, прямо поставило на вид дворянству пользу и необходимость заведения частных школ. Повторяем: программа наша не страдает излишне обширностью. Деятельность общества проникнута одною мыслью и, — выражаясь двояко: заведением школ и изданием элементарных книг, — стремится к единой цели, которой тем самым вернее достигает.

Мы переходим к беглому изложению способов осуществления общества. Материальные средства, на которые оно должно открыться, будут состоять из ежегодных взносов членов и добровольных пожертвований. Общество намерено отстранить совершенно систему выбора в члены: всякий вносящий minimum определенной платы (мы предлагаем 3 р. сер. в год) тем самым делается членом общества; сверх того, оно приглашает к соучастию все сословия России без исключения, от крестьянина до богатого и знатного человека, и даже может считать в числе своих членов целые сельские общины, если бы они пожелали числиться между его соучастниками под своим собирательным именем. Как на особенную честь для себя будет смотреть общество, если русские женщины всех классов сообразуют принять на себя звание его членов.

Известное количество лиц (мы предлагаем 80), объявивших свое согласие на участие в обществе, уже достаточно для открытия его.

Остается важный пункт, именно — образование центрального комитета, на который возложено будет исполнение предначертаний общества. Здесь представляется необходимость двояких мер и правил: а) для первоначального существования комитета, с исключительной целью устроить возникающее общество и составить инструкции для последующих комитетов с одобрения общего собрания членов; и б) для постоянного его действия. В первом случае меры и правила могут быть изложены довольно кратко:

Принимая во внимание, что центральное управление общества должно непременно находиться в С.-Петербурге, как в месте наиболее удобном для получения административных, статистических и других сведений, и принимая тоже во внимание великую важность, которую имеет и старая наша столица в деле народного образования, программа наша предполагает соединить в одном списке 80 имен, принадлежащих известным деятелям обоих городов. При этом, нам кажется, не может быть и помина о каком-либо самопроизвольном выборе с чьей-либо стороны 80 имен; по 40 в каждом городе будут указаны общественным мнением, их

репутацией и собственным согласием на участие в обществе. Затем предоставляется той и другой столице, в частных собраниях своих, избрать по 8 лиц из сказанных 80 членов, и избранные таким образом 16 человек составят первоначальный комитет, заседающий, как и все последующие комитеты, непременно в С.-Петербурге. Затем уже новосоставленный центральный комитет избирает из среды своей, по большинству голосов, председателя, секретаря, кассира и т. п. Существование как первоначального, так и последующих комитетов не должно превышать одного года, хотя лица, составляющие комитет, могут быть каждый раз вновь избираемы.

Но при развитии общества уже простое чувство справедливости показывает, что привилегия избирать членов в центральный комитет не может быть предоставлена исключительно ни Петербургу, ни Москве, а должна принадлежать в равной степени всем членам общества, на каких бы концах России они ни находились. Вопрос таким образом усложняется, и сыскать меру для разрешения его становится несколько труднее. Мы предлагаем следующий способ:

Не всякий член, сочувствующий цели общества, может принять на себя звание члена комитета, ибо это звание требует многих жертв, как-то: обязательного пребывания в Петербурге в продолжение года и отдачи своего времени и своей деятельности на безвозмездное, в материальном смысле, служение обществу. С другой стороны, не всякий член, желающий воспользоваться правом выбора, имеет возможность наименовать 16 лиц, соединяющих условия, необходимые для комитетской деятельности. Вот почему наша программа, признавая право выбора в комитет за всеми членами общества во всей России, считает наиболее удобным положить следующие правила, облегчающие самый этот выбор: все те лица, которые находятся в положении, позволяющем им принять на себя обязанность комитетского члена, имеют объявить себя кандидатами на это звание, присылая имена свои, за три месяца до выборов, в С.-Петербург, где они будут напечатаны в "Вестнике общества" и опубликованы по всей России. Таким образом, с одной стороны, будет открыта дорога для всех и сохранено равенство прав, а с другой стороны, будет отстранена возможность выбора в комитет лиц, хотя бы и весьма достойных, но не могущих, по положению своему, подчиниться обязанностям, сопряженным с званием комитетского члена; ибо все члены общества, объявившие себя кандидатами, тем самым объявили готовность принять на себя эти обязанности. С помощью вышеозначенного списка члены общества, рассеянные по всей России, будут иметь готовый материал для произведения выборов и к назначенному сроку могут присылать имена своих кандидатов в Петербург, где присланные голоса разбираются не иначе как в общем собрании общества. В публичном затем заседании провозглашаются имена 16 лиц, получивших большинство голосов.

Комитет, составленный этим способом, может, кажется, служить самым верным выражением общих желаний всех членов общества. Нечего опасаться, что немногие пожелают внести свои имена в этот список: состоять в комитете не есть преимущество, а услуга, жертва,— русские люди ни от того, ни от другого не отказываются.

Общие собрания для проверки действий комитета и для выслушания его отчетов созываются ежегодно в день основания общества.

В первом общем собрании будут рассмотрены инструкции, составленные первоначальным комитетом.

Комитет имеет право, в случае необходимости, созывать и экстренные собрания, объявив предварительно вопросы, которые он желает подвергнуть общему обсуждению.

Дальнейшие подробности, как-то: о подразделении комитета на комиссии, об отношении к обществу его агентов, находящихся по губерниям, и т. д. и т. д., предоставляется определить уставу.

NB. Всякого рода возражения или замечания на этот проект с благодарностью будут приняты по следующим двум адресам:

Ивану Сергеевичу Тургеневу, в Париж, *poste restante*;

Павлу Васильевичу Анненкову, в С.-Петербурге — в Демидовском переулке, в доме Висконти.

Ив. Тургенев

Приложение к Проекту программы

Из прилагаемого при сем проекта программы «Общества для распространения грамотности и первоначального образования» вы усмотрите цель моего письма к вам. Эта программа составлена при участии и с согласия нескольких русских, случайно съехавшихся в одном заграничном городе, и представляет только первоначальные черты будущего устройства Общества. Надеюсь, что вы одобрите мысль, которая лежит ей в основании, и захотите посвятить ей и собственные размышления, и беседы с друзьями. Я бы почел себя счастливым, если бы ко времени моего возвращения в Россию (весной 1861 года) предлагаемая мысль получила обработку, достаточную для приведения ее в исполнение. Обращаясь к вам, я не нуждаюсь в громких словах: я и без того уверен, что вы охотно согласитесь принять участие в деле подобной важности, или, по крайней мере, выразите свое воззрение на него. Я уверен также, что вы не откажетесь распространять списки прилагаемой программы. Предприятие наше касается всей России; нам нужно знать, по возможности, мнение всей России, о чем с искренней благодарностью получил бы я всякое возражение или замечание. Мой адрес: Париж, *poste restante*.

Остаюсь с сердечным и полным уважением, преданный вам

И. Тургенев

Париж, 15 сентября 1860 г.

БАЛЕТ

Дианы грудь, ланиты Флоры
Прелестны, милые друзья,
Но, каюсь, ножка Терпсихоры
Прелестней чем-то для меня;
Она, пророчествуя взгляду
Неоцененную награду,
Влечет условною красой
Желаний своевольный рой...

А.С. Пушкин

Свирепеет мороз ненавистный.
Нет, на улице трудно дышать.
Муза! нынче спектакль бенефисный,
Нам в театре пора побывать.
Мы вошли среди криков и плеска.
Сядем здесь. Я боюсь первых мест,
Что за радость ослепнуть от блеска
Генеральских, сенаторских звезд.
Лучезарней румяного Феба
Эти звезды: заметно тотчас,
Что они не нахватаны с неба —
Звезды неба не ярки у нас.
Если б смелым, бестрепетным взглядом
Мы решились окинуть тот ряд,
Что зовут «бриллиантовым рядом»,
Может быть, изощренный наш взгляд
И открыл бы предмет для сатиры
(В самом солнце есть пятнышки). Но —
Немы струны карающей лиры,
Вихорь жизни порвал их давно
Знайте, люди хорошего тона,
Что я сам обожаю балет.
«Пораженным стрелой Купидона»
Не насмешка — сердечный привет!
Понапрасну не бейте тревогу!
Не коснись ни военных чинов,
Ни на службе крылатому богу
Севших на ноги статских тузов.
Накрахмаленный денди и щеголь

(То есть: купчик— кутила и мот)
И мышинный жеребчик (так Гоголь
Молодящихся старцев зовет),
Записной поставщик фельетонов,
Офицеры гвардейских полков
И безличная сволочь салонов —
Всех молчаньем прейти я готов!
До балета особенно страстны
Армянин, персиянин и грек,
Посмотрите, как лица их красны
(Не в балете ли весь человек?),
Но и их я оставлю в покое,
Никого не желая сердить.
Замышляю я нечто другое —
Я загадку хочу предложить.
В маскарадной и в оперной зале,
За игрой у зеленых столов,
В клубе, в думе, в манеже, на бале,
Словом: в обществе всяких родов,
В наслажденье, в труде и в покое,
В блудном сыне, в почтенном отце, —
Есть одно — *угадайте, какое?*—
Выраженье на русском лице?..
Впрочем, может быть, вам недосужно.
Муза! дай — если можешь — ответ!
Спору нет: мы различны наружно,
Тот чиновник, а этот корнет,
Тот помешан на тонком приличье,
Тот играет, тот любит поесть,
Но взглядишь: при наружном различье
В нас единство глубокое есть:
Нас безденежье всех уравнило —
И великих, и малых людей —
И на каждом челе начертало
Надпись: «Где бы занять поскорей?»
Что, не так ли?..
История та же,
Та же дума на каждом лице,
Я на днях прочитал ее даже
На почтенном одном мертвце.
Если старец игрив чрезвычайно,
Если юноша вешает нос —
Оба, верьте мне, думают тайно:

Где бы денег занять? вот вопрос!
Вот вопрос! Напряженно, тревожно
Каждый жаждет его разрешить,
Но занять, говорят, невозможно,
Невозможнее долг получить.
Говорят, никаких договоров
Должники исполнять не хотят;
Генерал-губернатор Суворов
Держит сторону их — говорят...
Осуждают юристы героя,
Но ты прав, охранитель покоя
И порядка столицы родной!
Может быть, в должговом отделенье
Насиделось бы всё население,
Если б был губернатор другой!
Разорило чиновников чванство,
Прожила за границу знать,
Отчего оголело дворянство,
Неприятно и речь затевать!
На цветы, на подарки актрисам,
Правда, деньги еще достаем,
Но зато пред иным бенефисом
Рубль на рубль за неделю даем.
Как же быть? Не дешевая школа
Поощрение граций и муз...
Вянет юность обоего пола,
Терпит даже семейный союз:
Тщетно юноши рыщут по балам,
Тщетно барышни рядятся в пух —
Вовсе нет стариков с капиталом,
Вовсе нет с капиталом старух!
Сокрушаются Никольс и Плинке,⁵²
Без почину товар их лежит,
Сбыта нет самой модной новинке
(Догадитесь — откройте кредит!),
Не развоят картонок нарядных
Изомбар, Андрие и Мошра,⁵³
А звонят у подъездов парадных
С неоплаченным счетом с утра.
Что модистки! злосчастные прачки
Ходят месяц за каждым рублем!
Опустели рысистые скачки,
Жизни нет за зеленым столом.

Кто, бывало, дуря с азарту,
Кряду игрывал по сту ночей,
Пообедав, поставит на карту
Злополучных пятнадцать рублей
И уходит походкой печальной
В думу, в земство и даже в семью
Отводить болтовней либеральной
Удрученную душу свою.
С богом, друг мой! В любом комитете
Побеседовать можешь теперь
О кредите, о звонкой монете,
Об «итогах» дворянских потерь,
И о «брате» в нагальном тулупе,
И о том, за какие грехи
Нас журналы ругают и в клубе
Не дают нам стерляжьей ухи!
Там докажут тебе очевидно,
Что карьера твоя решена!
Да! трудненько и даже обидно
Жить, — такие пришли времена!
Купишь что-нибудь — дерзкий приказчик
Ассигнацию щупать начнет
И потом, опустив ее в ящик,
Долгим взором тебя обведет, —
Так и треснул бы!..
Впрочем, довольно!
Продолжать бы, конечно, я мог,
Факты есть, но касаться их больно!
И притом сохрани меня бог,
Чтоб я стих мой подделкою серий
И кредитных бумаг замарал, —
«Будто нет благородней материй?» —
Мне отечески «некто» сказал.
С этим мнением вполне я согласен,
Мир идей и сюжетов велик:
Например, как волшебно прекрасен
Бельэтаж — настоящий цветник!
Есть в России еще миллионы,
Стоит только на ложи взглянуть,
Где уселись банкирские жены, —
Сотня тысяч рублей, что ни грудь!
В жемчуге лебединые шеи,
Бриллиант по ореху в ушах!

В этих ложах — мужчины евреи,
Или греки, да немцы в крестах.
Нет купечества русского (стужа
Напугала их, что ли?) Одна
Откупщица, втянувшая мужа
В модный свет, в бельэтаже видна.
Весела ты, но в этом веселье
Можно тот же вопрос прочитать.
И на шее твоей ожерелье —
Погодила б ты им щеголять!
Пусть оно красоты идеальной,
Пусть ты в нем восхитительна, но —
Не затих еще шепот скандальный,
Будто было в закладе оно:
Говорят, чтобы в нем показаться
На каком-то парадном балу, —
Перед гнусным менялой валяться
Ты решила на грязном полу,
И когда возвращалась ты с бала,
Ростовщик тебя встретил — и снял
Эти перлы... Не так ли достала
Ты опять их?.. Кредит твой упал,
С горя запил супруг сокрушенный,
Бог бы с ним! Расставаться тошней
С этой чопорной жизнью салонной
И с разгулом интимных ночей,
С этим золотом, бархатом, шелком,
С этим счастьем послов принимать.
Ты готова бы с бешеным волком
Покумиться, — чтоб снова блистать,
Но свершились пути провиденья.
Всё погибло — и деньги, и честь!
Нисходи же ты в область забвенья
И супругу дай дух перевести!
Слаще пить ему водку с дворецким,
«Не белы-то снега» распевать,
Чем возиться с посольством турецким
И в ответ ему глупо мычать...
Тешить жен — богачам не забота,
Им простительна всякая блажь.
Но прискорбно душе патриота,
Что чиновницы рвутся туда ж.
Марья Савишна! вы бы надели

Платье проще! — Ведь как ни рядись,
Не оденетесь лучше камелий
И богаче французских актрис!
Рассчитайтесь, сударыня, с прачкой
Да в хозяйство прикиньте хоть грош,
А то с дочерью, с мужем, с собачкой
За полтину обед не хорош!
Марья. Савишна глаз не спускала
Между тем с старика со звездой.
Вообще в бельэтаже сияло
Много дам и девиц красотой.
Очи чудные так и сверкали,
Но кому же сверкали они?
Доблесть, молодость, сила — пленяли
Сердце женское в древние дни.
Наши девы практичней, умнее,
Идеал их — телец золотой,
Воплощенный в седом иудее,
Потрясающем грязной рукой
Груды золота...
Время антракта
Наконец-то прошло как-нибудь.
(Мы зевали два первые акта,
Как бы в третьем совсем не заснуть.)
Все бинокли приходят в движенье —
Появляется кордебалет.
Здесь позволю себе отступление:
Соответственной живости нет
В том размере, которым пишу я,
Чтобы прелесть балета воспеть.
Вот куплеты: попробуй, танцуя,
Театрал, их под музыку петь!
Я был престранных правил,
Поругивал балет.
Но раз бинокль подставил
Мне генерал-сосед.
Я взял его с поклоном
И с час не возвращал,
«Однако, вы — *астроном!*» —
Сказал мне генерал.
Признаться, я немножко
Смутился (о профан!)
— Нет... я... но эта ножка...

Но эти плечи... стан...—
Шептал я генералу,
А он, смеясь, в ответ:
«В стремление к идеалу
Дурного, впрочем, нет.
Не всё ж читать вам Бокля!
Не стоит этот Бокль
Хорошего бинокля...
Купите-ка бинокль!...»
Купил! — и пред балетом
Я преклонился ниц.
Готов я быть поэтом
Прелестных танцовщиц!
Как не любить балета?
Здесь мирный гражданин
Позабывает лета,
Позабывает чин,
И только ловят взоры
В услужливый лорнет
Что «ножкой Терпсихоры»
Именовал поэт.
Не так следит астроном
За новою звездой,
Как мы... но для чего нам
Смеяться над собой?
В балете мы наивны,
Мы глупы в этот час:
Почти что конвульсивны
Движения у нас:
Вот выпорхнула дева,
Бинокли поднялись;
Взвилася ножка влево —
Мы влево подались;
Взвилася ножка вправо —
Мы вправо... «Берегись!
Не вывихни сустава,
Приятель!...» — Фора! bis! —

Bis!.. Но девы, подобные ветру,
Улетели гирляндой цветной!
(Возвращаясь к прежнему метру):
Пантомимного сценой большой
Утомились мы; вальс африканский

Тоже вышел топорен и вял,
Но явилась в рубахе крестьянской
Петипа — и театр застонал!
Вообще мы наклонны к искусству,
Мы его поощряем, но там,
Где есть пища народному чувству,
Торжество настоящее нам;
Неужели молчать славянину,
Неужели жалеть кулака,
Как Бернарди затянет «Лучину»,
Как пойдет Петипа трепака?..
Нет! где дело идет о народе,
Там я первый увлечься готов.
Жаль одно: в нашей скудной природе
На венки не хватает цветов!
Всё — до ластовиц белых в рубахе —
Было верно: на шляпе цветы,
Удаль русская в каждом размахе...
Не артистка — волшебница ты!
Ничего не видали вовеки
Мы сходней: настоящий мужик!
Даже немцы, евреи и греки,
Русофилствуя, подняли крик.
Всё слилось в оглушительном «браво»,
Дань народному чувству платя.
Только ты, моя Муза! Лукаво
Улыбаешься... Полно, дитя!
Неуместна здесь строгая дума,
Неприлична гримаса твоя...
Но молчишь ты, скучна и угрюма...
Что ж ты думаешь, Муза моя?..
На конек ты попала обычный —
На уме у тебя мужики,
За которых на сцене столичной
Петипа пожинает венки,
И ты думаешь: «Гурия рая!
Ты мила, ты воздушно легка,
Так танцуй же ты „Деву Дуная“,
Но в покое оставь мужика!
В мерзлых лапотках, в шубе нагольной,
Весь заиндевав, сам за себя
В эту пору он пляшет довольно,
Зиму дома сидеть не любя.

Подстрекаемый лютым морозом,
Совершая дневной переход,
Пляшет он за скрипучим обозом,
Пляшет он — даже песни поет!..»
А то есть и такие обозы
(Вот бы Роллер нам их показал!) —
В январе, когда крепки морозы
И народ уже рекрутов сдал,
На Руси, на проселках пустынных
Много тянется поездов длинных...
Прямоком через реки, поля
Едут путники узкой тропой:
В белом саване смерти земля,
Небо хмурое, полное мглою.
От утра до вечерней поры
Всё одни пред глазами картины.
Видишь, как, обнажая бугры,
Ветер снегом заносит лощины;
Видишь, как эта снежная пыль,
Непрерывной волной набегая,
Под собой погребает ковыль,
Всегубящей зиме помогая;
Видишь, как под кустом иногда
Припорхнет эта малая пташка,
Что от нас не летит никуда —
Любит скудный наш север, бедняжка!
Или, щелкая, стая дроздов
Пролетит и посядет на ели;
Слышишь дикие стоны волков
И визгливое пенье метели...
Снежно — холодно — мгла и туман...
И по этой унылой равнине
Шаг за шагом идет караван
С седоками в промерзлой овчине.

Как немые, молчат мужики,
Даже песня никем не поется,
Бабы спрятали лица в платки,
Только вздох иногда пронесется
Или крик: «Ну! чего отстаешь? —
Седоком одним меньше везешь!..»

Но напрасно мужик огрызается.

Кляча еле идет — упирается;
Скрипом, визгом окрестность полна.
Словно до сердца поезд печальный
Через белый покров погребальный
Режет землю — и стонет она,
Стонет белое снежное море...
Тяжело ты — крестьянское горе!

Ой ты кладь, незаметная кладь!
Где придется тебя выгружать?..

Как от выстрела дым расплзается
На заре по росистым травам,
Это горе идет — подвигается
К тихим селам, к глухим деревням.
Вон — направо — избенки унылые,
Отделилась подвода одна,
Кто-то молвил: «Господь с вами, милые!»
И пропала в сугробах она...
Чу! Клячонку хлестнул старичина...
Эх! чего ты торопишь ее!
Как-то ты, воротившись без сына,
Постучишься в окошко свое?..
В сердце самое русского края
Доставляется кладь роковая!
Где до солнца идет за порог
С топором на работу кручина,
Где на белую скатерть дорог
Поздним вечером светит лучина,
Там найдется кому эту кладь
По суровым сердцам разобрать,
Там она приютится, попрячется —
До другого набора проплачется!

КНИЖНОСТЬ И ГРАМОТНОСТЬ

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Читать, читать, а после — хватать!
Фамусов. «Горе от ума»

В прошлом и в нынешнем году много говорили у нас, и в литературе и в обществе, о необходимости книги для народного чтения. Делались попытки издания такой книги, предлагались проекты, чуть ли не назначались премии. «Отечественные записки» напечатали в своей февральской книжке проект «Читальника», то есть книги для народного чтения, и почти с укоризною обращались к нашим литераторам: вот, дескать, мы напечатали проект «Читальника», а кто отзовется на этот проект? хоть бы кто из литераторов сказал о нем свое мнение. Мы именно хотим теперь заняться этим разбором. Но прежде чем мы приступим к нему, скажем несколько слов и о любопытном общественном явлении, именно о появлении подобных проектов и о всеобщих хлопотах высшего общества образовывать низшее. Мы говорим: «всеобщих», потому что *настоящее* высшее, то есть прогрессивное, общество всегда увлекало за собой большинство всех высших классов русского общества, и потому если и есть теперь несогласные на народное образование, то их скоро не будет: все увлекутся за прогрессивным большинством, и если останутся крайние упорные, то замолчат от бессилия.

Мы потому говорим об этом так *наверно*, что в обществе постиглась наконец полная необходимость всенародного образования. Постиглась же потому, что само общество дошло до этой идеи как до необходимости, увидело в ней элемент и собственной жизни, условие собственного дальнейшего существования. Мы этому рады: мы говорили еще в объявлении о нашем журнале: «Грамотность прежде всего, грамотность и образование усиленные — вот единственное спасение, единственный передовой шаг, теперь остающийся и который можно теперь сделать. Мало того: даже при возможности и других шагов грамотность и образование все-таки остаются единственным первым шагом, который *надо* и должно сделать». Мы обещались особенно стоять за грамотность, потому что в распространении ее заключается единственное возможное соединение наше с нашей родной почвой, с народным началом. Мы сознали необходимость этого соединения, потому что не можем существовать без него; мы чувствуем, что истратили все наши силы в отдельной с народом жизни, истратили и попортили воздух, которым дышали, задыхаясь от недостатка его и похожи на рыбу, вытасченную из

воды на песок. Но обо всем этом скажем подробнее после. Обратим сперва внимание на факт, в высшей степени поразительный и знаменательный, на факт, имеющий даже глубокое историческое значение в русской жизни, поразивший нас уже давно, но проявившийся теперь в чрезвычайно резком явлении. Мы говорили об этом факте и прежде. Теперь же видим яркое доказательство того, что мы не ошибались в его существовании.

Этот факт — глубина пропасти, разделяющей наше цивилизованное «по-европейски» общество с народом. Посмотрите: как дошло до дела, то и оказалось, что мы даже не знаем, с чем и подступить к народу. Явилась идея о всенародном образовании: вследствие этой идеи явилась потребность в книге для народного чтения, и вот мы становимся совершенно в тупик. Задача в том: как составить такую книгу? Что именно дать народу читать? Не говорим уже о том, что мы все как-то уж молча, безо всяких лишних слов, разом сознали, что всё написанное нами, вся теперешняя и прежняя литература, не годится для народного чтения.

Верно это или нет — другой вопрос; ясно только то, что мы все как будто согласились без спора, что народ в ней ровно ничего не поймет. А согласившись в том, мы все безмолвно признали факт разъединения нашего с народом.

«В этом факте ровно ничего нет особенно поражающего, — могут нам ответить. — Дело ясное: один класс образованный, другой нет. Необразованный класс не поймет образованного с первого разу. Это случалось и случается всегда и везде, и тут нет никакого особенного значения».

Положим так, мы теперь не будем спорить об этом. Но *мы* все-таки до сих пор не придумали, что дать народу читать. Это как вам покажется? Ведь надо же согласиться, что промахи наши в этом случае пресмешные, удивительные. Посмотрите на все проекты народных «читальников» (уж одно то, что об этом пишут проекты!). Написаны они людьми умными и добросовестными; а между тем — ошибка на ошибке. Некоторые же ошибки доходят до комического.

А между тем, опять повторяем, все эти читальники, все эти проекты пишутся у нас литераторами опытными и талантливыми. Иные из них приобрели себе славу знатоков народной жизни. Что ж они до сих пор сделали?

Скажем более: мы, с своей стороны, в высочайшей степени уверены, что даже самые лучшие наши «знатоки» народной жизни до сих пор в полной степени не понимают, как широка и глубока сделалась яма этого разделения нашего с народом, и не понимают по самой простой причине: потому что никогда не жили с народом, а жили другою, особенною жизнью. Нам скажут, что смешно представлять такие причины, что все их знают. Да, говорим мы, все знают; но знают отвлеченно. Знают, например, что жили отдельной жизнью; но если б узнали, до какой степени

эта жизнь была отдельна, то не поверили бы этому. Не верят и теперь. Те, которые действительно изучали народную жизнь, даже *жили* с народом, то есть жили с ним не в особой помещичьей усадьбе, а рядом с ним, в их избах жили, *смотрели* на его нужды, видели все его особенности, прочувствовали его желания, узнали его воззрения, даже склад его мыслей и проч. и проч. Они ели вместе с народом, его же пищу; другие даже *пили* с ним. Наконец, есть и такие, которые даже вместе с ним работали, то есть работали его же простонародную работу. Хоть мало таких, да есть. И что ж? Эти люди вполне убеждены, что они знают народ. Они даже засмеются, если мы будем им противоречить и скажем им: «Вы, господа, знаете одну внешность; вы очень умны, вы много заметили, но настоящей жизни, сущности жизни, сердцевины ее вы не знаете». Простолудин будет говорить с вами, рассказывать вам о себе, смеяться вместе с вами; будет, пожалуй, плакать перед вами (хоть и не с вами), но никогда не сочтет вас за своего. Он никогда серьезно не сочтет вас за своего родного, за своего брата, за своего настоящего *посконного* земляка. И никогда, никогда не будет он с вами доверчив. Пусть сами вы оденетесь (или судьба вас оденет) во всё посконное, пусть вы будете даже работать вместе с ним и нести все труды его, он и этому не поверит. Бессознательно не поверит, то есть не поверит, если б даже и хотел поверить, потому что эта недоверчивость вошла в плоть и кровь его.

Разумеется, причина тому, во-первых, вся предыдущая наша история, во-вторых, взаимная слишком долголетняя отвычка друг от друга, основанная на разности интересов наших. Доверенность народа теперь надо заслужить; надо его полюбить, надо пострадать, надо преобразиться в него вполне. Умеем ли мы это? Можем ли это сделать, доросли ли до этого?

Наш ответ: дорастаем и дорастем. Мы оптимисты, мы верим. Русское общество должно соединиться с народною почвой и принять в себя народный элемент. Это необходимое условие его существования; а когда что-нибудь стало насущною необходимостью, то, разумеется, сделается.

Да, но как это делается?

В нынешнем году правительство высочайшим манифестом даровало народу новые права. Таким образом призвало его к наибольшей самостоятельности и самодеятельности, одним словом, — к развитию. Мало того, оно до половины завалило ров, разделявший нас с народом, остальное сделает жизнь и многие условия, которые теперь необходимо войдут в самую сущность будущей народной жизни. В то же время высшее общество, прожив своего эпоху сближения с Европой, свою эпоху цивилизации, почувствовало само собою необходимость обращения к родной почве. Эта необходимость предчувствовалась уже задолго прежде и, при первой возможности выразиться, — выразилась. Оба исторические явления совершились вместе и пойдут параллельно.

Кстати, наши журналы в последнее время довольно много толковали о народности. Особенно выходили из себя «Отечественные записки». «Русский вестник», вступив благополучно на свою новую, болгаринскую, дорогу, дошел наконец до того, что, по свидетельству «Отечественных записок», усомнился даже в существовании русской народности.

И кто же вознегодовал на «Русский вестник», кто серьезно начал защищать и отстаивать перед ним действительность русской народности, то есть доказывать ему, что она существует? — «Отечественные записки», те самые «Отечественные записки», которые *ничего* не признают народного в Пушкине. Что за комизм! Между прочим, «Отечественные записки» говорят: «Мысль, сказанная нами год назад (то есть что в Пушкине ничего нет народного), не была плодом того ярого журнального раздражения, которое многих заставляет говорить вещи дикие, лишь бы обратить на себя внимание: этим промыслом, слава богу, мы не имеем надобности заниматься».

О боже мой! верим, вполне верим. Вы так *добродушно* напали на Пушкина и с таким *добродушием*, вот уже целый год, попрекаете литераторов в том, что на статью вашу не обращают серьезного внимания, что мы никаким образом не можем принять вас за ярого Герострата или кого-нибудь в этом роде. Такая слава вам не нужна. Вы люди «ученые», вам дороже всего *«истина»*. По-нашему — вы просто немецкие гелертеры, переложенные на петербургские нравы, серьезно отыскивающие с фонарем в руках русскую народность, которая от вас спряталась, и не видящие, что у вас происходит под самым носом.

А что, если к довершению комизма, покамест вы будете спорить с «Русским вестником» и доказывать ему, что есть русская народность, а он обратно, что нет русской народности, — что, если вдруг русская народность возьмет да найдет вас сама? Куда денутся тогда все аглицкие теории «Русского вестника» и *аглицкие* масштабы, под которые не подходила русская народность! Воображаю я и защитника ее в «Отечественных записках». Он будет чрезвычайно удивлен.

— Но ведь это не русская народность? — скажет он, смотря ей прямо в глаза.

— Нет-с, это русская народность, — кто-нибудь ответит ему.

— Гм! «может быть да, а может быть нет»; во всяком случае я не узнаю ее.

— Очень может быть, но только это она.

— Гм! Неужели?

— Как-то не верится... Во-первых, обусловлено ли это явление? Совпадает ли оно с известными и принятыми наукой принципами? Между прочим, г-н Буслаев говорит в своей книге.

И так далее, и так далее. Одним словом, повторяется случай с «метафизиком».

Да, они метафизики. Нам говорят (и мы не один раз это слышали), что «Отечественным запискам» отвечать стыдно. Почему? что за аристократизм? Нам говорят, что нельзя говорить с теми, которые самых простых вещей не понимают, языка русского не понимают, так как нельзя говорить с слепыми о цветах, с глухими о музыке.

Положим так: с слепыми трудно говорить о цветах; но мы ведь вовсе не хотим разуверять и переубеждать *ученый* журнал. Мы говорим для публики. Признаемся, мы намерены даже тиснуть особую статью в ответ на все мнения г-на Дудышкина. Конечно, отвечать г-ну Дудышкину чрезвычайно *трудно*, но ведь без труда ничего не делается...

Вообразите, например, хоть бы образ русского летописца в «Борисе Годунове». Вам вдруг говорят, что в нем нет ничего русского, ни малейшего проявления народного духа, потому что это лицо выдуманное, сочиненное; потому что никогда не бывало у нас, при царях московских, таких уединенных, независимых монахов-летописцев, которые умерли для света и для которых истина в их елейном смиренномудром прозрении стала дороже всего; летописцы, говорят нам, были люди чуть не придворные, любившие интригу и тянувшие в известную сторону. Да хоть бы и так, вскрикиваете вы в удивлении: неужели пушкинский летописец, хоть бы и выдуманный, — перестает быть верным древнерусским лицом? Неужели в нем нет элементов русской жизни и народности, потому что он исторически неверен? А поэтическая правда? Стало быть, поэзия игрушка? Неужели Ахиллес не действительно греческий тип, потому что он как лицо, может быть, никогда и не существовал? Неужели «Илиада» не народная древнегреческая поэма, потому что в ней все лица явно пересозданные из народных легенд и даже, может быть, просто выдуманные?

А ведь «Отечественные записки» сплошь да рядом щеголяют подобными доказательствами. Ну что после этого им отвечать, когда главного-то дела, сердцевины-то дела они не понимают?

Онегин, например, у них тип не народный. В нем нет ничего народного. Это только портрет великосветского шалопая двадцатых годов.

Попробуйте поспорить.

— Как не народный? — говорим, например, мы. Да где же и когда так вполне выразилась русская жизнь той эпохи, как в типе Онегина? Ведь это тип исторический. Ведь в нем до ослепительной яркости выражены именно все те черты, которые могли выразиться у одного только русского человека в известный момент его жизни, — именно в тот самый момент, когда цивилизация в первый раз ощутилась нами как жизнь, а не как прихотливый прививок, а в то же время и все недоумения, все странные, неразрешимые по-тогдашнему вопросы, в первый раз, со всех сторон, стали осаждать русское общество и проситься в его сознание. Мы в недоумении

стояли тогда перед европейской дорогой нашей, чувствовали, что не могли сойти с нее как от истины, принятой нами безо всякого колебания за истину, и в то же время, в первый раз, настоящим образом стали сознавать себя русскими и почувствовали на себе, как трудно разрывать связь с родной почвой и дышать чужим воздухом...

— Да с какой стати вы находите это всё в Онегине? — прерывают нас *ученые*. — Разве это в нем есть?

— А как же? разумеется, есть... Онегин именно принадлежит к той эпохе нашей исторической жизни, когда чуть не впервые начинается наше томительное сознание и наше томительное недоумение, вследствие этого сознания, при взгляде кругом. К этой эпохе относится и явление Пушкина, и потому-то он первый и заговорил самостоятельным и *сознательным* русским языком. Тогда мы все вдруг стали презирать и увидели в окружающей русской жизни явления странные, не подходящие под так называемый европейский наш элемент, и в то же время не знали, хорошо ли это или дурно, уродливо или прекрасно? Это было первым началом той эпохи, когда наши передовые люди резко разделились на две стороны и потом горячо вступили в междоусобный бой. Славянофилы и западники ведь тоже явление историческое и в высшей степени народное. Ведь не из книжек же произошла сущность их появления? Как вы думаете? Но при Онегине всё это еще только едва сознавалось, едва предугадывалось. Тогда, то есть в эпоху Онегина, мы с удивлением, с благоговением, а с другой стороны — чуть не с насмешкой стали впервые понимать, что такое значит быть русским, и, к довершению странности, всё это случилось именно тогда, когда мы только что начали настоящим образом сознавать себя европейцами и поняли, что мы тоже должны войти в общечеловеческую жизнь. Цивилизация принесла плоды, и мы начали кое-как понимать, что такое человек, его достоинство и значение, — разумеется, по тем понятиям, которые выработала Европа. Мы поняли, что и мы можем быть европейцами не по одним только кафтанам и напудренным головам. Поняли и — не знали, что делать? Мало-помалу мы стали понимать, что нам и нечего делать. Самодетельности для нас не оставалось никакой, и мы бросились с горя в скептическое саморассматривание, саморазглядывание. Это уже не был холодный, наружный, кантемировский или фонвизинский скептицизм. Скептицизм Онегина в самом начале своем носил в себе что-то трагическое и отзывался иногда злобной иронией. В Онегине в первый раз русский человек с горечью сознает или, по крайней мере, начинает чувствовать, что на свете ему нечего делать. Он европеец: что ж привнесет он в Европу, и нуждается ли еще она в нем? Он русский: что же сделает он для России, да еще понимает ли он ее? Тип Онегина именно должен был образоваться впервые в так называемом высшем обществе нашем, в том обществе, которое наиболее отрешилось от почвы и где внешность цивилизации достигла высшего своего развития. У Пушкина

это чрезвычайно верная историческая черта. В этом обществе мы говорили на всех языках, праздно ездили по Европе, скучали в России и в то же время сознавали, что мы совсем не похожи на французов, немцев, англичан, что тем есть дело, а нам никакого, они у себя, а мы — нигде.

Онегин — член этого цивилизованного общества, но он уже не уважает его. Он уже сомневается, колеблется; но в то же время в недоумении останавливается перед новыми явлениями жизни, не зная, поклониться ли им, или смеяться над ними. Вся жизнь его выражает эту идею, эту борьбу.

А между тем, в сущности, душа его жаждет новой истины. Кто знает, он, может быть, готов броситься на колена перед новым убеждением и жадно, с благоговением принять его в свою душу. Этому человеку не устоять; он не будет никогда прежним человеком, легкомысленным, не сознающим себя и наивным; но он ничего и не разрешит, не определит своих верований: он будет только страдать. Это первый страдалец русской сознательной жизни.

Русская жизнь, русская природа пахнула на него всем обаянием своим. Прошла перед ним и русская девушка — тип единственный до сих пор во всей нашей поэзии, перед которым с такою любовью преклонилась душа Пушкина как перед родным русским созданием. Онегин не узнал ее и, как следует, сначала поломался над ней, отчасти оказался и хорошим человеком, и сам не знал, что сделал: хорошо или дурно? Зато он очень хорошо знал, что сделал дурно, застрелив Ленского. Начинаются его мучения, его долгая агония. Проходит молодость. Он здоров, силы просятся наружу. Что делать? за что взяться? Сознание шепчет ему, что он пустой человек, злобная ирония шевелится в душе его, и в то же время он сознает, что он и не пустой человек: разве пустой может страдать? Пустой занялся бы картами, деньгами, чванством, волокитством. Чего ж он страдает? Оттого, что нельзя ничего делать? Нет, это страдание достанется другой эпохе. Онегин страдает еще только тем, что не знает, что делать, не знает даже, что уважать, хотя твердо уверен, что есть что-то, которое надо уважать и любить. Но он озлобился, и не уважает ни себя, ни мыслей, ни мнений своих; не уважает даже самую жажду жизни и истины, которая в нем; он чувствует, что хоть она и сильна, но он ничем для нее не пожертвовал, — и он с иронией спрашивает: чем же ей жертвовать, да и *зачем?* Он становится эгоистом и между тем смеется над собой, что даже и эгоистом быть не умеет. О, если б он был настоящим эгоистом, он бы успокоился!

Чего мне ждатель? тоска, тоска! —

воскликает это дитя своей эпохи среди неразрешимых сомнений, странных колебаний, невыяснившихся идеалов, погибшей веры в прежние идолы, детских предрассудков и неутомимой веры во что-то новое, неизвестное, но непременно существующее и никаким скептицизмом,

никакой иронией не разбиваемое. Да! это дитя эпохи, это вся эпоха, в *первый раз* сознательно на себя взглянувшая. Нечего и говорить, до какой полноты, до какой художественности, до какой обаятельной красоты всё это — русское, паше, оригинальное, непохожее ни на что европейское, народное. Этот тип вошел, наконец, в сознание всего нашего общества и пошел перерождаться и развиваться с каждым новым поколением. В Печорине он дошел до неутолимой, желчной злобы и до странной, в высшей степени оригинально русской противоположности двух разнородных элементов: эгоизма до самообожания и в то же время злобного самонеуважения. И всё та же жажда истины и деятельности, и всё то же вечно роковое *«нечего делать»!* От злобы и как будто на смех Печорин бросается в дикую, странную деятельность, которая приводит его к глупой, смешной, ненужной смерти.

И всё ведь это действительная правда, повторялось *действительно* в нашей жизни. Явилась потом смеющаяся маска Гоголя, с страшным могуществом смеха, — с могуществом, не выражавшимся так сильно еще никогда, ни в ком, нигде, ни в чьей литературе с тех пор, как создалась земля. И вот после этого смеха Гоголь умирает пред нами, уморив себя сам, в бессилии создать и в точности определить себе идеал, над которым бы он мог не смеяться. Но время идет вперед, и последняя точка нашего сознания достигнута. Рудин и Гамлет Щигровского уезда уже не смеются над своей деятельностью и своими убеждениями: они веруют, и эта вера спасает их. Они только смеются иногда над самими собою, они еще не умеют уважать себя, но они уже почти не эгоисты. Они много, бескорыстно выстрадали... В наше время прошли уж и Рудины...

— Да помиуйте! — восклицает ученый журнал, — где же, в чем тут народность?

— Как народность? — говорим мы, разинув рот от недоумения.

— Ну да, русская народность! — говорит г-н Краевский, стараясь помочь г-ну Дудышкину, — ну там сказки, песни, легенды, предания... ну и всё прочее...

— То есть не совсем то, — поспешно прерывает г-н Дудышкин своего достойного сотрудника по критической части, — а вот что: вся ли Русь исповедует элементы поэзии Пушкина, или только мы, одни, образованные? Ведь народный поэт носит в себе и политические, и общественные, и религиозные, и семейные убеждения народа? Ну что ж это за народный поэт, если ничего из его поэзии не проникло в народ, в *настоящий* народ?

— А вот и договорились! Так, стало быть, вы уж не признаете и за народ высшее общество, так называемых «образованных»? Что ж они, по-вашему, — уж и не русские? Да что за дело *в этом случае*, что народ государственным переворотом так резко разделился на две половины? Вся разница в том, что одна половина образованная, другая нет. Ведь

образованная половина доказала же, что она тоже русская, тот же народ; ведь дошла же она до мысли о соединении с народным началом. А так как эта образованная половина более развита, более сознает, чем необразованная, то в ней и явился народный поэт. А вам бы хотелось такого народного поэта, который заговорил бы прямо народным языком, прежде совершившегося в народе процесса развития и сознания? Да когда же и где это бывало? Трудно и представить себе такого поэта. Если у французов есть, например, Беранже, то разве он для всего народа поэт? Он поэт только парижан: огромное большинство французов и не знает, и не понимает его, потому что не развито и не может понять, а сверх того, исповедует и другие интересы. А если Беранже все-таки не так далек от сознания не понимающего его большинства, как у нас Пушкин от простонародья, то это потому, что подобного исторического раздвоения народа, как у нас, во Франции не было. Да позвольте, наконец: вы, кажется, прямо определяете народность — простонародностью? Неудивительно после того, что вас никто не понимает. Почему, с какой стати народность может принадлежать только одной простонародности? Разве с развитием народа исчезает его народность? Разве мы, «образованные», уж и не русский народ? Нам кажется, даже напротив: с развитием народа развиваются и крепнут все дары его природы, все богатства ее, и дух народа еще ярче выступает наружу. Разве во времена Перикла греки были уже не греки, как триста лет назад? Вы думаете, мы себе противоречим, доказывая необходимость возвратиться к народному началу, то есть сами признаемся, что мы немцы, а не русские? Ничуть; мы именно тем-то и доказали, что мы русские, что признаем необходимость воротиться на родную почву. Мы сознали только, что мы разъединились чисто внешними обстоятельствами. Эти внешние обстоятельства не давали остальной массе народа следовать за нами и таким образом привнести в нашу деятельность все силы русского народного духа. Мы сознаем только то, что мы слишком уединенная и маленькая кучка, и если народ не пойдет вслед за нами, по той же дороге, то нам нельзя будет вполне себя выразить, и мы выразим себя слишком односторонне, слабосильно и даже — смело можно сказать — даже не так, как выразили бы мы себя, если б весь русский народ был с нами. Но из этого еще не следует, чтоб мы потеряли народный дух, чтобы мы переродились? Почему же мы не народ? Почему вы лишаете нас этого почетного названия?

Нет, вы неправы. Вы правы только в одном: что мы не весь народ, а только часть его; но Пушкин, бывши поэтом этой части народа, был в то же время и народный поэт: это бесспорно. Вам ато непонятно? Но скажите, повторяем мы опять, где же вы видели такого народного поэта, как вам он представляется? Был ли он когда-нибудь, возможен ли он по вашему идеалу? Рассудите: если явится такой поэт, как вы воображаете, об чем же он будет говорить? Он выразит «все политические, общественные,

религиозные и семейные убеждения народа», говорите вы. Так; Беранже вот и выражал это же, но выразил всё это только для небольшой части французов сравнительно с массой всего народонаселения, именно для тех, которые жили, которые заинтересованы были в политическом, общественном, религиозном и семейном движении нации. Остальные же французы даже, может быть, и не слышали о Беранже, потому что еще ни в каком движении не участвовали. Когда же будут участвовать, то хотя у них и будет свой новый Беранже (непременно) и выразит он что-нибудь новое, что-нибудь такое, что старому Беранже и не грезилось, но, несмотря на то, и старый Беранже поймется ими. Они не могут его обойти: во-первых, он будет иметь для них историческое значение, а во-вторых, потому что он народен, потому что он все-таки выражал мнения, верования и убеждения французского же народа. Точно так и Пушкин. Одна часть (и самая большая) русского народа почти совсем не участвовала в том, в чем участвовала другая, и разъединение продолжалось чрезвычайно долго. Пушкин был народный поэт одной части; но эта часть, во-первых, была сама русская, во-вторых, почувствовала, что Пушкин первый сознательно заговорил с ней русским языком, русскими образами, русскими взглядами и воззрениями, почувствовала в Пушкине русский дух.

Она очень хорошо поняла, что и летописец, что и Отрепьев, и Пугачев, и патриарх, и иноки, и Белкин, и Онегин, и Татьяна — всё это Русь и русское. Не одно современное, слегка офранцузенное и отрешившееся от народного духа увидело в нем общество. Общество знало, что так может писать только Булгарин. Разумеется, смешно отвечать на такие вопросы: где же это русское семейство, которое хотел изобразить Пушкин, в чем его русский дух, что именно изобразил он русского? Ответ ясен: надобно хоть немножко понимать поэзию. Отбросим всё, самое колоссальное, что сделал Пушкин; возьмите только его «Песни западных славян», прочтите «Видение короля»: если вы русский, то вы почувствуете, что это в высочайшей степени русское, не подделка под народную легенду, а художественная форма всех легенд народных, форма, уже прошедшая через сознание поэта и, главное, — в первый раз нам поэтом указанная. В первый раз — это не шутка! Да, почти в первый раз вся красота, вся таинственность и всё глубокое значение народной легенды было постигнуто массой нашего общества. Вы говорите, что в простонародьи не отразился Пушкин? Да, потому что простонародье не двигалось в своем развитии, а не двигалось потому, что не могло двигаться. Оно и грамоте не умеет. Но чуть только развитие коснется народа, Пушкин тотчас же получит и для этой массы свое народное значение. Мало того, будет иметь для нее историческое значение и будет для нее одним из главнейших провозвестников *общечеловеческих* начал, так гуманно и так широко развившихся в Пушкине, а это-то и самое нужное, потому что всё раздвоение паше заключалось в том, что одна часть общества пошла в

Европу, а другая осталась дома. С общечеловеческим элементом, к которому так жадно склонен русский народ, он, мы уверены, наиболее познакомится через Пушкина.

Скажем более: мы готовы признать, что может явиться народный поэт и в среде самого простонародья, — не Кольцов, например, который был неизмеримо выше своей среды по своему развитию, но настоящий простонародный поэт. Такой поэт, во-первых, может выражать свою среду, но не возносясь над пей отнюдь, а приняв всю окружающую действительность за норму, за идеал. Его поэзия почти совпадала бы тогда с народными песнями, которые сочинялись как-то созерцательно в минуту самого пения. Мог бы он явиться и в другом виде, то есть не принимая за норму всё окружающее, а уже отчасти отрицая ее, и изобразить какой-нибудь момент народной жизни, какое-нибудь движение народное, какое-нибудь желание его. Такой поэт мог бы быть очень силен, мог бы выразить неподдельно народ. Но во всяком случае он был бы не глубок и кругозор его был бы очень узок.

Во всяком случае Пушкин был бы неизмеримо выше его. Что нужды, что народ, на теперешней степени своего развития, не поймет всего Пушкина? Он поймет его потом и из его поэзии научится познавать себя. И зачем народный поэт должен быть непременно ниже развитием, чем высший класс народа? По-вашему, ведь непременно выходит так. Пушкин на той степени своего развития, на которой он стоял, никогда бы не мог быть понят простонародьем. Неужели ему, для того чтоб его понимало простонародье, следовало непременно идти к нему и, заговорив его языком (что он очень бы сумел сделать), скрыть от народа свое развитие?

Народ почти всегда прав в основном начале своих чувств, желаний и стремлений; но дороги его во многом иногда неверны, ошибочны и, что плачевнее всего, форма идеалов народных часто именно противоречит тому, к чему народ стремится, конечно, моментально противоречит. В таком случае Пушкину пришлось бы иногда странным вещам поддакивать. Пришлось бы скрывать себя, веровать предрассудкам, чувствовать ложно. Каким же хитрецом представляете вы себе народного поэта и даже каким пейзажом с фарфоровой чашки!

Но, положим, наконец, что совсем не надо скрывать свое развитие и надевать маску. Что можно прямо и просто говорить народу истину, без лжи и без фальши, благородно и смело. Что парод всё поймет и оценит, будет благодарен за правду и что стоит только выговорить эту правду простым и понятным пароду языком.

Не будем спорить. Во всяком случае такой поэт был бы не сильнее Пушкина и далеко бы не выразил того, что выразил Пушкин. Для такой деятельности Пушкину надо бы было бросить настоящее свое дело и свое великое назначение, часть сил своих оставить втуне, намеренно сузить свой

кругозор и сознательно отказаться от половины своей великой деятельности.

А в чем состояла его великая деятельность? Опять-таки повторяем: чтоб судить об ней, нужно прежде всего хоть немножко понимать поэзию.

«Русский вестник», между прочим, не отдает чести Пушкину потому, что он не известен в Европе; потому что Шекспир, Шиллер, Гете проникли всюду в европейские литературы и много привнесли в общечеловеческое европейское развитие, а Пушкин нет. Какое детское требование!

Не говорим уж в том, что и самый факт во многом неверен В самом деле, действительно ли Шиллер и Гете известны во Франции? Они известны во Франции нескольким ученым, нескольким серьезным поэтам и литераторам, да и то большею частью по переводам; в оригинале же и того меньше. Шекспир тоже; разве в Германии, и то только в образованном кругу, Шекспир известен; но во Франции его слишком мало знают. Не их вина, разумеется, но, конечно, они до сих пор немного сделали для общечеловеческого европейского развития, а были полезны каждый у себя дома⁵⁴. «Русский вестник», кажется, бессознательно впал в ошибку: он, вероятно, судил об общечеловеческом влиянии вышепоименованных великих поэтов по русскому обществу. Да, Шиллер, действительно, вошел в плоть и кровь русского общества, особенно в прошедшем и в запоршедшем поколении. Мы воспитались на нем, он нам родной и во многом отразился на нашем развитии. Шекспир тоже. Даже Гете известен у нас несравненно более, чем во Франции, а может быть, и в Англии. Английская же литература, бесспорно, несравненно нам известнее, чем во Франции, а может быть, и в Германии. Но «Русский вестник» только плюет на эти факты; для него они не факты, потому что не подходят под его мерочку. Ему указывают па факт необыкновенного общечеловеческого стремления русского племени, указывают на одного из провозвестников этого стремления — Пушкина, говорят ему, что явление это неслыханное и беспремерное между народами, что оно может свидетельствовать о чрезвычайно оригинальной черте русского характера, что оно, может быть, есть главная сущность русской народности. Но «Русский вестник» не слушает, а говорит, что и самой-то народности нет...

А главное, чем виноват Пушкин, что его покамест не знает Европа? Дело в том, что и Россию-то еще не знает Европа: она знала ее доселе только по тяжелой необходимости. Другое дело, когда русский элемент выйдет плодотворной струей в общечеловеческое развитие: тогда узнает Европа и Пушкина, и наверно отыщет в нем несравненно больше, чем до сих пор мог отыскать «Русский вестник». А ведь тогда стыдно будет перед иностранцами-то! ..

Россия еще молода и только что собирается жить; но это вовсе не вина.

«Отечественные записки», отстаивая перед «Русским вестником» русскую народность, указывают, как на доказательство ее действительного существования, на чрезвычайное развитие в России государственного начала.

По-нашему, не этим одним, да и вообще не этим можно доказать действительность и особенность русской народности. Особенность ее: бессознательная и чрезвычайная стойкость народа в своей идее, сильный и чуткий отпор всему, что ей противоречит, и вековая, благодатная, ничем не смущаемая вера в справедливость и в правду.

Велик был тот момент русской жизни, когда великая, вполне русская воля Петра решилась разорвать оковы, слишком туго сдавившие наше развитие. В деле Петра (мы уж об этом теперь не спорим) было много истины. Сознательно ли он угадывал общечеловеческое назначение русского племени, или бессознательно шел вперед, но одному чувству, стремившему его, но дело в том, что он шел верно. А между тем форма его деятельности, по чрезвычайной резкости своей, может быть, была ошибочна. Форма же, в которую он преобразовал Россию, была, бесспорно, ошибочна. Факт преобразования был верен, по формы его были не русские, не национальные, а нередко и прямо, основным образом противоречившие народному духу.

Народ не мог видеть окончательной цели реформы, да вряд ли кто-нибудь понимал ее даже из тех, кто пошел за Петром, даже из так называемых «птенцов гнезда Петрова»; они пошли за преобразователем слепо и помогали власти для своих выгод. Если не все, то почти так. Где же было тогда народу угадать, куда ведут его? До него и теперь-то достигла только одна грязная струя цивилизации. Конечно, невозможно, чтобы хоть что-нибудь не прошло в народ живо и плодотворно, хоть бессознательно, хоть только в возможности. Но то, что было в реформе нерусского, фальшивого, ошибочного, то народ угадал разом, с первого взгляда, одним чутьем своим, и так как — повторяем — не мог видеть хорошей, здоровой стороны ее, то весь, одним разом от нее отшатнулся. И как стойко и спокойно он умел сохранить себя, как умел умирать за то, что он считал правдой!

Но идея Петра совершилась и достигла в наше время окончательного развития. Кончилось тем, что мы приняли в себя общечеловеческое начало и даже сознали, что мы-то, может быть, и назначены судьбою для общечеловеческого мирового соединения. Если не все сознали это, то многие сознают. Но по крайней мере все сознаются, что цивилизация привела нас обратно на родную почву. Она не сделала нас исключительно европейцами, не перелила нас в какую-нибудь готовую европейскую форму, не лишила народности. «Русский вестник» бесконечно неправ, говоря, что «там, где идет спор о народности, там, значит, ее нет», и «Отечественные записки» совершенно правы, отвечая ему на это:

«На это ответит вам история литературы в Германии в начале XIX века и во Франции, где те же споры составили целый период литературы, только назывались не спорами о народности, а спорами о романтизме. Эти споры были занесены и к нам, но слишком преждевременно, и мы не были готовы принять их и попать во всей глубине. Известен результат этих споров на Западе: крутой поворот европейских литератур к самостоятельности, к народности...»

Цивилизация не развила у нас и сословий: напротив, замечательно стремится к сглажению и к соединению их воедино. Может быть, «Русскому вестнику» это очень досадно, но английских лордов у нас нет; французской буржуазии тоже нет, пролетариев тоже не будет, мы в это верим. Взаимной вражды сословий у нас тоже развиться не может: сословия у нас, напротив, сливаются; теперь покамест еще всё в брожении, ничто вполне не определилось, но зато начинает уже предчувствоваться наше будущее. Идеал этого слития сословий воедино выразится яснее в эпоху наибольшего всенародного развития образованности.

Образованность и теперь уже занимает у нас первую ступень в обществе. Всё уступает ей; все сословные преимущества, можно сказать, тают в ней... В усиленном, в скорейшем развитии образования — вся наша будущность, вся наша самостоятельность, вся сила, единственный, сознательный путь вперед, и, что важнее всего, путь мирный, путь согласия, путь к настоящей силе.

Настоящее высшее сословие теперь у нас — сословие образованное. Но без настоящего, серьезного, правильного образования тотчас же является в обществе феномен, в высшей степени вредный и пагубный: это *наука вне науки*. Так как жажда знаний и науки никаким образом не может уничтожиться в обществе, тем более в теперешнем нашем, то при малом развитии настоящего правильного обучения желающие учиться начинают учиться самоучкой, без системы, без правил, нередко выбирая себе учителей неудачно или, что еще хуже, односторонне знакомых с наукой. Таким образом ложные идеи прививаются к обществу, особенно молодому и неопытному, укореняются в нем и приносят впоследствии, а иногда и в скорости, неприятные, вредные результаты. Совершенно напротив происходит при правильном, широком развитии образования. У настоящей науки есть свои приемы, предания, системы. Настоящий хранитель такой науки не дает молодому уму сбиться на ложную дорогу. Он предохранит учащегося от заблуждения, потому что действует на него всей силой науки, всем преданием ее, всем тем, до чего правильно и стойко дошел ум человеческий.

Только образованием можем мы завалить и глубокий ров, отделяющий нас теперь от нашей родной почвы. Грамотность и усиленное распространение ее — первый шаг всякого образования.

Когда-то «Отечественные записки» жестоко смеялись над нами, что мы, провозглашая о необходимости соединения общества с народным началом, несем ему ту же самую европейскую цивилизацию, которую сами же отвергаем.

Отвечаем:

Мы возвращаемся на нашу почву с сознательно выжитой и принятой нами идеей общечеловеческого нашего назначения. К этой-то идее привела нас сама цивилизация, которую в смысле исключительно европейских форм мы отвергаем. Возвращение наше свидетельствует, что из русского человека цивилизация не могла сделать немца, и что русский человек все-таки остался русским. Но мы сознали тоже, что идти далее нам одним было нельзя; что в помощь нашему дальнейшему развитию необходимы нам и все силы русского духа. Мы приносим на родную нашу почву образование, показываем, прямо и откровенно, до чего мы дошли с ним и что оно из нас сделало. А затем будем ждать, что скажет вся нация, приняв от нас науку, будем ждать, чтоб участвовать в дальнейшем развитии нашем, в развитии народном, настояще-русском, и с новыми силами, взятыми от родной почвы, вступить на правильный путь.

Знание не перерождает человека: оно только изменяет его, но изменяет не в одну всеобщую, казенную форму, а сообразно натуре того человека. Оно не сделает и русского не русским; оно даже нас не переделало, а заставило воротиться к своим. Вся нация, конечно, скорее скажет свое новое слово в науке и жизни, чем маленькая кучка, составлявшая до сих пор наше общество. Мы только отвергаем исключительно европейскую форму цивилизации и говорим, что она нам не по мерке.

ЗАПИСКА О ТЕАТРАЛЬНЫХ ШКОЛАХ

В настоящее время театральные училища отвечают своему назначению не вполне: из них пополняются только балетные труппы; и, надо признаться, петербургская школа в <этом> отношении достигает результатов совершенно удовлетворительных; оперные же и драматические труппы для своего пополнения готового запаса в театральные училища не находят и комплектуются случайным образом извне.

Прежде всего я позволю себе обратить внимание Комиссии на труппы драматические как на предмет мне более знакомый и близкий. Чтобы определить ценность того артистического материала, которым, за отсутствием драматических школ, поневоле должны пользоваться императорские театры, нужно предварительно рассмотреть источники, из которых этот материал по черпается. Поэтому я нахожусь вынужденным сделать небольшое отступление.

К 50-м годам настоящего столетия сценическое искусство в Москве и Петербурге принялось прочно; насажденное умелыми руками, оно укоренилось и обещало сильный рост. Монополия сделала свое дело, она поста вила императорские театры на ту высоту, на которой никакое соперничество уже не было им опасно,— и за тем благовидного предлога для дальнейшего существования монополии уже не представлялось. Публика, привлекаемая замечательным изяществом исполнения на императорских театрах, все возрастала.

Начало 50-х годов настоящего столетия было хорошей эпохой для русского театра; если бы тогда был дан хоть какой-нибудь простор национальному драматическому искусству,— оно бы расцвело пышным цветом. Но монополия, изменив своему первоначальному назначению и преследуя только чисто барышнические цели, продолжала теснить русскую сцену. Между тем в публике, которая успела уже удесяттериться, жажда изящных удовольствий достигла сильной степени напряженности; интеллигентное меньшинство взялось во что бы то ни стало удовлетворить эту жажду, несмотря на монополию. Надо было придумать такие театры, которые запретить было бы нельзя или по крайней мере очень скандально. Этой работой занята была вся мыслящая публика столиц. Много принесено было и материальных, и нравственных жертв, чтобы удовлетворить умственный голод публики; патриотические стремления деятелей того времени будут с честью помянуты в истории умственного развития русского общества. Наконец после долгих усилий средство было отыскано: решено было соединить театры с клубами и укрыть спектакли от преследования монополии названием семейных вечере ров. Всякое стеснение естественного роста производит неправильности в развитии, уродства;

таким уродством в развитии драматического искусства в России явились клубные театры.

Как и следовало ожидать, результаты патриотических усилий не оправдали ни жертв, принесенных для их достижения, ни надежд жаждущей изящных удовольствий публики. Искусство не может существовать вполнину и, как всякое прямое и чистое дело, не терпит компромиссов. Клубы могли дать русскому театру убежище от преследования, прикрывая спектакли названием «семейных вечеров», могли дать помещение, декорации, костюмы, оркестр, но не могли дать главного, то есть артистов. Артисты образуются только школой и преданием; ни того, ни другого нет в клубах и быть не может. Клубные труппы составились: 1) из совершенно не подготовленных для сцены любителей и 2) из провинциальных артистов. Еще до открытия клубных сцен существовало в Петербурге и Москве несколько любительских трупп, игравших кой-где и кой-что для собственного удовольствия и для удовольствия своих невзыскательных знакомых; они-то и вошли целиком в клубы, составили основу клубных театров; но они же и внесли порчу в самый корень этих театров и отняли у них возможность хоть сколько-нибудь прогрессировать. Что такое любитель? Это прежде всего чело век свободный, имеющий довольно досуга и несколько обеспеченный; это человек, который имеет возможность жить порядочно, не стесняя себя ничем обязательным. Если бы он имел талант или призвание, или по крайней мере материальную нужду, он бы трудился, и из него бы вышел артист; но отсутствие определенного таланта и сильного призвания и материальное довольство освободили его от труда, и из него вышел любитель. Искусство для него — не служение, не серьезное дело, а только забава. Не вкусив горького, то есть не пройдя правильной и строгой школы, не положив упорного труда для изучения техники своего искусства, он желает вкусить от него только сладкое, то есть лавры и рукоплескания. Он не знает азбуки своего дела, потому что не желает утруждать себя; он не хочет подчиняться никакой дисциплине, потому что он играет не из-за денег и начальства над собой не признает; он не учит ролей,— это скучно; он хочет только играть,— это весело и доставляет ему удовольствие. Некоторые сделались акте рами-любителями только из страсти рядиться, из желанья видеть себя в разных костюмах; и вот такие-то артисты главным образом и покушаются играть, нисколько не задумываясь, Шекспира и Кальдерона. Такой артист оденется за час до поднятия занавеса, пересмотрится во все зеркала, ходит показывать себя на сцену и по уборным, и вот он удовлетворен; а как он будет играть, как пойдет пьеса — это для него дело второстепенное: его голова занята веселой мыслью, что он завтра в этом костюме поедет по фотографиям и снимет с себя портреты в разных приятных позах. Но нарядно костюмированные, красивые и ловкие в уборных и фото графиях, любители на сцену являются вялыми и

неуклюжими. Неразвязность и неумелость происходят от того, что любители не умеют ни ходить, ни стоять, ни сидеть на сцене, что совсем не так просто, как кажется.

Между развязным человеком и подготовленным правильной школой актером — большая разница; развязность не есть актерство; развязному человеку только легче выучиться сценическому искусству; а учиться все-таки надо. Даже у самого развязного человека жесты однообразны и запас их невелик; у каждого человека особенности походки, посадки, движений рук и головы, даже тон разговора, сообразно характеру, сложению, образованию, общественному положению, постепенно определяются и закрепляются и наконец так срастаются с организмом, что делаются произвольными. Кто не может освобождаться от своих привычных жестов, тот не актер. Как хороший каллиграф не имеет своего почерка, а имеет все, так и актер не должен иметь на сцене своей походки и посадки, а должен иметь всякие, какие требуются данной ролью и положением. В нашей малоразвитой публике нередко случается слышать, что актером можно быть не учась, что довольно врожденных способностей для того, чтоб с успехом подвизаться на сцене; но ложность этого мнения ясна сама собою. Актер есть пластический художник; а можно ли быть не только художником, но и порядочным ремесленником, не изучив техники своего искусства или ремесла? Актером родиться нельзя, точно так же, как нельзя родиться скрипачом, оперным певцом, живописцем, скульптором, драматическим писателем; рождаются люди с теми или другими способностями, с тем или другим призванием, а остальное дается артистическим воспитанием, упорным трудом, строгой выработкой техники. Нельзя быть музыкантом, не имея тонкого слуха; но одного слуха мало, надо еще изучить технику какого-нибудь инструмента, покорить его так, чтоб он издавал чисто, верно и с надлежащей экспрессией те звуки, которые требуются тонким слухом. Рожденному с тонким зрением, чтобы быть живописцем, нужно прежде всего приучить свою руку решительно и точно передавать те контуры, которые видит или видел его тонкий глаз. Призванным к актерству мы считаем того, кто получил от природы тонкие чувства слуха и зрения и вместе с тем крепкую впечатлительность. При таких способностях у человека с самого раннего детства остаются в душе и всегда могут быть вызваны памятью все наружные выражения почти каждого душевного состояния и движения; он помнит и бурные, решительные проявления страстных порывов: гнева, ненависти, мести, угрозы, ужаса, сильного горя и тихие, плавные выражения благосостояния, счастья, кроткой нежности. Он помнит не только жест, но и тон каждого страстного момента: и сухой звук угрозы, и певучесть жалобы и мольбы, и крик ужаса, и шепот страсти. Кроме того, в душе человека, так счастливо одаренного, создаются особыми психическими процессами посредством аналогий такие представления, которые называются творческими. Человек

с артистическими способностями по некоторым данным: описаниям, изваяниям, картинам — может вообразить себе во всех внешних проявлениях и жизнь чуждой ему народности и веков минувших. Но весь этот запас, весь этот богатый материал, хранящийся в памяти или созданный художественными соображениями, еще не делает актера; чтоб быть артистом — мало знать, помнить и воображать, — надобно уметь. Как живо ни воображай себе художник Юлия Кесаря или Жанну д'Арк, но если он рисует плохо, то у него на картине выйдет что-нибудь другое, а не Кесарь и не Жанна д'Арк. Точно то же и в актерстве. Чтобы стать вполне актером, нужно приобрести такую свободу жеста и тона, чтобы при известном внутреннем импульсе мгновенно, без задержки, чисто рефлективно следовал соответственный жест, соответственный тон. Вот это-то и есть истинное сценическое искусство, оно-то только и доставляет поднимающее, чарующее душу эстетическое наслаждение. Зритель только тогда получает истинное наслаждение от театра, когда он видит, что актер живет вполне и целостно жизнью того лица, которое он представляет, что у актера и форму, и самый размер внешнего выражения дает принятое им на себя и ставшее обязательным для каждого его жеста и звука обличье. С первого появления художника-актера на сцену уже зритель охватывается каким-то особенно приятным чувством, на него веет со сцены живой правдой; с развитием роли это приятное чувство усиливается и доходит до полного восторга в патетических местах и при неожиданных поворотах действия; зала вдруг оживает; сначала — шепот одобрения, потом — рукоплескания и крики делаются единодушными. Все мы знаем характеры, выведенные Шекспиром. Что же нас манит и вечно будет манить смотреть на сцене эти характеры? Что мы смотреть будем? Мы смотреть будем живую правду. Великий художник дал нам характеры; но мы понимаем их отвлеченно, аналитически, умом, а живое, конкретное представление этих характеров в нас неполно, односторонне, неясно, смутно (иначе мы сами были бы великими художниками); нам нужно, чтоб другой художник оживил перед нами эти характеры, чтоб он жил полным человеком в тех рамках, какие дал ему художник. Вы знаете, что говорит Ромео перед балконом Джульетты; но вы не знаете, как он говорит, как он живет в это время; вы желаете иметь живую иллюстрацию к этой сцене и проверить правдивость ее своим непосредственным чувством. Поэтому понятно, что публика отнесется очень холодно к этой сцене, когда перед ней неумелый актер будет, более или менее толково, читать свою роль, которую она и без него знает; понятен также и восторг, который вдруг овладевает публикой, когда она видит перед собой уж не актера, а именно юношу Ромео, который весь про никнут избытком страсти и который грудным шепотом, где каждое слово есть продолженный вздох, передает переполнившую его душу любовь в душу жаждущей любви Джульетты. При художественном исполнении слышатся часто не только единодушные аплодисменты, а и

крики из верхних рядов: «это верно», «так точно». Слова: «это верно», «так точно» — только наивны, а со всем не смешны; то же самое говорит партер своим «браво», то же самое «это верно», «так точно» повторяют в душе своей все образованные люди. Но с чем верно художественное исполнение, с чем имеет оно точное сходство? Конечно, не с голой обыденной действительностью; сходство с действительностью вызывает не шумную радость, не восторг, а только довольно холодное одобрение. Это исполнение верно тому идеально художественному представлению действительности, которое недоступно для обыкновенного понимания и открито только для высоких творческих умов. Радость и восторг происходят в зрителях оттого, что художник поднимает их на ту высоту, с которой явления представляются именно такими. Радость быть на такой высоте и есть восторг, и есть художественное наслаждение; оно только и нужно, только и дорого и культурно и для отдельных лиц, и для целых поколений и наций. При талантливых и хорошо подготовленных исполнителях художественные пьесы не перестают нравиться и оказывать влияние на публику; они вечны, как вечны все высокие, изящные произведения. Оттого-то и устанавливается всегда такая близость, такая родственная связь между актерами-художниками, исполнителями, и авто-рами-художниками, творцами.

Что же вносит на сцену актер-любитель? Он вносит с собой надоедающую неумелость; зритель испытывает непрерывную неудовлетворенность, он чувствует, что нет чего-то того, зачем он пришел в театр. Не всякий зритель может уяснить себе, чего ему недостает, но чувство неудовлетворенности остается у всех. Зритель не знает, как надо исполнить ту или другую роль, но он чувствует, что в игре любителей чего-то не хватает. А не хватает-то игры, то есть именно того, что смотреть-то все и ходят в театр. Зритель чувствует, что на сцене что-то творится не похожее на то, как это бывает в жизни; но чувствует все это он не ясно, а смутно; он чувствует, что дело не ладно, а как надо, он не знает. А пустите между любителями хоть одного самого третьестепенного актера, все зрители заговорят: «Вот это так, как должно. Ах, как он хорошо играет!» А он играет совсем не хорошо, а только умеет жить на сцене. Чтобы зритель остался удовлетворенным, нужно, чтоб перед ним была не пьеса, а жизнь, чтоб была полная иллюзия, чтоб он забыл, что он в театре. Поэтому нужно, чтобы актеры, представляя пьесу, умели представлять еще и жизнь, то есть чтобы они умели жить на сцене. Как в жизни всякий свободен в своих движениях и нисколько не задумывается над жестом, так должно быть и на сцене. Находясь в многолюдном собрании знакомых вам лиц, попробуйте изолировать себя от слуховых впечатлений, то есть заткните себе уши, и вы увидите, что все жесты присутствующих совершенно свободные, походка и посадка, движение и покой, улыбка и серьезность совершенно таковы, каковы они и должны быть, сообразно характеру каждого лица.

Попробуйте то же сделать в спектакле любителей, и вы увидите печальную картину всеобщего конфуза. Любитель или играет роль деревянным образом, то есть со всем без жестов, или жест у него противоречит словам, нерешителен, робок и всегда угловат. Любитель, может быть, и знает, какой жест ему нужен, да не умеет его сделать, потому что пренебрег горечью труда и скукою изучения и жил припеваючи. Обходиться своими привычками, развязными жестами он сомневается, зная, что они не подходят к роли; оттого-то самый развязный любитель связан на сцене, он жмется, горбится, у него руки и ноги точно не свои.

Немного пользы принесли клубам и провинциальные актеры, которые, за весьма малым исключением, суть те же любители. В провинции театральных школ нет, актеру учиться негде и некогда, там и хорошие актеры портятся и приобретают недостатки, от которых всю жизнь освободиться не могут. Прежде, лет 30—40 тому назад, провинциальные труппы, которых было очень немного, составлялись из артистов, более или менее подготовленных; в них вошли обломки старых барских трупп целыми семействами, в них участвовали бравшие продолжительные отпуска артисты императорских театров и кончившие курс воспитанники театральных училищ, которых начальство отпускало в провинцию для практики. В последнее десятилетие почти все старые провинциальные актеры уже сошли со сцены; а между тем с каждым годом число провинциальных трупп возрастает, и в настоящее время уже нет почти ни одного уездного города, в котором бы не было театра. Провинциальных актеров развелось огромное количество; но между ними артистов, сколько-нибудь годных для сцены, весьма малый, почти ничтожный процент; остальные — сброд всякого праздного на рода всех сословий и всевозможных общественных положений. Провинциальная сцена — это последнее прибежище для людей, перепробовавших разные профессии и испытавших неудачи и которым уж больше решительно некуда деваться,— это рай для лентяев и туеядцев, бегающих от всякого серьезного дела и желающих, не трудясь, не только быть сытыми, но еще и жуировать и занимать заметное положение в обществе. Провинциальные актеры — те же любители, только не по охоте, а поневоле или вследствие лени, и игрой своей от столичных любителей они мало отличаются. Если они менее грамотны, так зато более наглы; если они уж совсем никогда не учат ролей, так зато бойчее и без малейшего стыда говорят, вместо роли, всякую чушь, какая им в голову придет, и в них менее неловкости и связанности, так зато развязность их самого дурного тона. Таковы исполнители, доставшиеся на долю клубных театров, ими должна была удовлетвориться и удовлетворяется нуждающаяся в эстетических удовольствиях публика.

Может возникнуть вопрос: как и почему публика удовлетворилась такими жалкими исполнителями? На этот вопрос отвечать легко. Огромное

большинство клубной публики составляют люди новые, незнакомые с тонкостями сценического обмана, на них всякое зрелище действует обаятельно; самой незначительной сценической обстановки, плохоньких декораций и костюмов и кой-какой игры уж слишком довольно, чтоб произвести в такой публике полную иллюзию. Свежие люди под влиянием сильного, нового чувства еще не могут различить того, что они действительно видят, от того, что они дополняют воображением. Кто не видал прежде актеров, тому всякий актер хорош. Да и в развитом меньшинстве клубной публики далеко не все способны оценивать сценическое исполнение. Способности сценического артиста обуславливаются известною степенью тонкости двух чувств: зрения и слуха, и преимущественно зрения как чувства высшего; известная степень развития тех же чувств образует и критика, то есть человека, способного понимать и оценивать правду и художественность сценического исполнения. У нас же, как у всех северных народов, не отличающихся пластичностью, зрение вообще мало развито; мы больше слушаем и думаем, чем смотрим; мы больше вслушиваемся, чем всматриваемся в жизнь. Особенной слепотой отличаются в этом отношении люди ученые, кабинетные, большую часть жизни живущие с отвлечениями и идеями, а не с образами, и для которых окружающие их жизненные явления представляют очень мало интереса или даже не представляют никакого. А между тем их часто считают авторитетами не только в деле науки, но и искусства и обращаются к ним с вопросами о способностях того или другого исполнителя.

Ничего нет мудреного, что удовлетворительного ответа от них не получается, так как для таких ценителей вся пластическая сторона исполнения не существует. Развитие вкуса в публике для оценки всякого рода искусств и для наслаждения ими зависит от качества и количества художественных образцов: чем выше художественные образцы и чем более их, тем правильнее и тоньше вкус в публике. То же и в театральном искусстве: только артисты-художники развивают в зрителях истинное понимание достоинств художественного исполнения. Разница только в том, что в других искусствах художественные образцы остаются навсегда, все прибывают и постоянно служат путеводными маяками для вновь образующихся художников и веч ною меркой, масштабом для ценителей, а в сценическом искусстве художественные образцы исчезают бесследно, и потому, при отсутствии хороших актеров, вкус в публике постепенно понижается и, как мы видим, может упасть до того печального уровня, на котором он теперь находится.

Кроме того, в людях есть одно свойство, которое иногда хорошо, а иногда дурно, — это уживчивость, это способность примиряться, уживаться со всякой средой, в которой они живут, и в самой неприглядной обстановке находить относительно лучшее и утешаться им. То же

произошло и в театральном деле: сначала любительские труппы казались плохи, очень плохи; потом публика, а за ней и критика стали к ним снисходительнее, слышались отзывы, что «за неимением лучших и эти артисты недурны»; потом между совсем плохими актерами стали выделяться не совсем плохие, их публика стала одобрять, — ведь надо же кому-нибудь аплодировать; заговорили с легкой похвалой и газеты. Притом, как это всегда водится, у артистов имеются приятели из людей, легко восторгающихся; при всяком малейшем поводе они трубят повсюду довольно громко о новом таланте, трубные их гласы проникают и на столбцы газет, и вот возникает известность. Микроскопические способности, да еще при отсутствии предварительной подготовки и добросовестности в исполнении ролей, делают актеру-любителю имя, он начинает приосаниваться и претендовать на соперничество с известными актерами-художниками, а приятели начинают поговаривать, что в той-то роли он напоминает Мартынова, а там-то Садовского. А он не только не Садовский и не Мартынов, а и совсем не актер, и аплодируют ему и вызывают его только потому, что, по пословице, на безрыбье и рак рыба и что между слепыми и кривой — король. Почти все наши прославленные актеры-любители обязаны своей известностью не талантам своим, а той людской уживчивости, о которой сказано выше. Публика ужилась со своими актерами и довольствуется ими, но удовлетворена ли она вполне, удовлетворяется ли в ней та жажда изящных удовольствий, в которой она томилась так долго? Нет, не удовлетворяется, и патриотические усилия меньшинства, желавшего помочь публике в ее духовной нужде, почти пропали даром. Клубные спектакли удовлетворяют публику только внешним образом; они удовлетворяют не эстетическое чувство, а только любопытство. При хороших актерам публика смотрит исполнение и наслаждается игрой; художественная игра в художественной пьесе производит такое полное удовлетворение, такое наслаждение в публике, что она ничего уж больше не желает, как только повторений наслаждения, которое она испытала, то есть художественности. При хороших исполнителях театр может ограничиться небольшим избранным репертуаром, и он никогда не надоест, а все более и более будет привлекать публику. На водевили «Я именинник» и «Знакомые незнакомцы» при игре Мартынова публика рвалась, сколько бы раз их ни давали; если такие неважные пьесы при хорошей игре держались на репертуаре, то при тех же условиях настоящие художественные произведения не должны никогда сходить со сцены. Хорошие артисты дают устойчивость репертуара, что весьма важно, когда репертуар желают вести разумно, применяясь к потребности и к умственному росту публики.

Совсем другое происходит в театре при неумелых, неподготовленных исполнителях: игры нет, жизни нет, вместо жизни царствует на сцене довольно заметный конфуз, пьеса не «идет», а тянется;

все кажется длинным: и монологи, и диалоги, и сцены; вялое исполнение утомляет,— утомляет и пьеса. При дурном исполнении все пьесы равны: и бессодержательная сказка — изделие драматического промышленника, и правдивое, сильное произведение поэта одинаково кажутся длинными и скучными. Характеры, исполненные художественной правды, мастерская драматизировка сцен — все это скрыто или опошлено вялым исполнением. Зритель удерживается в зрительной зале только внешним интересом, любопытством; он смотрит не игру, не пьесу, а одно содержание пьесы — фабулу. Между актами он интересуется тем, что дальше будет, а к концу пьесы он сильно желает знать, чем она кончится. Пьеса кончается, любопытство зрителя удовлетворено, он доволен, он знает развязку, он поощрит актеров, вызовет, по доброте и по обычаю, главных персонажей и будет аплодировать довольно громко, если окончание пьесы благополучное; но уж в другой раз смотреть эту пьесу не пойдет. Зачем ему? Он знает, чем она кончается, ему давай новую! При плохих актерах уж не может быть никакого репертуара; чтобы удовлетворять любопытство, нужно разнообразие, нужно каждый день новую пьесу, как в провинции: вчера — «Гамлет», нынче — «Дело Плянова», завтра — «Испанцы в Перу», послезавтра — «Ермак, покоритель Сибири», потом — «За монастырской стеной», «Сошествие апраксинского купца во ад» и т. д. Пьесы идут большею частью по одному разу, поэтому порядком их репетировать и учить роли не стоит, да и времени нет; большая пятиактная драма ставится в один день, много в два, а в представление все актеры идут за суфлером; исполнение, падая раз от разу, становится почти детским. Вот до чего доходит неминуемо сцена при отсутствии талантливых и прошедших школу актеров; при неумелых исполнителях сцены не имеют ни смысла, ни значения — это не храмы, это даже не балаганы для забавы, потому что в них ничего забавного нет, кроме претензий и смелости людей, берущихся не за свое дело. Это просто большие залы, устроенные для пустой и бессмысленной траты времени как зрителями, так и исполнителями.

В таком именно положении и находятся в настоящее время клубные и другие частные сцены; они не только не способствуют развитию драматического искусства, но мешают ему и понижают вкус публики, понижают так последовательно, так решительно, что становится страшно за будущность русской сцены. Если прислушаться к разговору публики, посещающей театры, к отзывам прессы, к поучениям, которые произносят во время антрактов теперешние заправители вкуса — эти слепые вожди слепых, можно подумать, что или ни у кого из этих господ нет даже органа для понимания изящного, или что у нас сценическое искусство еще только возникает, и зрители еще смотрят на сцену с младенческой улыбкой в блаженном неведении того, что хорошо, что дурно. Как будто у нас не было труппы, редкой по способностям и по сценической подготовке,

превосходно подобранной, а по полноте и по обилию талантов даже на вторые роли и аксессуарные лучшей в Европе! Как будто у нас не было ценителей, не было совсем установленных принципов для суждения об изящном, не было публики, чуткой к мельчайшим повышениям и понижениям уровня искусства на сцене. Все это было, и все погибло, исчезло бесследно.

Единственную причину такого оскудения сценического искусства в России должно считать излишнюю продолжительность театральной монополии. Постоянное, неутомимое преследование драматического искусства не прошло даром и самим гонителям; загнанная в клубы русская сцена отомстила привилегированным театрам — она наделила их своими артистами. Когда привилегированные театры, уничтожившие у себя драматические классы и упустившие время для пополнения своих трупп, стали нуждаться в замещении вакантных амплуа, предложение явилось со стороны актеров клубных и любительских сцен, и его надо было принять, так как клубные спектакли уже настолько успели понизить вкус публики, что артисты-любители ей стали нравиться, сделались ей знакомы, да и пресса оказывала свое посильное влияние. И вот в труппы, когда-то хорошо составленные и отлично подготовленные (особенно в Москве), попадают на высшие оклады и на первые амплуа такие исполнители, которые столько же актеры, сколько первый попавшийся на улице.

Неразборчивое смешение умелых с неумелыми скоро принесло свои плоды: стройность в ходе пьес стала исчезать, живость и сила тоже, и вообще исполнение стало приближаться к уровню провинциального. Ведь хорошо подобранная и сыгравшаяся труппа то же, что хорошо слаженный оркестр; а спросите дирижера, что будет с хорошим оркестром, если пустить в него любителей и посадить их вперемежку с музыкантами. Легкость вступления в артисты императорских театров уронила их значение, уронила и самое звание артиста, которое прежде стояло в обществе очень высоко. Что же, в самом деле, стоит это звание, когда завтра же каждый может носить его? Что это за искусство, которое дается без труда? Если сценическое искусство таково, то оно не искусство, а или баловство, или шарлатанство.

Уничтожением подготовительных драматических классов при императорских театрах нанесен такой удар сценическому искусству, от которого ему не поправиться очень долго даже при самых энергических условиях. Надо немедленно начать поправлять дело, иначе мы совсем останемся без артистов. Императорские театры должны непременно иметь у себя подготовительные школы для всех своих трупп: во-первых, достоинство императорских театров требует, чтобы все труппы их состояли из артистов, специально и вполне подготовленных к своему делу; во-вторых, императорские театры должны служить образцами для всех других

театров, а образцовым театром нельзя быть, не имея образцовых актеров; в-третьих, что самое важное, императорские театры должны завести и установить у себя избранный репертуар, чтобы руководить вкусом публики и заставить ее подчиниться культурному влиянию искусства, а устойчивость репертуара, как уже сказано выше, невозможна без труппы, хорошо подготовленной и дисциплинированной.

При этой записке прилагается проект курсов подготовительной школы для драматической сцены.

ДОБРОДЕТЕЛИ И ПОРОКИ

Добродетели с Пороками истари во вражде были. Пороки жили весело и ловко свои дела обдeldывали; а Добродетели жили посерее, но зато во всех азбуках и хрестоматиях как пример для подражания приводились. А втихомолку между тем думали: «Вот кабы и нам, подобно Порокам, удалось хорошенькое дельце обдeldать!» Да, признаться сказать, под шумок и обдeldывали.

Трудно сказать, с чего у них первоначально распря пошла и кто первый задрал. Кажется, что Добродетели первые начали. Порок-то шустрый был и на выдумки гораздый. Как пошел он, словно конь борзый, пространство ногами забирать, да в парчах, да в шелках по белу свету шеголять — Добродетели-то за ним и не успели. И не поспевши,— огорчились. «Ладно, говорят, шеголяй, нахал, в шелках! Мы и в рубище от всех почтены будем!» А Пороки им в ответ: «И будьте почтены с богом!»

Не стерпели Добродетели насмешки и стали Пороки на всех перекрестках костить. Выйдут в рубищах на распутие и пристают к прохожим: «Не правда ли, господа честные, что мы вам и в рубище милы?» А прохожие в ответ: «Ишь вас, салопниц, сколько развелось! проходите, не задерживайте! бог подаст!»

Пробовали Добродетели и к городовым за содействием обращаться. «Вы чего смотрите? совсем публику распустили! ведь она, того и гляди, по уши в пороках погрязнет!» Но городовые знай себе стоят да Порокам под козырек делают.

Так и остались Добродетели ни причем, только пригрозили с досады: «Вот погодите! ушлют вас ужо за ваши дела на каторгу!»

А Пороки между тем всё вперед да вперед бегут, да еще и похваляются. «Нашли, говорят, чем стращать — каторгой! Для нас-то еще либо будет каторга, либо нет, а вы с самого рожденья в ней по уши сидите! Ишь, злецы! кости да кожа, а глаза, посмотри, как горят! Щелкают на пирог зубами, а как к нему приступиться — не знают!»

Словом сказать, разгоралась распря с каждым днем больше и больше. Сколько раз даже до открытого боя дело доходило, но и тут фортуна почти всегда Добродетелям изменяла. Одолеют Пороки и закуют Добродетели в кандалы: «Сидите, злоумышленники, смирно!» И сидят, куда начальство не вступится да на волю не выпустит.

В одну из таких баталий шел мимо Иванушка-Дурачок, остановился и говорит сражающимся:

— Глупые вы, глупые! из-за чего только вы друг друга увечите! ведь первоначально-то вы все одинаково *свойствами* были, а это уж потом, от безалаберности да от каверзы людской, добродетели да пороки пошли. Одни свойства понажали, другим вольный ход дали — колесики-то в

машине и испортились. И воцарились на свете смута, свара, скорбь... А вы вот что сделайте: обратитесь к первоначальному источнику — может быть, на чем-нибудь и сойдетесь!

Сказал это и пошел путем-дорогой в казначейство подать вносить.

Поддействовали ли на сражающихся Иванушкины слова, или пороку для продолжения битвы не достало, только вложили бойцы мечи в ножны и задумались.

Думали, впрочем, больше Добродетели, потому что у них с голоду животы подвело, а Пороки, как протрубили трубы отбой, так сейчас же по своим прежним канальским делам разбрелись и опять на славу зажили.

— Хорошо ему про «свойства» говорить! — первое молвило Смиренномудрие,— мы и сами не плоше его эти «свойства» знаем! Да вот одни свойства в бархате щеголяют и на золоте едят, а другие в затрапезе ходят да по целым дням не евши сидят. Иванушке-то с пола-горя: он набил мамон мякиной —и прав; а нас ведь на мякине не проведешь — мы знаем, где раки зимуют!

— Да и что за «свойства» такие проявились! — встревожилось Благочиние,— нет ли тут порухи какой? Всегда были Добродетели и были Пороки, сотни тысяч лет это дело ведется и сотни тысяч томов об этом написано, а он на-тко, сразу решил: «свойства»! Нет, ты попробуй, приступись-ка к этим сотням тысяч томов, так и увидишь, какая от них пыль столбом полетит!

Судили, рядили и наконец рассудили: Благочиние правду сказало. Сколько тысяч веков Добродетели числились Добродетелями и Пороки— Пороками! Сколько тысяч книг об этом написано, какая масса бумаги и чернил изведена! Добродетели всегда одесную стояли, Пороки— ошуйю; и вдруг, по дурацкому Иванушкину слову, от всего откажись и назовись какими-то «свойствами»! Ведь это почти то же, что от прав состояния отказаться и «человеком» назваться! Просто-то оно, конечно, просто, да ведь иная простота хуже воровства. Поди-тко спроста-то коснись, ан с первого же шага в такое несметное множество капканов попадешь, что и голову там, пожалуй, оставишь!

Нет, о «свойствах» думать нечего, а вот компромисс какой-нибудь сыскать — или, как по-русски зовется, фортель — это, пожалуй, дельно будет. Такой фортель, который и Добродетели бы возвеселил, да и Порокам бы по нраву пришелся. Потому что ведь и Порокам подчас жутко приходится. Вот намеднись Любострастие с поличным в бане поймали, протокол состарили, да в ту же ночь Прелюбодеяние в одном белье с лестницы спустили. Вольномыслие-то давно ли пыльным цветом цвело, а теперь его с корнем вырвали! Стало быть, и Порокам на фортель пойти небезвыгодно. Милостивые государи! милостивые государыни! не угодно ли кому предложить: у кого на примете «средствице» есть?

На вызов этот прежде всех выступил древний старичок, Опытом называемый (есть два Опыта: один порочный, а другой добродетельный; так этот—добродетельный был). И предложил он штуку: «Отыщите, говорит, такое сокровище, которое и Добродетели бы уважило, да и от Пороков было бы не прочь. И пошлите его парламентаром во вражеский лагерь».

Стали искать и, разумеется, нашли. Нашли двух бобылок: Умеренность и Аккуратность. Обе на задворках в добродетельских селениях жили, сиротский надел держали, но торговали корчемным вином и потихоньку Пороки у себя принимали.

Однако первый блин вышел комом. Бобылки были и мало представительны, и слишком податливы, чтоб выполнить возложенную на них задачу. Едва появились они в лагере Пороков, едва начали канитель разводять: «Помаленьку-то покойнее, а потихоньку — вернее», как Пороки всем скопищем загалдели:

— Слыхали мы-ста прибаутки-то эти! давно вы с ними около нас похаживаете, да не в коня корм! Уходите с богом, бобылки, не продайтесь!

И как бы для того, чтобы доказать Добродетелям, что их на кривой не объедешь, на всю ночь закатились в трактир «Самарканд», а под утро, расходясь оттуда, поймали Воздержание и Непрелюбысотворение и поступили с ними до такой степени низко, что даже татары из «Самарканда» дивились: хорошие господа, а что делают!

Поняли тогда Добродетели, что дело это серьезное и надо за него настоящим манером взяться.

Произросло между ними в ту пору существо среднего рода: ни рак, ни рыба, ни курица, ни птица, ни дама, ни кавалер, а всего помаленьку. Произросло, выровнялось и расцвело. И было этому межеумку имя тоже среднего рода: Л и ц е м е р и е . . .

Все в этом существе было загадкою, начиная с происхождения. Сказывали старожилы, что однажды Смирение с Любострастней в темном коридоре спознались, и от этого произошел плод. Плод этот Добродетели сообща выкормили и выпоили, а потом и в пансион к француженке Комильфо отдали. Догадку эту подтверждает и наружный вид Лицемерия, потому что хотя оно ходило не иначе, как с опущенными долу глазами, но прозорливцы не раз примечали, что по лицу его частенько пробегают любострастные тени, а поясница, при случае, даже очень нехорошо вздрагивает. Несомненно, что в этом наружном двоегласии в значительной мере был виноват пансион Комильфо. Там Лицемерие всем главным наукам выучилось: и «как по струнке ходить», и «как водой не замутить», и «как без мыла в душу влезть»; словом сказать, всему, что добродетельное житие обеспечивает. Но в то же время оно не избегло и влияния канкана, которым и стены, и воздух пансиона были пропитаны. Но, кроме того,

мадам Комильфо еще и тем подгадила, что сообщила Лицемерию подробности об его родителях. Об отце (Любострастии) сознавалась, что он был моветон и дерзкий — ко всем щипаться лез! Об матери (Смирение) — что она хотя не имела блестящей наружности, но так мило вскрикивала, когда ее щипали, что даже и не расположенные к щипанию Пороки (каковы Мздоимство, Любоначалие, Уныние и проч.) — и они не могли отказать себе в этом удовольствии.

Вот это-то среднее существо, глаза долу опускающее, но и из-под закрытых век блудливо окрест высматривающее, и выбрали Добродетели, чтоб войти в переговоры с Пороками, и такой общий *modus vivendi*⁵⁵ изобрести, при котором и тем и другим было бы жить вольготно.

— Да ты по нашему-то умеешь ли? — вздумало было предварительно проэкзаменовать его Галантерейное Обращение.

— Я-то? — изумилось Лицемерие, — да я вот как...

И не успели Добродетели опомниться, как у Лицемерия уж и глазки опущены, и руки на груди сложены, и румянчик на щеках играет... девица, да и шабаш!

— Ишь, дошлая! ну, а по-ихнему, по-порочному... как?

Но Лицемерие даже не ответило на этот вопрос. В один момент оно учинило нечто, ни для кого явственно не видимое, но до такой степени достоверное, что Прозорливость только сплунуло: «Тьфу!»

И затем все одинаково решили: написать у нотариуса Бизяева общую доверенность для хождения по всем добродетельским делам и вручить ее Лицемерию.

Взялся за гуж, не говори, что не дюж: как ни горько, а пришлось у Пороков пардону просить. Идет Лицемерие в ихний подлый вертеп и от стыда не знает, куда глаза девать. «Везде-то нынче это паскудство развелось! — жалуется оно вслух, а мысленно прибавляет: — Ах, хорошо Пороки живут!» И точно, не успело Лицемерие с версту от добродетельской резиденции отойти, как уж со всех сторон на него разлитым морем пахнуло. Смехи, да пляски, да игры — стон от веселья стоит. И город какой отменный Пороки для себя выстроили: просторный, светлый, с улицами и переулками, с площадями и бульварами. Вот улица Лжесвидетельства, вот площадь Предательства, а вот и Срамной бульвар. Сам Отец Лжи тут сидел и из лавочки клеветой распивочно и навывнос торговал.

Но как ни весело жили Пороки, как ни опытыны они были во всяких канальских делах, а увидевши Лицемерие, и они ахнули. С виду — ни дать, ни взять, сущая девица; но точно ли сущая — этого и сам черт не разберет. Даже Отец Лжи, который думал, что нет в мире той подлости, которой бы он не произошел, — и тот глаза вытаращил.

— Ну, — говорит, — это я об себе напрасно мечтал, будто вреднее меня на свете никого нет. Я — что! вот он, настоящий-то яд, где! Я больше

нахалом норовлю — оттого меня хоть и не часто, а все-таки от времени до времени с лестницы в три шеи спускают; а это сокровище, коли прильнет,— от него уж не отвертись! Так тебя опутает, так окружит, что куда все соки не вызудит — не выпустит!

Тем не менее, как ни велик был энтузиазм, возбужденный Лицемерием, однако и тут без розни не обошлось. Пороки солидные (аборигены), паче всего дорожившие преданиями старины, как, например: Суемудрие, Пустомыслие, Гордость, Человеконенавистничество и проч., — не только сами не пошли навстречу Лицемерию, но и других остерегали.

— Истинный порок не нуждается в прикрытии,— говорили они,— но сам свое знамя высоко и грозно держит. Что существенно нового может открыть нам Лицемерие, чего бы мы от начала веков не знали и не практиковали? — Положительно ничего. Напротив, оно научит нас опасным изворотам и заставит нас ежели не прямо стыдиться самих себя, то, во всяком случае, показывать вид, что мы стыдимся. *Caveant consules*⁵⁶! До сих пор у нас было достаточно твердых и верных последователей, но ведь они, видя наши извороты, могут сказать: «Должно быть, и впрямь Порокам туго пришлось, коль скоро они сами от себя отрицаться должны!» И отвернутся от нас, вот увидите — отвернутся.

Так говорили заматерелые Пороки-Катоны, не признававшие ни новых веяний, ни обольщений, ни обстановок. Родившись в навозе, они предпочитали задохнуться в нем, лишь бы не отступить от староотеческих преданий.

За ними шла другая категория Пороков, которые то-же не выказали особенного энтузиазма при встрече с Лицемерием, но не потому, однако, чтобы последнее претило им, а потому, что они уже и без посредства Лицемерия состояли в секретных отношениях с Добродетелями. Сюда принадлежали: Измена, Вероломство, Предательство, Наушничество, Ябеда и проч. Они не разразились кликами торжества, не рукоплескали, не предлагали здравия, а только подмигнули глазом: милости просим!

Как бы то ни было, но торжество Лицемерия было обеспечено. Молодежь, в лице Прелюбодеяния, Пьянства, Объедения, Распутства, Мордобития и проч., сразу созвала сходку и встретила парламентаря такими овациями, что Суемудрие тут же нашлось вынужденным прекратить свою воркотню навсегда.

— Вы только мутите всех, старые пакостники!— кричала старикам молодежь.— Мы жить хотим, а вы уныние наводите! Мы в хрестоматию попадем (это в особенности льстило), в салонах блистать будем! нас старушки будут любить!

Словом сказать, почва для соглашения была сразу найдена, так что когда Лицемерие, возвратившись восвояси, отдало Добродетелям отчет о своей миссии, то было единогласно признано, что всякий повод для существования Добродетелей и Пороков, как отдельных и враждебных

друг другу групп, устранен навсегда. Тем не менее старую номенклатуру упразднить не решались — почему знать, может быть, и опять понадобится? — но положили употреблять ее с таким расчетом, чтобы всем было видимо, что она прикрывает собой один только прах.

С тех пор пошло между Добродетелями и Пороками гостеприимство великое. Захочет Распутство побывать в гостях у Воздержания, возьмет под ручку Лицемерие, — и Воздержание уже издали, завидев их, приветствует:

— Милости просим! покорно прошу! У нас про вас...

И наоборот. Захочет Воздержание у Распутства постненьким полакомиться, возьмет под ручку Лицемерие, а у Распутства уж и двери все настезь:

— Милости просим! покорно прошу! У нас про вас... В постные дни постненьким потчуют, в скоромные — скоромненьким. Одной рукой крестное знамение творят, другой — неистовствуют. Одно око горе возводят, другим — непрестанно вожделеют. Впервые Добродетели сладости познали, да и Пороки не остались в убытке.

Напротив, всем и каждому говорят: «Никогда у нас таких лакомств не бывало, какими теперь походя жуируем!»

А Иванушка-Дурачок и о сию пору не может понять: отчего Добродетели и Пороки так охотно помирились на Лицемерии, тогда как гораздо естественнее было бы сойтись на том, что и те и другие суть «свойства» — только и всего.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИСКУССТВА
К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

(Фрагмент диссертации)

... Первое и общее значение всех произведений искусства, сказали мы,— воспроизведение интересных для человека явлений действительной жизни. Под действительною жизнью, конечно, понимаются не только отношения человека к предметам и существам объективного мира, но и внутренняя жизнь человека; иногда человек живет мечтами,— тогда мечты имеют для него (до некоторой степени и на некоторое время) значение чего-то объективного; еще чаще человек живет в мире своего чувства; эти состояния, если достигают интересности, так же воспроизводятся искусством. Мы упомянули об этом, чтобы показать, как нашим определением обнимается и фантастическое содержание искусства.

Но мы говорили выше, что, кроме воспроизведения, искусство имеет еще другое значение — объяснение жизни; до некоторой степени это доступно всем искусствам: часто достаточно обратить внимание на предмет (что всегда и делает искусство), чтобы объяснить его значение или заставить лучше понять жизнь. В этом смысле искусство ничем не отличается от рассказа о предмете; различие только в том, что искусство вернее достигает своей цели, нежели простой рассказ, тем более ученый рассказ; под формою жизни мы гораздо легче знакомимся с предметом, гораздо скорее начинаем интересоваться им, нежели тогда, когда находим сухое указание на предмет. Романы Купера более, нежели этнографические расказы и рассуждения о важности изучения быта дикарей, познакомили общество с их жизнью. Но если все искусства могут указывать новые интересные предметы, то поэзия всегда по необходимости указывает резким и ясным образом на существенные черты предмета. Живопись воспроизводит предмет со всеми подробностями, скульптура также; поэзия не может объять слишком много подробностей и, по необходимости выпуская из своих картин очень многое, сосредоточивает наше внимание на удержанных чертах. В этом видят преимущество поэтических картин перед действительностью; но то же самое делает и каждое отдельное слово со своим предметом: в слове (в понятии) также выпущены все случайные и оставлены одни существенные черты предмета; может быть, для неопытного соображения слово яснее самого предмета; но это уяснение есть только ослабление. Мы не отрицаем относительной пользы компендиумов; но не думаем, чтобы «Русская история» Тап не, очень полезная для детей, была лучше «Истории» Карамзина, из которой извлечена. Предмет или событие в поэтическом произведении может быть удобопонятнее, нежели в самой действительности; но мы признаем за ним

только достоинство живого и ясного указания на действительность, а не самостоятельное значение, которое могло бы соперничать с полнотою действительной жизни. Нельзя не прибавить, что всякий прозаический рассказ делает то же самое, что поэзия.

Сосредоточение существенных черт не есть характеристическая особенность поэзии, а общее свойство разумной речи.

Существенное значение искусства — воспроизведение того, чем интересуется человек в действительности. Но, интересуясь явлениями жизни, человек не может, сознательно или бессознательно, не произносить о них своего приговора; поэт или художник, не будучи в состоянии перестать быть человеком вообще, не может, если бы и хотел, отказаться от произнесения своего приговора над изображаемыми явлениями; приговор этот выражается в его произведении, — вот новое значение произведений искусства, по которому искусство становится в число нравственных деятельностей человека. Бывают люди, у которых суждение о явлениях жизни состоит почти только в том, что они обнаруживают расположение к известным сторонам действительности и избегают других — это люди, у которых умственная деятельность слаба, когда подобный человек — поэт или художник, его произведения не имеют другого значения, кроме воспроизведения любимых им сторон жизни. Но если человек, в котором умственная деятельность сильно возбуждена вопросами, порождаемыми наблюдением жизни, одарен художническим талантом, то в его произведениях, сознательно или бессознательно, выразится стремление произнести живой приговор о явлениях, интересующих его (и его современников, потому что мыслящий человек не может мыслить над ничтожными вопросами, никому, кроме него, не интересными), будут предложены или раз решены вопросы, возникающие из жизни для мыслящего человека; его произведения будут, чтобы так выразиться, сочинениями на темы, предлагаемые жизнью. Это направление может находить себе выражение во всех искусствах (напр., в живописи можно указать на карикатуры Гогарта), но преимущественно развивается оно в поэзии, которая представляет полнейшую возможность выразить определенную мысль. Тогда художник становится мыслителем, и произведение искусства, оставаясь в области искусства, приобретает значение научное. Само собою разумеется, что в этом отношении произведения искусства не находят себе ничего соответствующего в действительности, — но только по форме; что касается до содержания, до самых вопросов, предлагающихся или разрешаемых искусством, они все найдутся в действительной жизни, только без преднамеренности, без *agir-pensée*. Предположим, что в произведении искусства развивается мысль: «временное уклонение от прямого пути не погубит сильной натуры», или: «одна крайность вызывает другую»; или изображается распадение человека с самим собою; или, если угодно, борьба страстей с высшими стремлениями (мы указываем раз

личные основные идеи, которые видели в «Фаусте»),— разве не представляются в действительной жизни случаи, в которых развивается то же самое положение? Разве из наблюдения жизни не выводится высокая мудрость? Разве наука не есть простое отвлечение жизни, подведение жизни под формулы? Все, что высказывается наукою и искусством, найдется в жизни, и найдется в полнейшем, совершеннейшем виде, со всеми живыми подробностями, в которых обыкновенно и лежит истинный смысл дела, которые часто не понимаются наукой и искусством, еще чаще не могут быть ими обняты; в действительной жизни все верно, нет недосмотров, нет односторонней узкости взгляда, которую страждет вся кое человеческое произведение,— как поучение, как наука, жизнь полнее, правдивее, даже художественнее всех творений ученых и поэтов. Но жизнь не думает объяснять нам своих явлений, не заботится о выводе аксиом; в произведениях науки и искусства это сделано; правда, выводы неполны, мысли односторонни в сравнении с тем, что представляет жизнь; но их извлекли для нас гениальные люди, без их помощи наши выводы были бы еще одностороннее, еще беднее. Наука и искусство (поэзия)— «Handbuch» для начинающего изучать жизнь; их значение — приготовить к чтению источников и потом от времени до времени служить для справок. Наука не думает скрывать этого; не думают скрывать этого и поэты в беглых замечаниях о сущности своих произведений; одна эстетика продолжает утверждать, что искусство выше жизни и действительности.

Соединяя все сказанное, получим следующее воззрение на искусство: существенное значение искусства — воспроизведение всего, что интересно для человека в жизни; очень часто, особенно в произведениях поэзии, выступает также та первый план объяснение жизни, приговор о явлениях ее. Искусство относится к жизни совершенно так же, как история; различие по содержанию только в том, что история говорит о жизни человечества, искусство— о жизни человека, история — о жизни общественной, искусство — о жизни индивидуальной. Первая задача истории — воспроизвести жизнь; вторая, исполняемая не всеми историками,— объяснить ее; не заботясь о второй задаче, историк остается простым летописцем, и его произведение — только материал для настоящего историка или чтение для удовлетворения любопытства; думая о второй задаче, историк становится мыслителем, и его творение приобретает чрез это научное достоинство. Совершенно то же самое надобно сказать об искусстве. История не думает соперничествовать с действительною историческою жизнью, сознается, что ее кар тины бледны, неполны, более или менее неверны или по крайней мере односторонни. Эстетика также должна признать, что искусство точно так же и по тем же самым причинам не должно и думать сравниться с действительностью, тем более превзойти ее красотой.

Но где же творческая фантазия при таком воззрении на искусство? Какая же роль предоставляется ей? Не будем говорить о том, откуда протекает в искусстве право фантазии видоизменять виденное и слышанное поэтом. Это ясно из цели поэтического создания, от которого требуется верное воспроизведение известной стороны жизни, а не какого-нибудь отдельного случая; посмотрим только, в чем необходимость вмешательства фантазии, как способности переделывать (посредством комбинации) воспринятое чувствами и создавать нечто новое по форме. Предполагаем, что поэт берет из опыта собственной жизни событие, вполне ему известное (это случается не часто; обыкновенно многие подробности остаются малоизвестны и для связности рассказа должны быть дополняемы соображением); предполагаем также, что взятое событие совершенно закончено в художественном отношении, так что простой рассказ о нем был бы вполне художественным произведением, т. е. берем случай, когда вмешательство комбинирующей фантазии кажется наименее нужным. Как бы сильна ни была память, она не в состоянии удержать всех подробностей, особенно тех, которые неважны для сущности дела; но многие из них нужны для художественной полноты рассказа и должны быть заимствованы из других сцен, оставшихся в памяти поэта (напр., ведение разговора, описание местности и т. д.); правда, что дополнение события этими подробностями еще не изменяет его, и различие художественного рассказа от передаваемого в нем события ограничивается пока одною формою. Но этим не исчерпывается вмешательство фантазии. Событие в действительности было перепутано с другими событиями, находившимися с ним только во внешнем сцеплении, без существенной связи; но когда мы будем отделять избранное нами событие от других происшествий и от ненужных эпизодов, мы увидим, что это отделение оставит новые пробелы в жизненной полноте рассказа; поэт опять должен будет восполнять их. Этого мало: отделение не только отнимает жизненную полноту у многих моментов событий, но часто изменяет их характер,— и событие явится в рассказе уже не таким, каково было в действительности, или, для сохранения сущности его, поэт принужден будет *изменять* многие подробности, которые имеют истинный смысл в событии только при его действительной обстановке, отнимаемой изолирующим рассказом. Как видим, круг деятельности творческих сил поэта очень мало стесняется нашими понятиями о сущности искусства. Но предмет нашего исследования — искусство как объективное произведение, а не субъективная деятельность поэта; потому было бы неуместно вдаваться в исчисление различных отношений поэта к материалам его произведения: мы показали одно из этих отношений, наименее благоприятствующее самостоятельности поэта и нашли, что при нашем воззрении на сущность искусства художник и в этом положении не теряет существенного характера, принадлежащего не поэту или художнику в

частности, а вообще человеку во всей его деятельности,— того существеннейшего человеческого права и качества, чтобы смотреть на объективную действительность только как на материал, только как на поле своей деятельности, и, пользуясь ею, подчинять ее себе. Еще обширнее круг вмешательства комбинирующей фантазии при других обстоятельствах: когда, например, поэту не вполне известны подробности события, когда он знает о нем (и действующих лицах) только по чужим рассказам, всегда односторонним, не верным или неполным в художественном отношении, по крайней мере с личной точки зрения поэта. Но необходимость комбинировать и видоизменять проистекает не из того, чтобы действительная жизнь не представляла (и в гораздо лучшем виде) тех явлений, которые хочет изобразить поэт или художник, а из того, что картина действительной жизни принадлежит не той сфере бытия, как действительная жизнь; различие рождается оттого, что поэт не располагает теми средствами, какими располагает действительная жизнь. При переложении оперы для фортепиано теряется большая и лучшая часть подробностей и эффектов; многое решительно не может быть с человеческого голоса или с полного оркестра переведено на жалкий, бедный, мертвый инструмент, который дол жен по мере возможности воспроизвести оперу; потому при аранжировке многое должно быть переделываемо, многое дополняемо — не с тою надеждою, что в аранжировке опера выйдет лучше, нежели в первоначальном своем виде, а для того, чтобы сколько-нибудь вознаградить необходимую порчу оперы при аранжировке; не потому, чтобы аранжировщик исправлял ошибки композитора, а просто потому, что он не располагает теми средствами, какими владеет композитор. Еще больше различия в средствах действительной жизни и поэта. Переводчик поэтического произведения с одного языка на другой должен до некоторой степени переделывать переводимое произведение; как же не являться необходимости переделки при переводе события с языка жизни на скудный, бледный, мертвый язык поэзии?

Апология действительности сравнительно с фантазией, стремление доказать, что произведения искусства решительно не могут выдержать сравнения с живой действительностью, вот сущность этого рассуждения. Говорить об искусстве так, как говорит автор, не значит ли унижать искусство?— Да, если показывать, что искусство *ниже* действительной жизни по художественному совершенству своих произведений, значит унижать искусство; но восставать против панегириков не значит еще быть хулителем. Наука не думает быть выше действительности; это не стыд для нее. Искусство также не должно думать быть выше действительности; это не унизительно для него. Наука не стыдится говорить, что цель ее — понять и объяснить действительность, потом применить ко благу человека свои объяснения; пусть и искусство не стыдится признаться, что цель его:

для вознаграждения человека в случае отсутствия полнейшего эстетического наслаждения, доставляемого действительностью, воспроизвести, по мере сил, эту драгоценную действительность и ко благу человека объяснить ее.

Пусть искусство довольствуется своим высоким, прекрасным назначением: в случае отсутствия действительности быть некоторою заменою ее и быть для человека учебником жизни.

Действительность выше мечты, и существенное значение выше фантастических притязаний.

Задачею автора было исследовать вопрос об эстетических отношениях произведений искусства к явлениям жизни, рассмотреть справедливость господствующего мнения, будто бы истинно прекрасное, которое принимается существенным содержанием произведений искусства, не существует в объективной действительности и осуществляется только искусством. С этим вопросом неразрывно связаны вопросы о сущности прекрасного и о содержании искусства. Исследование вопроса о сущности прекрасного привело автора к убеждению, что прекрасное есть — жизнь. После такого решения надобно было исследовать понятия возвышенного и трагического, которые, по обыкновенному определению прекрасного, подходят под него, как моменты, и надобно было признать, что возвышенное и прекрасное—не подчиненные друг другу предметы искусства. Это уже было важным пособием для решения вопроса о содержании искусства. Но если прекрасное есть жизнь, то сам собою решается вопрос об эстетическом отношении прекрасного в искусстве к прекрасному в действительности. Пришедши к выводу, что искусство не может быть обязано своим происхождением недовольству человека прекрасным в действительности, мы должны были отыскивать, вследствие каких потребностей возникает искусство, и исследовать его истинное значение. Вот главнейшие из выводов, к которым привело это исследование:

1) Определение прекрасного: «прекрасное есть полное проявление общей идеи в индивидуальном явлении»— не выдерживает критики; оно слишком широко, будучи определением формального стремления всякой человеческой деятельности.

2) Истинное определение прекрасного таково: «прекрасное есть жизнь»; прекрасным существом кажется человеку то существо, в котором он видит жизнь, как он ее понимает; прекрасный предмет — тот предмет, который напоминает ему о жизни.

3) Это объективное прекрасное, или прекрасное по своей сущности, должно отличаться от совершенства форм, которое состоит в единстве идеи и формы, или в том, что предмет вполне удовлетворяет своему назначению.

4) Возвышенное действует на человека вовсе не тем, что пробуждает идею абсолютного; оно почти никогда не пробуждает ее.

5) Возвышенным кажется человеку то, что гораздо больше предметов или гораздо сильнее явлений, с которыми сравнивается человеком.

6) Трагическое не имеет существенной связи с идеей судьбы или необходимости. В действительной жизни трагическое большею частью случайно, не вытекает из сущности предшествующих моментов. Форма необходи мости, в которую облачается оно искусством,— следствие обыкновенного принципа произведений искусства: «развязка должна вытекать из завязки», или неуместное подчинение поэта понятиям о судьбе.

7) Трагическое по понятиям нового европейского образования есть «ужасное в жизни человека».

8) Возвышенное (и момент его, трагическое) не есть видоизменение прекрасного; идеи возвышенного и прекрасного совершенно различны между собою; между ними нет ни внутренней связи, ни внутренней противоположности.

9) Действительность не только живет, но и совершеннее фантазии. Образы фантазии — только бледная и почти всегда неудачная переделка действительности.

10) Прекрасное в объективной действительности вполне прекрасно.

11) Прекрасное в объективной действительности совершенно удовлетворяет человека.

12) Искусство рождается вовсе не от потребности человека восполнить недостатки прекрасного в действительности.

13) Создания искусства ниже прекрасного в действительности не только потому, что впечатление, производи мое действительностью, живет впечатления, производимого созданиями искусства: создания искусства ниже прекрасного (точно так же, как ниже возвышенного, трагического, комического) в действительности и с эстетической точки зрения.

14) Область искусства не ограничивается областью прекрасного в эстетическом смысле слова, прекрасного по живой сущности своей, а не только по совершенству формы: искусство воспроизводит все, что есть интересного для человека в жизни.

15) Совершенство формы (единство идеи и формы) не составляет характеристической черты искусства в эстетическом смысле слова (изящных искусств); прекрасное как единство идеи и образа, или как полное осуществление идеи, есть цель стремления искусства в обширнейшем смысле слова или «уменья», цель вся кой практической деятельности человека.

16) Потребность, рождающая искусство в эстетическом смысле слова (изящные искусства), есть та же самая, которая очень ясно

выказывается в портретной живописи. Портрет пишется не потому, чтобы черты живого человека не удовлетворяли нас, а для того, что бы помочь нашему воспоминанию о живом человеке, когда его нет перед нашими глазами, и дать о нем некоторое понятие тем людям, которые не имели случая его видеть. Искусство только напоминает нам своими воспроизведениями о том, что интересно для нас в жизни, и старается до некоторой степени познакомить нас с теми интересными сторонами жизни, которых не имели мы случая испытать или наблюдать в действительности.

17) Воспроизведение жизни — общий, характеристический признак искусства, составляющий сущность его; часто произведения искусства имеют и другое значение— объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни.

ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Есть много слов, не имеющих точного определения, смешиваемых одно с другим, но вместе с тем необходимых для передачи мыслей,— таковы слова: воспитание, образование и даже обучение.

Педагоги никогда не признают различия между образованием и воспитанием, а вместе с тем не в состоянии выражать своих мыслей иначе, как употребляя слово: образование, воспитание, обучение или преподавание. Необходимо должны быть отдельные понятия, соответствующие этим словам. Может быть, есть причина, почему мы инстинктивно не хотим употреблять эти понятия в точном и настоящем их смысле; но понятия эти существуют и имеют право существовать отдельно. В Германии существует ясное подразделение понятий — Erziehung (воспитание) и Unterricht (преподавание). Признано, что воспитание включает в себя преподавание, что преподавание есть одно из главных средств воспитания, что всякое преподавание носит в себе воспитательный элемент, *erziehliges Element*. Понятие же — образование, *Bildung*, смешивается либо с воспитанием, либо с преподаванием. Немецкое определение, самое общее, будет следующее: воспитание есть образование наилучших людей, сообразно с выработанным известной эпохой идеалом человеческого совершенства. Преподавание, вносящее нравственное развитие, есть хотя и не исключительное средство к достижению цели, но одно из главнейших средств к достижению ее, в числе которых, кроме преподавания, есть постановление воспитываемого в известные, выгодные для цели воспитания, условия—дисциплина и насилие, *Zucht*.

В последних номерах журналов: «Время», «Библиотека для чтения», «Воспитание» в «Современник» были статьи об «Ясной Поляне». На днях прочел я статью в «Русском вестнике», весьма сильно затрогивающую меня во многих отношениях, и на которую предполагаю отвечать особо.

Повторю еще раз сказанное мною в 1-м номере: я боюсь полемики, втягивающей в личное и недоброжелательное пустословие, как статья «Современника», ищу и дорожу той полемикой, которая вызывает на объяснения недосказанного и на уступки в преувеличенности и односторонности. Я прошу от критики не голословных похвал, основанных на личном воззрении и доказывающих симпатию лица к лицу или склада мыслей к складу мыслей, глажения по головке за то, что дитя занимается делом и хорошо старается, не голословных порицаний с известным приемом выписок с вопросительными и восклицательными знаками, доказывающими только личную антипатию, я прошу только или презрительного молчания, или добросовестного опровержения всех моих основных положений и выводов. Я говорю это в особенности потому, что 3-х-летняя деятельность моя довела меня до результатов, столь противоположных общепринятым, что не может быть ничего легче подтрунивания, с помощью вопросительных знаков и притворного недоумения, над сделанными мною выводами. Другая моя просьба к

будущим моим критикам состоит в том, чтобы соглашаться или не соглашаться со мною. Большинство мнений, выраженных до сих пор об «Ясной Поляне», похоже на следующее: «Свобода воспитания полезна, нельзя отрицать этого, но выводы, до которых доходит «Ясная Поляна», крайни и односторонни».

Мне кажется, мало сказать: это крайность,— надо указать причину, доведшую до крайности. Выводы мои основываются не на одной теории, а на теории и на фактах. В обоих отношениях я прошу только одного: или полноты и серьезности презрения, или полноты и серьезности согласия или возражения. Из всех мыслей и недоумений, выраженных в первых статьях об «Ясной Поляне», более всех требующими объяснений оказались две мысли в статье журнала для «Воспитания». В ней особенно поразили меня две мысли. Одна замечательная мысль относится к значению литературного языка, как явления ненормального и случайного. Об этом вопросе поговорим впоследствии. Теперь же займемся исключительно разъяснением тех вопросов о праве вмешательства школы в дело воспитания, которые рецензент ставит следующим образом:

«Ожидая дальнейших результатов от полной свободы учения, предоставленной ученикам яснополянкой школы, мы но можем, однако, не обратить внимания на следующее: чем же должна быть школа, если она не должна вмешиваться в дело воспитания? И что значит это невмешательство школы в дело воспитания? Ужели можно отделять воспитание от ученья, особенно первоначального, когда воспитательный элемент вносится в молодые умы даже и в высших школах?» (Примеч. Л. Н. Толстого.)

Дух человеческий, говорят немцы, должен быть выломан, как тело, гимнастикой. *Der Geist, muss gezüchtigt werden.*

Образование, *Bildung*, в Германии, в обществе и даже иногда в педагогической литературе, как сказано, или смешивается с преподаванием и воспитанием, или признается явлением общественным, до которого нет дела педагогике. Во французском языке я даже не знаю слова, соответствующего понятию — образование: *education, instruction, civilisation*⁵⁷ совершение другие понятия. Точно так же и в английском нет слова, соответствующего понятию — образование.

Германские педагоги-практики иногда даже вовсе не признают подразделения воспитания и образования; то и другое сливается в их понятии в одно целое, нераздельное. Беседуя с знаменитым Дистервегом, я навел его па вопрос об образовании, воспитании и преподавании. Дистервег с злою иронией отозвался о людях, подразделяющих то и другое,— в его понятиях то и другое сливается. А вместе с тем мы говорили о *воспитании, образовании и преподавании* и ясно понимали друг друга. Он сам сказал, что *образование* носит в себе элемент *воспитательный*, который заключается в каждом преподавании.

Что же значат эти слова, как они понимаются и как должны быть понимаемы?

Я не буду повторять тех споров и бесед, которые имел с педагогами об этом предмете, ни выписывать из книг тех противоречащих мнений, которые живут в литературе о том же предмете,— это было бы

слишком длинно, и каждый, прочтя первую педагогическую статью, может проверить истину моих слов,— а здесь постараюсь объяснить происхождение этих понятий, их различие и причины неясности их понимания.

В понятии педагогов воспитание включает в себя преподавание.

Так называемая наука педагогика занимается только воспитанием и смотрит на образовывающегося человека, как на существо, совершенно подчиненное воспитателю. Только через его посредство образовывающийся получает образовательные или воспитательные впечатления, будут ли эти впечатления — книги, рассказы, требования запоминания, художественные или телесные упражнения. Весь внешний мир допускается к воздействию на ученика только настолько, насколько воспитатель находит это удобным. Воспитатель старается окружить свою питомца непроницаемой стеной от влияния мира и только сквозь свою научную школьно-воспитательную воронку пропускает то, что считает полезным. Я не говорю о том, что делалось или делается у так называемых отсталых людей, я не воюю с мельницами, я говорю о том, как понимается и прилагается воспитание у так называемых самых лучших передовых воспитателей. Везде влияние жизни отстранено от забот педагога, везде школа обстроена кругом китайскою стеной книжной мудрости, сквозь которую пропускается жизненное образовательное влияние только настолько, насколько это нравится воспитателям. Влияние жизни не признается. Так смотрит наука педагогика, потому что признает за собой право знать, что нужно для образования наилучшего человека, и считает возможным устранить от воспитанника всякое вневоспитательное влияние; так поступает и практика воспитания.

На основании такого взгляда естественно смешивается воспитание и образование, ибо признается, что не будь воспитания, не было бы и образования. В последнее же время, когда смутно начала сознаваться потребность свободы образования, лучшие педагоги пришли к убеждению, что преподавание есть единственное средство воспитания, но преподавание принудительное, обязательное, и потому стали смешивать все три понятия — воспитание, образование и обучение.

По понятиям педагога-теоретика, воспитание есть действие одного человека на другого и включает в себя три действия: 1) нравственное или насильственное влияние воспитателя,— образ жизни, наказания, 2) обучение и преподавание и 3) руководство жизненными влияниями на воспитываемого. Ошибка и смешение понятий, по нашему убеждению, происходят оттого, что педагогика принимает своим предметом воспитание, а не образование, и не видит невозможности для воспитателя предвидеть, соразмерить и определить все влияния жизни. Каждый педагог соглашается, что жизнь вносит свое влияние и до школы, и после школы, и, несмотря на все старание устранить ее, и во время школы. Влияние это так

сильно, что большею частью уничтожается все влияние школьного воспитания; но педагог видит и этом только недостаточность развития науки и искусства педагогики и все-таки признает своею задачей воспитание людей по известному образцу, а не образование, то есть изучение путей, посредством которых образуются люди, и содействие этому свободному образованию. Я соглашаюсь, что Unterricht, учение, преподавание, есть часть Erziehung, воспитания, но образование включает в себя то и другое.

Воспитание не есть предмет педагогики, но одно из явлений, на которое педагогика не может не обратить внимания; предметом же педагогики должно и может быть только образование. Образование в обширном смысле, по нашему убеждению, составляет совокупность всех тех влияний, которые развивают человека, дают ему более обширное миросозерцание, дают ему новые сведения. Детские игры, страдания, наказания родителей, книги, работы, учение насильственное и свободное, искусства, науки, жизнь — все образовывает.

Образование вообще понимается или как последствие всех тех влияний, которые жизнь оказывает на человека (в смысле «образование человека» мы говорим — образованный человек), или как самое влияние на человека всех жизненных условий (в смысле «образование немца, русского мужика, барина», мы говорим — человек получил плохое образование или хорошее и т. п.). Только с этим последним мы имеем дело.

Воспитание есть воздействие одного человека на другого с целью заставить воспитываемого усвоить известные нравственные привычки. (Мы говорим — «они его воспитали лицемером, разбойником или добрым человеком». «Спартанцы воспитывали мужественных людей». «Французы воспитывают односторонних и самодовольных».) Преподавание есть передача сведений одного человека другому (преподавать можно шахматную игру, историю, сапожное мастерство). Учение — оттенок преподавания, есть воздействие одного человека на другого с целью заставить ученика усвоить известные физические привычки (учить петь, плотничать, танцевать, грести веслами, говорить наизусть). Преподавание и учение суть средства образования, когда они свободны, и средства воспитания, когда учение насильственно и когда преподавание исключительно, то есть преподаются только те предметы, которые воспитатель считает нужными. Истина ясна и инстинктивно сказывается каждому. Сколько бы мы ни старались сливать раздельное и подразделять неразделимое и подделывать мысль под порядок существующих вещей — истина очевидна.

Воспитание есть принудительное, насильственное воздействие одного лица на другое с целью образовать такого человека, который нам кажется хорошим; а образование есть свободное отношение людей, имеющее своим основанием потребность одного приобретать сведения, а

другого — сообщать уже приобретенное им. Преподавание, Unterricht, есть средство как образования, так и воспитания. Различие воспитания от образования только в насилии, право на которое признает за собою воспитание. Воспитание есть образование на-сильственное. Образование свободно.

Воспитание — французское *éducation*, английское *education*, немецкое *Erziehung* — понятия, существующие в Европе, образование же есть понятие, существующее только в России и отчасти в Германии, где имеется почти соответствующее слово — *Bildung*. Во Франции же и Англии это понятие и слово вовсе не существует. *Civilisation* есть просвещение, *instruction* есть понятие европейское, непере译имое по-русски, означающее богатство школьных научных сведений или передачу их, но не есть образование, включающее в себя и научные знания, и искусства, и физическое развитие.

Я говорил в 1-м № «Ясной Поляны» о праве насилия в деле образования и старался доказать, что, во 1-х, насилие невозможно, во 2-х, не приводит ни к каким результатам или к печальным, в 3-х, что насилие это не может иметь другого основания, кроме произвола (черкес учит воровать, магометанин убивать неверных). Воспитания, как предмета науки, нет. Воспитание есть возведенное в принцип стремление к нравственному деспотизму. Воспитание есть, я не скажу — выражение дурной стороны человеческой природы, но явление, доказывающее неразвитость человеческой мысли и потому не могущее быть положенным основанием разумной человеческой деятельности — науки.

Воспитание есть стремление одного человека сделать другого таким же, каков он сам. (Стремление бедного отнять богатство у богатого, чувство зависти старого при взгляде на свежую и сильную молодость, — чувство зависти, возведенное в принцип и теорию.) Я убежден, что воспитатель только потому может с таким жаром заниматься воспитанием ребенка, что в основе этого стремления лежит зависть к чистоте ребенка и желание сделать его похожим на себя, то есть больше испорченным.

Я знаю барышника-дворника, постоянно подлыми путями сбивающего себе копейку, который, на мои увещания и подольщения отдать славного 12-ти-летнего своего сынишку ко мне в яснополянскую школу, в самодовольную улыбку распуская свою красную рожу, постоянно отвечает одно и то же: «оно так-то так, ваше сиятельство, да мне нужнее всего прежде напитать его своим духом». И он его везде таскает с собой и хвастается тем, что 12-ти-летний сынишка научился обдывать мужиков, сыпяющих отцу пшеницу. Кто не знает отцов, воспитанных в юнкерах и корпусах, считающих только то образование хорошим, которое пропитано тем самым духом, в котором эти отцы сами воспитались? Разве не точно так же пропитывают своим духом профессора в университетах и монахи в семинариях? Мне не хочется доказывать то, что я раз уже доказывал, и то,

что слишком легко доказать, что воспитание, как умышленное формирование людей по известным образцам,— *не плодотворно, не законно и не возможно*. Здесь я ограничусь одним вопросом. Права воспитания не существует. Я не признаю его, не признает, не признавало и не будет признавать его все воспитываемое молодое поколение, всегда и везде возмущающееся против насилия воспитания. *Чем вы докажете это право?* Я не знаю и не полагаю ничего, а вы признаете и полагаете новое, для нас не существующее право одного человека делать из других людей таких, каких ему хочется. Докажите это право, но только не тем, что факт злоупотребления властью существует и давно уже существовал. Не вы истцы, а мы — вы же ответчики. Мне уже несколько раз устно и печатно возражали на мысли, выраженные в «Ясной Поляне», так, как успокаивают беспокойное дитя. Мне говорили: «без сомнения, воспитывать так, как воспитывались в средневековых монастырях, без сомнения, это нехорошо, но гимназии, университеты совсем другое дело». Другие еще говорили: «без сомнения, это так, но, приняв во внимание и т. д. такие-то и такие-то обстоятельства, надо согласиться, что иначе невозможно». Такой прием возражений, мне кажется, обличает не серьезность, а слабость мысли. Вопрос поставлен так: имеет или нет один человек право на воспитание другого? Нельзя отвечать,— нет, но, однако же... Необходимо ответить: да или нет. Если да,— то жидовская синагога, дьячковское училище имеют столь же законное право существования, как все ваши университеты. Если нет, то и ваш университет, как воспитательное заведение, столь же незаконен, если только он не совершенен, и все не признают его таковым. Я не вижу середины, и не по одной теории, но и в действительности. Для меня одинаково возмутительны гимназия с своею латынью и профессор университета с своим радикализмом или материализмом. Ни гимназист, ни студент не имеют свободы выбора. По моим наблюдениям, даже результаты всех этих родов воспитания одинаково уродливы. Разве не очевидно, что курсы ученья наших высших учебных заведений будут в XXI столетии казаться нашим потомкам столь же странными и бесполезными, какими нам кажутся теперь средневековые школы? Так легко прийти к тому простому заключению, что если в истории человеческих знаний не было абсолютных истин, а одни ошибки постоянно сменялись другими, то на каком основании принуждать молодое поколение усваивать те знания, которые наверное окажутся ошибочными? Скажут и говорили: если так было всегда, то о чем вы хлопчете! — так и должно быть. — Я никак не вижу этого. Если люди всегда убивали друг друга, то из этого никак не следует, чтобы это всегда так должно было быть и чтобы убийство нужно было возводить в принцип, особенно если бы найдены были причины этих убийств и указана возможность обойтись без них. Главное же, зачем вы, признавая общее человеческое право воспитания, осуждаете дурное воспитание? Осуждает отец, отдавши своего сына в гимназию, осуждает

религия, глядя на университеты, осуждает правительство, осуждает общество. Или признать *за каждым право* или ни за кем. — Я не вижу середины. Наука должна решить вопрос: имеем ли мы право воспитания или нет? Отчего не сказать правды? Ведь университет не любит поповского образования и говорит, что нет ничего хуже семинарий; духовные не любят университетского образования и говорят, что нет ничего хуже университетов, что это только школы гордости и атеизма; родители осуждают университеты, университеты осуждают кадетские корпуса, правительство осуждает университеты, и наоборот. Кто же прав, кто виноват? Здравая мысль в живом, не в мертвом народе, в виду таких вопросов, не может заниматься составлением картинок для наглядного обучения, ей необходимо ответить на эти вопросы. А будет ли эта мысль называться педагогика или нет — это все равно. Есть два ответа: или признать право за тем, к кому мы ближе, или кого мы больше любим или боимся, как делает это большинство (поп я, то считаю семинарии лучше всего; военный я, то предпочитаю кадетский корпус; студент, то признаю одни университеты. Так делаем мы все, только обставляя свои пристрастия более или менее остроумными доводами и вовсе не замечая, что все наши противники делают то же самое), или ни за кем не признавать права воспитания. Я избрал этот последний путь и старался доказать — почему.

Я говорю, что университеты не только русские, но и во всей Европе, как скоро не совершенно свободны, не имеют другого основания, как произвол, и столь же уродливы, как монастырские школы. Я прошу будущих критиков не стусевывать моих выводов: или я вру, или ошибается вся педагогика, середины не может быть. Итак, до тех пор, пока не будет доказано права воспитания, я не признаю его. Но тем не менее, не признавая права воспитания, я не могу не признавать самого явления, факта воспитания, и должен объяснить его. Откуда взялось воспитание и тот странный взгляд нашего общества, то необъяснимое противоречие, вследствие которого мы говорим: эта мать дурна, она не имеет права воспитывать свою дочь,— отнять ее у матери; это заведение дурно,— уничтожить его; а это заведение хорошо,— надо поддержать его? Вследствие чего существует воспитание?

Если существует веками такое ненормальное явление, как насилие в образовании — воспитание, то причины этого явления должны корениться в человеческой природе. Причины эти я вижу: 1) в семье, 2) в религии, 3) в государстве и 4) в обществе (в тесном смысле — у нас, в кругу чиновников и дворянства).

Первая причина состоит в том, что отец и мать, какие бы они ни были, желают сделать своих детей такими же, как они сами, или, по крайней мере, такими, какими бы они желали быть сами. Стремление это так естественно, что нельзя возмущаться против него. До тех пор, пока право свободного развития каждой личности не вошло в сознание каждого

родителя, нельзя требовать ничего другого. Кроме того, родители более всякого другого будут зависеть от того, чем сделается их сын; так что стремление их воспитать его по-своему может назваться ежели не справедливым, то естественным.

Вторая причина, порождающая явление воспитания, есть религия. Как скоро человек — магометанин, жид или христианин — твердо верит, что человек, не признающий его учение, не может быть спасен и губит свою душу навеки, он не может не желать, хотя насильно, обратить и воспитать каждого ребенка в своем учении.

Повторяю еще раз: религия есть единственное, законное и разумное основание воспитания.

Третья и самая существенная причина воспитания заключается в потребности правительств воспитать таких людей, какие им нужны для известных целей. На основании этой потребности основываются кадетские корпуса, училища правоведения, инженерные и другие школы. Если бы не было слуг правительству, не было бы правительства; если бы не было правительства, не было бы государства. Стало быть, и эта причина имеет неоспоримые оправдания.

Четвертая причина, наконец, лежит в потребности общества, того общества в тесном смысле, которое у нас представляется дворянством, чиновничеством и отчасти купечеством. Этому обществу нужны помощники, потворщики и участники.

Замечательно то — я прошу читателя, для ясности последующего, обратить на это обстоятельство особое внимание — замечательно то, что в науке и литературе встречаются постоянно нападки на насилие воспитания семейного (говорят: родители развращают своих детей,— а кажется, как естественно, чтобы отец и мать желали сделать своих детей такими же, как они сами) ; встречаются нападки на религиозное воспитание (кажется, год тому назад вся Европа стонала за одного жиденка, воспитанного насильно христианином; а нет ничего законнее желания дать попавшемуся мне ребенку средство вечного спасения в той единственной религии, в которую я верую) ; встречаются нападки на воспитание чиновников, офицеров; а как же необходимому для всех нас правительству не образовывать для себя и для нас служителей? Но на образование общественное не слышно нападков. Привилегированное общество с своим университетом всегда право, а несмотря на то, оно воспитывает в понятиях, противных народу, всей массе народа, и не имеет оправдания кроме гордости. Отчего это? Я думаю, только оттого, что мы не слышим голоса того, кто нападает на нас, не слышим потому, что он говорит не в печати и не с кафедры. А это могучий голос народа, надо прислушиваться к нему.

Возьмите в наше время и в нашем обществе какое хотите общественное заведение — от народной школы и приюта для бедных детей до женского пансиона, до гимназий и университетов,— во всех этих

заведениях вы найдете одно непонятное, но никому не бросающееся в глаза явление. Родители, начиная с крестьян, мещан до купцов и дворян, жалуются на то, что детей их воспитывают в чуждых их среде понятиях. Купцы и старого века дворяне говорят: мы не хотим гимназий и университетов, которые сделают из наших детей безбожников вольнодумцев. Крестьяне и мещане не хотят школ, приютов и пансионов, чтобы не сделали из их детей белоручек и писарей вместо пахарей. Вместе с тем все воспитатели без исключения, от народных школ до высших учебных заведений, заботятся об одном — воспитать вверенных им детей так, чтобы дети эти не были похожи на своих родителей. Некоторые воспитатели наивно признаются, некоторые, хотя не признаваясь, считают сами себя образцами того, чем должны быть, а родителей — образцами той грубости, того невежества и тех пороков, какими не должны быть их воспитанники. Воспитательница, уродливое, изломанное жизнью создание, полагающая все совершенство человеческой природы в искусстве приседать, надевать воротнички и во французском языке, конфиденциально сообщает вам, что она мученица своих обязанностей, что все ее труды воспитания пропадают даром от невозможности удалить совершенно детей от влияния родителей, что воспитанницы ее, начинавшие уже забывать русский язык и начинавшие скверно говорить по-французски, начинавшие забывать обращение с кухарками, возню на кухне и бегание босиком, а слава богу, выучившие уже Александра Македонского и Гваделупу, при свидании с домашними — увы! забывают все это и усваивают вновь свои тривиальные привычки. Воспитательница эта не только, не стесняясь перед своими воспитанницами, будет подтрунивать над их матерями или вообще над всеми женщинами, принадлежащими к их кругу, но она считает своею заслугой посредством иронии над прежнею средой воспитанниц переменить их взгляд и понятия. Я не говорю уже о той искусной материальной обстановке, которая должна совершенно изменить весь взгляд воспитываемых. Дома все удобства жизни — вода, пироги, хорошая провизия, хорошо приготовленный обед, чистота и удобство помещения — все зависело от трудов и забот матери и всего семейства. Больше трудов и забот — больше удобства, меньше трудов и забот — меньше удобства. Простая штучка, но, я смею думать, больше поучительная, чем французский язык и Александр Македонский. При общественном же воспитании это постоянно-жизненное возмездие за труд до такой степени устранено, что не только не будут хуже или лучше обед, чище или чернее наволочки, лучше или хуже натерты полы,— будет ли ученица о том заботиться или нет, но у ней нет даже своей келейки, своего уголка, который бы она могла убрать или не убрать по-своему, нет возможности из лоскутков и лент сделать себе наряд. «Ну, что, лежачего не бьют,— скажут девять десятых читателей,— что и говорить о пансионах и т. п.». Нет, они не лежащие, они стоячие — и крепко стоячие на опоре права воспитания.

Пансионы несколько не уродливее гимназий, университетов. В основании тех и других лежит один и тот же принцип: признанное за одним человеком или небольшим собранием людей право делать из других людей таких, каких им хочется. Пансионы не лежачие,— их существует и будет существовать тысячи, потому что они имеют такое же право на образование, как воспитательные гимназии и университеты. Разница разве в том, что мы не признаем почему-то права за семьей воспитывать как ей угодно, отрываем ребенка от развратной матери и помещаем в приют, где его исправит испорченная воспитательница.

Мы не признаем за религией права воспитывать, мы кричим против семинарий и монастырских школ, мы не признаем этого права и за правительством, мы недовольны кадетскими корпусами, школами правоведения и т. п., но у нас недостает силы отрицать законность заведений, в которых *общество*, т. е. не народ, но высшее общество, признает за собой право воспитывать по-своему,— пансионы для девиц и университеты. Университеты? Да, университеты. Я позволю себе анализировать и этот храм премудрости. С моей точки зрения, он ни на шаг не только не ушел вперед от женского заведения, но в нем-то и лежит корень зла — деспотизм общества, на который не поднимали еще руку.

Как пансион решил, что нет спасения без инструмента, называемого фортепьяно, и языка французского, так точно один мудрец или компания таких мудрецов (пускай под этой компанией будут разуметь представителей европейской науки, от которой мы будто бы преемствовали нашу организацию университетов, все-таки эта компания мудрецов будет очень, очень малочисленна в сравнении с тою массой учащихся, для которой в будущем организован университет) учредила университет для изучения решительно всех наук в их высшем, самом высшем развитии и, не забудьте, учредила такие заведения в Москве, в Петербурге, в Казани, в Киеве, в Дерпте, в Харькове, завтра учредит еще в Саратове, в Николаеве; где только захочется, там и учредится заведение для изучения всех наук в их высшем развитии. Я сомневаюсь, чтобы мудрецы эти придумали организацию такого заведения. Воспитательнице еще легче: для нее есть образец — она сама. Здесь же образцы слишком разнообразны и сложны. Но положим, что такая организация придумана, положим — что еще невероятнее — что у нас есть люди для таких заведений. Посмотрим на деятельность такого заведения и его результаты. Я говорил уже о невозможности доказать программу какого бы то ни было учебного заведения, тем менее университета, как не готовящего ни к какому другому заведению, но прямо к жизни. Я повторяю только, в чем не могут не согласиться все непредупрежденные люди, что доказать необходимость подразделения факультетов нет никакой возможности.

Как воспитательница, так и университет считают первым условием допущения к участию в образовании оторванность от первобытной среды.

Университет, общим правилом, принимает только учеников, прошедших семилетний курс гимназического курса и живущих в большом городе. Малая часть вольнослушающих проходит тот же гимназический курс, только не с помощью гимназий, а домашних учителей.

Прежде чем вступить в гимназию, ученик должен пройти курс уездного и народного училища.

Я попробую, оставив в покое ученые ссылки на историю и глубокомысленные сравнения положения дела в европейских государствах, просто говорить о том, что происходит на наших глазах в России.

Надеюсь, все согласны, что назначение наших воспитательных учреждений состоит преимущественно в распространении образования между всеми сословиями, а не в поддержании образования в исключительно завладевшем им сословии, т. е. что мы не столько заботимся о том, чтобы были образованы сыновья какого-нибудь богача или вельможи (эти найдут себе образование, если не в русском, то в европейском заведении), сколько нам дорого дать образование сыну дворника, третьей гильдии купца, мещанина, священника, сыну бывшего дворового и т. п. Я не говорю о крестьянине — это были бы далеко неисполнимые мечтания. Одним словом, цель университета — распространение образования на наибольшее число людей. Возьмем для примера сына мелкого городского купца или мелкого местного дворянина. Мальчика прежде всего отдадут учиться грамоте. Учение это, как известно, состоит из зубрения непонятных славянских речей, продолжающегося, как известно, три-четыре года. Вынесенные из такого учения знания оказываются неприменимыми к жизни; нравственные привычки, вынесенные оттуда же, состоят в неуважении к старшим, к учителям, иногда в воровстве книг и т. п. и главное — в праздности и лени.

Кажется, излишне доказывать, что школа, в которой учатся три года тому, чему можно выучиться в три месяца, есть школа праздности и лени. Ребенок, неподвижно обязанный сидеть шесть часов за книгой, выучивая в целый день то, что он может выучить в полчаса, искусственно приучается к самой полной и злой прелесть. По возвращении из такой школы девять десятых родителей, в особенности матерей, находят своих детей отчасти испорченными, физически расслабленными и отчужденными; но потребность сделать из них людей с успехом в свете побуждает отдать их дальше, в уездное училище. В этом заведении обучение праздности, обману, лицемерию и физическое расслабление продолжается с большою силой. В уездном училище еще видишь здоровые лица, в гимназии редко, в университете почти никогда. В уездном училище предметы преподавания еще менее приложимы к жизни, чем в первом. Тут начинаются Александр Македонский, Гваделупа и мнимое объяснение явлений природы, ничего не дающее ученику, кроме ложной гордости и презрения к родителям, в котором пример учителя поддерживает его. Кто

не знает этих учеников, глубоко презирающих весь простой, необразованный народ на том основании, что они слышали от учителя, что земля кругла и что воздух состоит из азота и кислорода! После уездного училища та глупая мать, над которою так мило подтрунивают писатели повестей, еще больше тужит над физически и нравственно изменившимся детищем. Наступает гимназический курс с теми же приемами экзаменов и принуждения, развивающими лицемерие, обман и праздность, и сын купца или мелкопоместного дворянина, не знающего, где сыскать работника или приказчика, учит уже наизусть французскую, латинскую грамматику, историю Лютера и на несвойственном себе языке изощряется писать сочинения о выгодах представительного образа правления. Кроме всей этой, ни к чему не приложимой мудрости, он учится уже деланию долгов, обманам, выманиванию у родителей денег, распутству и т. п. наукам, которые свое окончательное развитие получают в университете. Здесь, в гимназии, мы уже видим окончательное отречение от дома. Просвещенные учителя стараются возвысить его над его природной средой, с этой целью ему дают читать Белинского, Маколея, Льюиса и т. д.; все это не потому, чтобы он имел к чему-нибудь исключительную склонность, а чтобы вообще развить его, как они это называют. И гимназист, на основании смутных понятий и соответствующих им слов: прогресс, либерализм, материализм, историческое развитие и т. п., с презрением и отчуждением смотрит на свое прошедшее. Цель наставников достигнута, но родители, и в особенности мать, еще с большим недоумением и грустью смотрят на своего изможденного, чужим языком говорящего, чужим умом думающего, курящего папирсы и пьющего вино, самоуверенного и самодовольного Ваню. Дело сделано, «и другие такие же,— думают родители,— должно быть, так надо», и Ваня отправляется в университет. Родители не смеют сказать самим себе, что они ошиблись.

В университете, как сказано уже, редко кого увидишь с здоровым и свежим лицом и ни одного не увидишь, который бы с уважением, хотя бы с неуважением, но спокойно, смотрел на ту среду, из которой он вышел и в которой ему придется жить; он смотрит на нее с презрением, отвращением и высокомерным сожалением. Так он смотрит на людей своей среды, на своих родных, так же смотрит и на ту деятельность, которая предстояла бы ему по общественному положению. Только три карьеры исключительно представляются ему в золотом сиянии: ученый, литератор и чиновник.

Из предметов преподавания нет ни одного, который бы был приложен к жизни, и преподают их точно так же, как заучивают псалтырь и географию Ободовского. Я исключаю только предметы опытные, как-то: химию, физиологию, анатомию, даже астрономию, в которых заставляют работать студентов; все остальные предметы, как-то: философия, история, право, филология, учатся наизусть, только с целью отвечать на экзамене, какие бы ни были экзамены — переходные или выпускные, это все равно.

Я вижу высокомерное презрение профессоров, читающих эти строки. Они не удостоят меня даже озлоблением и не снизойдут с высоты своего величия для того, чтобы доказать писателю повестей, что он ничего не понимает в этом важном и таинственном деле. Я это знаю, но никак не могу вследствие того удержаться выводов рассудка и наблюдательности. Никак не могу я вместе с гг. профессорами признать невидимо совершающегося над студентами таинства образования, независимо от формы и содержания лекций профессоров. Не признаю я всего этого так же, как не признаю столь же таинственного, никем не объясненного образовательного влияния классического воспитания, о котором уже не считают нужным спорить. Сколько бы признанных всем миром мудрецов и почтенных по характеру людей ни утверждали, что для развития человека полезнее всего выучить латинскую грамматику, греческие и латинские стихи в подлиннике, когда их можно читать в переводе, я не поверю этому так же, как не поверю тому, что для развития человека нужно стоять три часа на одной ноге. Это нужно доказать не одним опытом. опытом доказывается все, что угодно. Псалтырник опытом доказывает, что лучшее средство выучить грамоте — это заставить учить псалтырь; башмачник говорит, что лучшее средство выучить мастерству — заставлять ребят два года таскать воду, рубить дрова и т. д. Таким путем докажете все, что угодно. Все это я говорю только к тому, чтобы защитники университетов не говорили бы мне об историческом значении, о таинственном образовательном влиянии, об общей связи государственных воспитательных учреждений, не приводили бы мне в пример оксфордские, гей-дельбергские университеты, а позволили бы мне рассуждать по простому и здравому смыслу и сами бы рассуждали так же. Я знаю только то, что, поступая в университет 16—18 лет, для меня, по факультету, в который я поступил, уже определен круг моих занятий и определен совершенно произвольно. Я прихожу па какую-нибудь лекцию из предписанных мне по факультету; я обязан не только слушать все, что читает мне профессор, по и заучить это, если не слово в слово, то предложение в предложение. Если я не выучу все это, профессор не даст мне необходимого аттестата при выпуском или переводном экзамене. Я не говорю уже о злоупотреблениях, повторяющихся сотни раз. Для того, чтобы получить этот аттестат, я должен исполнить любимые привычки профессора: или сидеть всегда на первой лавке и записывать, или иметь испуганный или веселый вид на экзамене, или иметь одинаковые убеждения с профессором, или посещать аккуратно его вечера (это не мои выдумки, а мнения студентов, которые можно всегда слышать в каждом университете). Слушая лекции, я могу не соглашаться с взглядом профессора, могу, на основании чтений по предмету, которым занимаюсь, находить, что лекции профессора плохи,— я все-таки должен их слушать или, по крайней мере, выучивать.

В университетах существует догмат, который не высказывается профессорами, это догмат папской непогрешимости профессора. Мало того, образование студентов профессором совершается, как и у всех жрецов, тайно, келейно и с требованием благоговения от непосвященных и студентов. Как скоро профессор назначен, профессор начинает читать, и будь он глуп от природы, поглупей он во время исполнения своей должности, отстань он совершенно от науки, будь он недостойным по характеру человеком,— он продолжает читать, пока продолжает жить, и нет студентам никакого средства выразить свое удовольствие или неудовольствие. Мало того, то, что читает профессор, остается тайной для всех, кроме студентов. Может быть, это происходит от моего невежества, но я не знаю книг — руководств, составленных из чтений профессоров. Если и бывали такие курсы, то в пропорции одного на сотню.

Что это такое значит?! Профессор преподает науку в высшем образовательном заведении,— положим, историю русского права или гражданское право,— стало быть, он знает эту науку в высшем ее развитии, стало быть, он так умел соединить все различные взгляды на науку или выбрать один из них, современнойший, и доказать, почему это так,— за что же он лишает всех нас, всю Европу, плодов своей мудрости и передает их только слушающим его студентам? Неужели ему неизвестно, что существуют хорошие издатели, платящие хорошие деньги за хорошие книги, что существует литературная критика, оценивающая литературные произведения, и что студентам было бы гораздо удобнее читать его книгу дома, лежа на кровати, чем записывать его лекции! Если каждый год изменяется и дополняется наука, то каждый год могли бы являться новые, дополнительные статьи. Литература и общество были бы благодарны. Отчего же они не печатают своих курсов?

Я бы желал объяснить это равнодушием к литературному успеху, но, к несчастью, вижу, что те же жрецы науки не отказываются напечатать легонькую политическую статейку, иногда не касающуюся их предмета. Я боюсь, что тайна университетского преподавания происходит оттого, что 90 из 100 курсов, будто они напечатаны, не выдержат нашей неразвитой литературной критики. Почему непременно нужно читать, а не дать студентам в руки хорошую книгу, свою или чужую, одну, или две, или десять хороших книг?

То условие, что в университете нужно читать профессору и непременно от себя, принадлежит к догматам университетской практики, в которую я не верю и которую доказать невозможно. «Изустная передача запечатлевается более в умах и т. д.», скажут мне; все это несправедливо. Я знаю себя и многих других, составляющих не исключение, но общее правило, которые при устной передаче ничего не понимают и понимают хорошо только тогда, когда спокойно дома читают книгу. Изустная передача имела бы значение только тогда, когда студенты имели бы право

оппонировать и лекция была бы беседа, а не урок. Тогда бы только мы, публика, не имели права требовать оглашения от профессоров тех руководств, по которым они 30 лет сряду учат наших детей и братьев. При теперешнем же порядке чтение лекций есть только забавный обряд, не имеющий никакого смысла, и в особенности забавный по важности, с которою он совершается.

Я не приискиватель средств для исправления университетов; я не говорю, что, допустив на лекциях право студентов на возражения, можно было бы осмыслить университетское преподавание. Насколько я знаю профессоров и студентов, мне кажется, что в этом случае студенты будут школьничать, либеральничать, профессора не будут в состоянии хладнокровно, не прибегая к власти, вести прения, и что дело пойдет еще хуже. Но из этого, по моему мнению, никак не следует, чтобы студенты обязаны были молчать, а профессора имели право говорить все, что им вздумается; из этого только следует, что все университетское устройство стоит на ложных основаниях.

Понятен университет, соответствующий своему названию и своей основной идее — собранию людей с целью взаимного образования. Такие университеты, неизвестные нам, возникают и существуют в разных уголках России; в самых университетах, в кружках студентов собираются люди, читают, толкуют между собой, и, наконец, постановляется правило, как собираться и толковать между собой. Вот настоящий университет. Наши же университеты, несмотря на все пустые толки о мнимой либеральности их устройства, суть заведения, ничем не отличающиеся по своей организации от женских учебных заведений и кадетских корпусов. Как кадетские корпуса приготавливают офицеров, как училище правоведения — чиновников, так университеты готовят чиновников и людей университетского образования. (Это, как всем известно, особый чин, звание, каста почти.) Университетские происшествия последнего времени объясняются для меня самым простым образом: студентам позволили выпускать воротнички рубашек и не застегивать мундиров, хотели перестать наказывать их за непосещение лекций, и вследствие того все здание чуть не рушилось и не пало. Чтобы поправить дело, есть одно средство: вновь сажать в карцер за непосещение лекций, возобновить мундиры. Еще бы лучше, на образец английских учреждений, наказывать за неудовлетворительные успехи и за неблагонравие и, главное, ограничить число студентов числом нужных людей. Это будет последовательно, и при таком устройстве университеты будут давать нам, таких людей, каких давали прежде. Университеты, как заведения для образования членов общества, в тесном смысле высшего чиновничьего общества, разумны; но как только захотели сделать из них заведения для образования всего русского общества, оказалось, что они не годятся. Я решительно не понимаю, на каком основании в кадетских корпусах признаны

необходимыми мундиры и дисциплина, а в университетах, где преподавание точно такое же — с экзаменом, принуждением, с программой и без права возражения и уклонения от лекций учащихся,— почему в университетах говорят о свободе и думают обойтись без средств кадетских корпусов! Пускай пример германских университетов не смущает нас; нам нельзя брать пример с немцев: для них свят всякий обычай, всякий закон, а для нас, к счастью или несчастью, наоборот.

Вся беда как в университетском деле, так и общем деле образования происходит преимущественно от людей, не рассуждающих, но покоряющихся идеям века и потому полагающих, что можно служить двум господам вместе. Это те самые люди, которые на мысли, выраженные мною в «Ясной Поляне», отвечают так: «Правда, уж прошло время бить детей за ученье и наизусть долбить, все это очень справедливо, но согласитесь, что без розги иногда невозможно, и что надо иногда заставлять учить наизусть. Вы правы, но зачем крайности и т. д. и т. д.»

Кажется, как мило рассуждают эти люди, а они-то и стали враги правды и свободы. Они затем только будто бы соглашаются с вами, чтобы овладев вашей мыслью, изменять и подрезывать и подстригать ее по-своему. Они вовсе не согласны с тем, что свобода необходима; они только говорят это потому, что боятся не преклониться перед кумиром нашего века. Они только, как чиновники, в глаза хвалят губернатора, в руках которого власть. Во сколько тысяч раз я предпочитаю моего приятеля попа, который прямо говорит, что рассуждать нечего, когда люди могут умереть несчастными, не узнав закона бо-жия, и потому, какими бы то ни было средствами, необходимо выучить ребенка закону божию,— спасти его. Он говорит, что принуждение необходимо, что ученье — ученье, а не веселье. С ним можно рассуждать, а с господами, служащими деспотизму и свободе, нельзя. Эти-то господа порождают то особенное положение университетов, в котором мы теперь находимся и в котором необходимо какое-то особенное искусство дипломатии, в котором, по выражению Фигаро, неизвестно, кто кого обманывает: ученики обманывают родителей и наставников, наставники обманывают родителей, учеников и правительство и т. д. во всех возможных перемещениях и сочетаниях. И нам говорят, что это так и должно быть; нам говорят: вы, непосвященные, не суйте носа в наше дело, тут нужно особенное искусство и особенные знания,— это историческое развитие. А кажется, как дело просто: одни хотят учить, другие хотят учиться. Пускай учат, насколько умеют, пускай учатся, насколько хотят.

Я помню, во время самого разгара дела костомаровского проекта университетов я защищал проект перед одним профессором. С какой неподражаемой глубокомысленной серьезностью, почти шепотом, внушительно, конфиденциально сказал мне профессор: «Да знаете ли вы, что такое этот проект? Это не проект нового университета, а это проект

уничтожения университетов», — сказал он, с ужасом вглядываясь в меня. — «Да что же? — это было бы очень хорошо, — отвечал я, — потому что университеты дурны». — Профессор не стал более рассуждать со мною, хотя был не в силах доказать мне, что университеты хороши, так же как и никто не в силах доказать этого.

Все люди — все человеки, даже профессора. Ни один работник не скажет, что нужно уничтожить ту фабрику, на которой он находит кусок хлеба, и не потому, чтобы он это рассчитывал, а бессознательно. Те господа, которые хлопочут о большей свободе университетов, похожи на человека, который, выводя в комнате молодых соловьев и убедившись в том, что соловьям нужна свобода, выпустил бы их из клетки и старался на бечевке дать им свободу, а потом удивлялся бы, что соловьи не выводят и на бечевках, привязанных им за ноги, и что только повывихали себе ноги и подошли.

Никто никогда не думал об учреждении университетов на основании потребности народа. Это было и невозможно, потому что потребность народа была и остается неизвестною. Но университеты были учреждены для потребностей отчасти правительства, отчасти высшего общества, и для университетов уже учреждена вся подготавливающая к ним лестница учебных заведений, не имеющая ничего общего с потребностью народа. Правительству нужны были чиновники, медики, юристы, учителя, — для приготовления их основаны университеты. Теперь для высшего общества нужны либералы по известному образцу, — и таких готовят университеты. Ошибка только в том, что таких либералов совсем не нужно народу.

Обыкновенно говорят, что недостатки университетов происходят от недостатков низших заведений. Я утверждаю наоборот: недостатки народных, особенно уездных училищ происходят преимущественно от ложности требования университетов.

Посмотрим теперь на практику университетов. Из 50 студентов, составляющих аудиторию, десять человек на первых двух лавках имеют тетрадки и записывают; из этих десяти шесть записывают для того, чтобы понравиться профессору, из выработанного школой и гимназией прислужничества, еще четверо записывают с искренним желанием записывать весь курс, но на четвертой лекции бросают, и много-много, что двое или трое из них, т. е. 1/15 или 1/20 курса составит лекции. Весьма трудно не пропустить ни одной лекции. В математическом предмете, да и во всяком другом, пропущена одна лекция — и связь потеряна. Студент справляется с руководством, и ему естественно приходит простая мысль — не нести бесполезную работу записывания лекций, когда то же самое можно сделать по руководству или чужим запискам. В математическом и всяком другом предмете, что должен знать каждый учитель, *постоянно* следить за выводами и доказательствами учителя не в состоянии ни один

ученик, как бы учитель ни старался быть подробен, ясен и увлекателен. Очень часто с учеником случается минута затмения или развлеченія, ему нужно спросить: как, почему, что было прежде; связь потеряна, а профессор идет дальше. Главная забота студентов (и я теперь говорю только о самых лучших) — достать записки или руководство, по которым можно будет приготовиться к экзамену. Большинство ходит на лекции или потому, что нечего делать и еще внове не наскучило, или чтобы доставить удовольствие профессору, или, в редких случаях, из моды, когда один из ста профессоров сделался популярен и посещать его лекции сделалось умственным щегольством между студентами. Почти всегда, с точки зрения студентов, лекции составляют пустую формальность, необходимую только в виду экзамена. Большинство в продолжение курса не занимается своими предметами, а посторонними, программа которых определяется кружком, в который попадают студенты. На лекции смотрят обыкновенно так же, как солдаты смотрят на учение; на экзамен так же, как на смотр, как на скучную необходимость. Программа, составляемая кружком, в последнее время мало разнообразна; большею частью она состоит в следующем: чтение и повторение чтений старых статей Белинского и новых статей Чернышевских, Антоновичей, Писаревых и т. п.; кроме того, чтение новых книг, имеющих блестящий успех в Европе, без всякой связи и отношения к предметам, которыми занимаются: Льюис, Бокль и т. п. Главное же занятие — чтение запрещенных книг и переписывание их: Фейербах, Молешот, Бюхнер и в особенности Герцен и Огарев. Переписывается все не по достоинству, но по степени запрещения. Я видал у студентов кипы переписанных книг, без сравнения большие, чем бы был весь курс четырехлетнего преподавания, и в числе этих тетрадей толстые тетради самых отвратительных стихотворений Пушкина и самых бездарных и бесцветных стихотворений Рыльева. Еще занятия составляют собрания и беседы о самых разнородных и важных предметах, например: о восстановлении независимости Малороссии, о распространении грамотности между народом, о сыгрии сообща какой-нибудь штуки над профессором или инспектором, которая называется требованием объяснений, о соединении двух кружков — аристократического и плебейского и т. п. Все это иногда бывает смешно, но часто мило, трогательно и поэтично, какою часто бывает праздная молодежь. Но дело в том, что в эти занятия погружен молодой человек, сын мелкопоместного дворянина или 3-й гильдии купца, которых отцы отдали в надежде сделать из них себе помощников, одному — помочь сделать свое маленькое именьеце производительным, другому — помочь повести правильнее и выгоднее торговлю. Мнение о профессорах в этих кружках существует следующее: один совершенно глуп, говорят про профессора, хотя и труженик, другой отстал от науки, хотя и был способен, третий нечист на руку и выводит только тех, кто исполняет такие-то его требования,

четвертый — посмешище рода человеческого, тридцать лет сряду читающий безобразным языком написанные свои записки,— и счастлив тот университет, в котором на 50 профессоров есть хоть один уважаемый и любимый студентами.

Прежде, когда были переводные экзамены, каждый год происходило хоть не изучение предмета, но ежегодное выдалбливание записок перед экзаменом. Теперь такое выдалбливание происходит два раза: при переходе из второго курса в третий и перед выпуском. Тот самый жребий, который прежде кидался четыре раза в продолжение всего курса, теперь кидается два раза.

Как скоро существуют экзамены с их настоящим устройством, переводные или выпускные — это все равно, непременно должно существовать и бессмысленное долбление, и лотерея, и личное расположение, и произвол профессора, и обман студентов. Не знаю, как испытывали это устроители университетов с их экзаменами, по как мне показывает здравый смысл, как я не раз испытывал это и как соглашались со мной многие и многие,— экзамены не могут служить мерилем знаний, а служат только поприщем для грубого произвола профессоров и для грубого обмана со стороны студентов. Я держал три экзамена в моей жизни: первый год я был не перепущен из первого на второй курс профессором русской истории, поссорившимся перед тем с моими домашними, несмотря на то, что я не пропустил ни одной лекции и знал русскую историю; кроме того, за единицу в немецком языке, поставленную тем же профессором, несмотря на то, что я знал немецкий язык несравненно лучше всех студентов нашего курса. В следующем году я из русской истории получил 5, потому что, поспорив с студентом-товарищем, у кого лучше память, мы выучили по одному вопросу наизусть, и мне достался на экзамене тот самый вопрос, который я выучил, как теперь помню — биография Мазепы. Это было в 46 году. В 48 году я держал экзамен на кандидата в петербургском университете и буквально ничего не знал и буквально начал готовиться за неделю до экзамена. Я не спал ночи и получил кандидатские баллы из гражданского и уголовного права, готовясь из каждого предмета не более недели. В нынешнем, 62 году, я знал студентов, кончающих курс и начинающих готовиться к предмету за неделю перед экзаменом. В нынешнем же году я знаю, что четверокурсники подделывали билеты; знаю, что один профессор поставил студенту 3, а не 5 за то, что студент позволил себе улыбнуться. Профессор заметил ему: «Нам можно улыбаться, а вам нельзя», и поставил 3.

Надеюсь, что никто не примет приведенные случаи за исключение. Всякий, знающий университет, знает, что приведенные случаи составляя правило, а не исключение, что иначе быть не может. Если же кто сомневается, то мы можем привести миллионы случаев. Найдутся изобличители и с подписью фамилий по министерству народного

просвещения, как нашлись по министерству внутренних дел и юстиции. Что было в 48-м, то и в 62-м, то будет и в 72-м, пока организация останется та же. Уничтожение мундиров и переводных экзаменов ни на волос не помогает делу свободы; это новые заплата на старые платья, только разрушающие старое платье. Вино новое не вливают в мехи старые. Я льщу себя надеждой, что даже защитники университетов скажут: «Да, это правда, или правда отчасти. Но вы забываете, что есть студенты, с любовью следящие за лекциями, и для которых вовсе не нужны экзамены, и главное — вы забываете образовательное влияние университетов». Нет, я не забываю ни того, ни другого; о первых — о студентах самостоятельно работающих — скажу, что для них не нужны университеты с их организацией, им нужны только пособия — библиотека, не лекции, которые бы они могли слушать, а беседы с руководителями. Но и для этого меньшинства едва ли дадут университеты знания, соответственные их среде, если только они не хотят быть литераторами или профессорами. Главное же, и это меньшинство подпадет тому влиянию, которое называется образовательным и которое я называю развращающим влиянием университетов. Второе же возражение — об образовательном влиянии университетов — принадлежит к числу тех, которые основаны на вере и прежде всего должны быть доказаны. Кто и чем доказал, что университеты имеют это образовательное влияние, откуда вытекает это таинственное образовательное влияние? Общениа с профессорами нет,— нет вытекающих из него доверия и любви, есть, в большинстве случаев, боязнь и недоверие. Нового, чего-нибудь такого, чего не могут узнать из книг студенты, они не узнают от профессоров. Образовательное влияние лежит, стало быть, в сообществе молодых людей, занятых одним и тем же? Без сомнения; но заняты они большею частью не наукой, как вы думаете, а приготовлением к экзаменам, обманом профессоров, либеральничанием и всем тем, что вселяется обыкновенно в людей, оторванных от среды, семьи и искусственно соединенных вместе посредством духа товарищества, возведенного в принцип и доведенного до самодовольства, до самохвальства. Я не говорю об исключении — о студентах, живущих в семьях,— они менее подчиняются образовательному, т. е. развращающему влиянию студенчества; не говорю и о тех редких исключениях, преданных смолоду науке людях, которые за постоянным трудом тоже не вполне подчиняются этому влиянию. И в самом деле, люди готовятся для жизни, для труда; каждый труд требует, кроме привычки к нему, порядка, правильности и главное — умения жить и обращаться с людьми. Посмотрите, как сын крестьянина приучается быть хозяином, сын дьячка, читая на клиросе, быть дьячком, сын киргизца-скотовода быть скотоводом; он смолоду уже становится в прямые отношения с жизнью, с природой и людьми, смолоду учится плодотворно, работая, и учится обеспеченный с материальной стороны жизни, т. е. обеспеченный куском хлеба, одеждой и

помещением,— и посмотрите на студента, оторванного от дома, от семьи, брошенного в чужой город, наполненный искушениями для его молодости, без средств к жизни (потому что средства рассчитываются родителями только на необходимое, а все уходит на увлечение), в кругу товарищей, своим обществом только усиливающих его недостатки, без руководителей, без цели, отстав от старого и не пристав к новому. Вот положение студента за малыми исключениями. Из них выходит то, что должно выходить: или чиновники, только удобные для правительства, или чиновники-профессора, или чиновники-литераторы, удобные для общества, или люди, бесцельно оторванные от прежней среды, с испорченною молодостию и не находящие себе места в жизни, так называемые люди *университетского образования*, развитые, т. е. раздраженные, больные либералы. Университет есть первое и главное наше воспитательное заведение. Он первый присвоивает себе право воспитания и первый по результатам, которых достигает, доказывает незаконность и невозможность воспитания. Только с точки зрения общественной можно оправдывать плоды университета. Университет готовит не таких людей, каких нужно человечеству, а каких нужно испорченному обществу.

Курс кончен. Я предполагаю своего воображаемого воспитанника одним из лучших воспитанников во всех отношениях. Он приезжает в семью; ему все чужие — и отец, и мать, и родные. Он не верит их верою, он не желает их желаниями, он молится не их богу, а другим кумирам. Отец и мать обмануты, и сын часто желает с ними слиться в одну семью, но уже не может. То, что я говорю, не есть фраза, не есть фантазия. Я знаю очень многих студентов, вернувшихся в свою семью, которые часто оскорбляли верования своих родных, которые почти во всех убеждениях — о браке, о чести, о торговле — расходились с своей семьею. Но дело сделано, и родители утешают себя мыслью, что такой век *нынче*, и что *нынешнее* образование таково; что не в их среде, но по крайней мере сам по себе их сын сделает себе карьеру, найдет свои средства существовать и даже помогать им и по-своему будет счастлив. К несчастью, в 9 случаях из 10 и тут родители ошибаются. Кончивши курс, студент не знает, куда преклонить голову. Странное дело: те сведения, которые он приобрел, никому не нужны, никто за них ничего не дает. Единственное приложение их — в литературе и в педагогике, т. е. в науке образовать опять таких же ненужных людей. Странное дело! Образование редко в России, следовательно, оно должно бы было быть дорого, высоко ценимо. А на деле выходит наоборот. Машинисты нам нужны, у нас их мало, и машинистов выписывают из всей Европы и платят им дорого; отчего же образованные университетски (образованных людей у нас мало) говорят, что они нужны, а мы не только ими не дорожим, но им деваться некуда? Отчего человек, кончивший курс у плотника, каменщика и штукатура, получает сейчас и везде 15—17 р., если он работник, и в месяц 25, если он

мастер, рядчик,— а студент рад, если он получит десять? (Я исключаю литературу и чиновничество, а говорю о том, что может получить студент в практической деятельности.) Отчего помещики, оставшиеся теперь при землях, которые надо сделать производительными, платят 300—500 р. мужикам-бурмистрам, а не платят и 200 р. студентам камералистам и естественникам? Отчего на железных дорогах рядчики-мужики заведывают тысячами рабочих, а не студенты? Отчего, если студент и получает место с хорошим жалованием, то получает его не за знания, приобретенные в университете, а за знания, приобретенные после? Отчего юристы-студенты делаются офицерами, а математики и естественники чиновниками? Отчего хлебопашец, проживя год в довольстве, приносит домой 50—60 р., а студент, проживя год, оставляет 100 р. долгу? Отчего народ платит народному учителю 8, 9, 10 р. в месяц, все равно — будет ли он из дьячков или студентов? Отчего купец не берет в приказчики, не женит на своей дочери и не принимает в дом студента, а мальчика из крестьян? Оттого, скажут мне, что общество не умеет еще ценить образования; оттого, что студент-учитель не станет бить детей, студент-управляющий не станет обманывать рабочих, закабалять их задатками, студент-купец не станет обмеривать и обвешивать; оттого, что плоды образования не так ощутительны, как плоды рутины и невежества. Это очень может быть, отвечу я, хотя наблюдения показывают мне противное. Студент или вовсе не умеет вести дело, ни честно, ни бесчестно, или если умеет, то ведет дело только сообразно с своей природой, с тем общим строем нравственных привычек, который выработала в кем жизнь независимо от школы. Я знаю одинаковое число честных студентов и нестудентов и наоборот. Но положим даже, что университетское образование развивает чувство справедливости в человеке, и что вследствие этого необразованные люди предпочитают студентам необразованных же людей и ценят их выше студентов. Положим, что это так; почему же мы, так называемые образованные люди и имеющие средства дворяне, литераторы, профессора, не можем никуда употребить студентов, кроме как на службу? Я не говорю о службе на том основании, что служебное вознаграждение не может быть принято мерилom заслуг и знаний. Каждому известно, что студент, отставной офицер, промотавшийся помещик, иностранец и др., как только им почему-нибудь нужно приобрести средства к жизни, едут в столицу и, по мере связей и степени требований, получают место в администрации или если не получают, то считают себя оскорбленными. Я потому не говорю о вознаграждении служебном; но спрашиваю, почему тот же самый профессор, который давал образование студентам, дает 15 р. в месяц дворнику или 20 р. плотнику, а пришедшему к нему студенту говорит, что он очень жалеет, что не может ему дать места, кроме *похлопотать* у чиновников, или предлагает ему 10 р. за место переписчика или корректора по издаваемому сочинению, предлагает ему такое место, в котором

приложи мы только знания, вынесенные из уездного училища,— уменьь писать. Мест же, где бы была приложима история римского права, греческая литература и интегральное счисление,— нет и не может быть.

И так, в большей части случаев, вернувшийся к отцу сын из университета не оправдывает надежд родителей и, чтобы не стать бременем для семейства, должен запясть место, в котором нужно только уметь писать и в котором он становится в конкуренцию со всеми русскими грамотными. Одним преимуществом остается чип, но только для службы, в которой большее значение имеют связи и другие условия; другим преимуществом является либерализм, ни к чему не приложимый. Мне кажется, что пропорция людей из университета, занимающих вне службы места с хорошим вознаграждением, будет необычайно мала. Верные статистические сведения о деятельности вышедших студентов были бы важным материялом для науки об образовании и, я убежден, доказали бы математически ту истину, которую я стараюсь вылепить только по предположениям и по имеющимся данным,— истину, что люди университетского образования мало нужны и направляют свою деятельность преимущественно на литературу и педагогику, т. е. на повторение того ж вечного круга образования таких же ненужных для жизни людей.

Но я не предвидел одного возражения, или, скорее, источника возражений, естественно представляющегося у большинства моих читателей: почему то же самое высшее образование, которое оказывается столь плодотворным в Европе, было бы неприложимо у нас? Европейские общества образованнее русского общества, почему и русскому обществу не идти тем же путем, которым шли европейские народы? Возражение это было бы неопровержимо, если бы было доказано, во-первых, что тот путь, по которому шли европейские народы, есть наилучший путь, во-вторых, что все человечество идет одинаковым путем, и в-третьих, что образование наше прививается народу. Весь восток образовывался и образовывается совершенно иными путями, чем европейское человечество. Если бы было доказано, что молодое животное, волк или собака, воспитаны мясом и доведены этим путем до полного развития, разве я имел бы право заключить, что, воспитывая молодую лошадь или зайца, я не могу их довести до полного развития иначе, как посредством мяса? Разве из этих противоположных опытов я бы мог заключить, наконец, что, воспитывая молодого медведя, ему необходимо либо мясо, либо овес? Опыт бы показал мне, что для него необходимо и то, и другое. Если мне и кажется, что естественное образование мяса посредством мяса, и если прежние опыты подтверждают мое предположение, я не могу продолжать давать мясо жеребенку, если он всякий раз выбрасывает его, и организм его не ассимилирует эту пищу. Точно то же происходит с европейским, как по форме, так и по содержанию, образованием, которое перенесено на нашу

почву. Организм русского народа не ассимилирует его, а вместе с тем должна быть другая пища, поддерживающая его организм, ибо он живет. Эта пища кажется нам не пищей, как трава для хищного животного, а между тем исторически-физиологический процесс совершается, и эта непризнаваемая нами пища ассимилируется организмом народа, и огромное животное крепнет и вырастает.

Резюмируя все сказанное выше, мы приходим к следующим положениям:

- 1) Образование и воспитание суть два различные понятия.
- 2) Образование — свободно и потому законно и справедливо; воспитание — насильственно и потому незаконно и несправедливо,— не может быть оправдываемо разумом и потому не может быть предметом педагогики.
- 3) Воспитание, как явление, имеет свое начало: а) в семье, б) в вере, с) в правительстве, d) в обществе.
- 4) Семейные, религиозные и правительственные основания воспитания естественны и имеют за себя оправдание необходимости; общественное же воспитание не имеет оснований, кроме гордости человеческого разума, и потому приносит самые вредные плоды,— каковы университеты и университетское образование.

Только теперь, разъяснив отчасти наш взгляд на образование и воспитание и определив границы того и другого, мы можем ответить на вопросы, становимые г. Глебовым в журнале «Воспитание» (1862 г., № 5), вопросы первые естественно представляющиеся при серьезном вникновении в дело образования:

- 1) *Чем должна быть школа, если она не должна вмешиваться в дело воспитания?*
- 2) *Что значит невмешательство школы в дело воспитания?*
- и
- 3) *Возможно ли отделять воспитание от ученья, особенно первоначального, когда воспитательный элемент вносится в молодые умы даже и в высших школах?*

(Мы уже объяснили, что форма высших учебных заведений, в которых вносится воспитательный элемент, несколько не служит для нас образцом. Мы отрицаем порядок высших учебных заведений не только так же, как и низших, но видим в них начало всего зла.)

Чтобы ответить на постановленные вопросы, мы только перестановим их: 1) что значит невмешательство школы в воспитание? 2) возможно ли такое невмешательство? и 3) чем, при невмешательстве в воспитание, должна быть школа?

Во избежание недоразумений, я должен прежде объяснить, что я разумею под словом школа, которое я в том же смысле употреблял в первой статье 1 № журнала «Ясная Поляна». Под словом школа я разумею

не дом, в котором учатся, не учителей, не учеников, не известное направление учения, но под словом школа я разумею, в самом общем смысле, *сознательную деятельность образовывающего на образовывающихся*, то есть одну часть образования, все равно как бы ни выражалась эта деятельность: учение артикулу рекрутов есть школа, чтение публичных лекций — школа, чтение курса в магометанском училище — школа, собрание музеума и открытие его для желающих — также школа.

Отвечаю на первый вопрос. Невмешательство школы в дело образования значит невмешательство школы в образование (формирование) верований, убеждений и характера образовывающегося. Достигается же это невмешательство предоставлением образовывающемуся полной свободы воспринимать то учение, которое согласно с его требованием, которое он хочет, и воспринимать настолько, насколько ему нужно, насколько он хочет, и уклоняться от того учения, которое ему не нужно и которого он не хочет.

Публичные лекции, музеумы суть лучшие образцы школ без вмешательства в воспитание. Университеты суть образцы школ с вмешательством в дело воспитания. В этих заведениях ученики связаны определенным курсом, программой, сводом избранных наук, связаны требованием экзаменов и преимущественно основанным на них, т. е. на экзаменах, предоставлением прав или, что будет вернее, лишением прав в случае несоблюдения предписанных условий. (Студент 4-го курса, держащий экзамен, находится под угрозой одного из самых тяжелых наказаний — потери 10-ти или 12-летних гимназических, университетских лишений и отнятия тех выгод, в виду которых он переносил 12-летние лишения.) В этих заведениях все придумано так, чтобы ученик, под угрозой наказания, принимал на себя в образовании тот воспитательный элемент и усвоил те верования, те убеждения и тот характер, который нужен учредителям заведения. Принудительный воспитательный элемент, состоящий в исключительном выборе одного круга наук и в угрозе наказания, столь же силен и очевиден для серьезного наблюдателя, как и в том заведении с телесными наказаниями, которое поверхностные наблюдатели ставят в противоположность университетам.

Публичные лекции, число которых постоянно возрастает в Европе и Америке, наоборот, не только не обязывают к известному кругу знаний, не только не требуют внимания к себе под угрозой наказания, но требуют от учащихся еще известных пожертвований, чем самым доказывают, в противоположность первым, совершенную свободу выбора и оснований, на которых они строятся. Вот что значит вмешательство и невмешательство школы в воспитание. Если мне скажут, что такое невмешательство, возможное для высших заведений и взрослых людей, невозможно для низших и малолетних, потому что мы не видим тому примеров — публичных лекций для детей и т. п., — я отвечу, что если мы не станем

слишком часто понимать слово «школа», а примем его в вышеприведенном определении, то мы для низшей степени знания и для низших возрастов найдем много свободно-образовательных влияний без вмешательства в воспитание, соответствующих высшим заведениям и публичным лекциям. Таковы выучивание грамоте от товарищей и братьев, таковы народные детские игры, об образовательном влиянии которых мы намерены поместить статью в одном из будущих номеров, таковы публичные зрелища, райки и т. п., таковы картины и книги, таковы сказки и песни, таковы работы и таковы, наконец, попытки яснополянской школы.

Ответ на первый вопрос дает отчасти ответ и на второй: возможно ли такое невмешательство? Теоретически доказать эту возможность нельзя. Одно, подтверждающее эту возможность, есть наблюдение, доказывающее, что люди, вовсе не воспитанные, т. е. подлежавшие одним свободно-образовательным влияниям, люди народа,— свежее, сильнее, могучее, самостоятельнее, справедливее, человечнее и, главное — нужнее людей, как бы то ни было воспитанных. Но, может быть, и это положение для многих требует доказательства? О доказательствах этих мне еще придется говорить многое. Приведу только одно. Почему зоологически не улучшается поколение воспитываемых? Порода воспитываемых животных улучшается, порода воспитываемых людей ухудшается и ослабевает. Возьмите наудачу сотню детей от несколько воспитанных поколений и сотню невоспитанных детей народа и сравните их в чем хотите: в силе, ловкости, уме, способности воспринимать, в нравственности, даже и во всех отношениях,— громадное преимущество поражает вас на стороне детей невоспитанных поколений, и тем более будет преимуществ, чем будет ниже возраст, и наоборот. Это страшно сказать по выводам, на которые оно наводит, но оно так. Окончательно же доказать эту возможность невмешательства в низших школах для людей, которых личный опыт и внутреннее чувство ничего не говорят в пользу такого мнения, можно только добросовестным изучением тех свободных влияний, посредством которых образовывается народ, всесторонним обсуждением вопроса и длинным рядом опытов и отчетов о них.

Чем же должна быть школа при невмешательстве в дело воспитания? Школа, как сказано выше, есть сознательная деятельность образовывающего на образовывающихся. Как ему действовать, чтобы не преступить пределов образования, т. е. свободы? Отвечаю: школа должна иметь одну цель — передачу сведений, знания (instruction), не пытаясь переходить в нравственную область убеждений, верований и характера; цель ее должна быть одна — наука, а не результаты ее влияния на человеческую личность. Школа не должна пытаться предвидеть последствий, производимых наукой, а, передавая ее, должна предоставлять полную свободу ее применения. Школа не должна считать ни одну науку, ни целый свод наук необходимыми, а должна передавать те знания,

которыми владеет, предоставляя учащимся право воспринимать или не воспринимать их. Устройство и программы школы должны основываться не на теоретическом воззрении, не на убеждении в необходимости таких-то и таких-то наук, а на одной возможности, т. е. на знаниях учителей. Объясню примером. Я желаю учредить учебное заведение. Я не составляю программы, основанной на своих теоретических воззрениях, и на основании этой программы не приискиваю учителей, но предлагаю всем людям, чувствующим призвание к сообщению знаний, читать те уроки или лекции, какие они могут. Само собою разумеется, что прежний опыт будет руководить нас в выборе этих уроков, т. е. в том, что мы уже не будем пробовать преподавание тех предметов, которые неохотно слушаются, мы не станем в русской деревне читать испанский язык, астрологию или географию, точно так же, как в этой же деревне купец не откроет лавки хирургических инструментов или кринолинов. Мы можем предвидеть требование на наше предложение, но окончательный судья наш будет только опыт, и мы не считаем себя вправе открыть ни одной лавки, в которой бы мы продавали деготь только с тем условием, чтобы у нас брали на 10 ф. дегтю фунт имбирю или помады. Мы не заботимся о том, какое употребление из наших товаров будут делать потребители, мы верим, что они знают, что им нужно, и для нас достаточно труда угадать их потребность и только отвечать на нее. Очень может быть, что найдется один учитель зоологии, один учитель средней истории, один — закона божия и один — топографического искусства. Ежели эти учителя будут в состоянии сделать свои уроки занимательными, уроки эти будут полезны, несмотря на свою кажущуюся несоответственность и случайность. Я не верю в возможность теоретически придуманного гармонического свода наук, но верю в то, что каждая наука, при свободном ее преподавании, гармонически укладывается в свод знаний каждого человека. Скажут, может быть, что при такой случайности программы могут войти в курс бесполезные, даже вредные науки, и что многие науки невозможно будет преподавать, потому что ученики недостаточно для них приготовлены. На это отвечаю, во-первых, что вредных и бесполезных наук нет для кого бы то ни было, и что есть здравый смысл и потребность учеников, которые при свободе учения не допустят бесполезные или вредные науки, если бы такие были; во-вторых, что подготовленные ученики нужны для дурного учителя, для хорошего же легче начинать алгебру или аналитическую геометрию с учеником, не знающим арифметики, чем с учеником, плохо знающим ее, легче читать среднюю историю ученикам, не учившим наизусть древней. Я не верю, чтобы профессор, читающий в университете дифференциалы и интегралы или историю русского гражданского права, и который не может читать арифметику и русскую историю в первоначальной школе,— я не верю, чтобы он был хороший профессор. Я не вижу пользы и заслуги и даже возможности в хорошем преподавании одной части предмета.

Главное же — я убежден, что предложение будет отвечать всегда на требование, что на каждой ступени наук будет достаточное число и учеников, и учителей.

Но как же, скажут мне, образовывающему не желать посредством своего преподавания произвести известное воспитательное влияние? Стремление это самое естественное, оно лежит в естественной потребности при передаче знания образовывающего образовывающемуся. Стремление это только придает образовывающему силы заниматься своим делом, дает ту степень увлечения, которая для него необходима. Отрицать это стремление невозможно, и я об том никогда не думал; существование его только сильнее доказывает для меня необходимость свободы в деле преподавания. Нельзя запретить человеку, любящему и читающему историю, пытаться передать своим ученикам то историческое воззрение, которое он имеет, которое он считает полезным, необходимым для развития человека, передать тот метод, который учитель считает лучшим при изучении математики или естественных наук; напротив, это предвидение воспитательной цели поощряет учителя. Но дело в том, что воспитательный элемент науки не может передаваться насильственно. Не могу достаточно обратить внимание читателя на это обстоятельство. Воспитательный элемент, положим в истории, в математике, передается только тогда, когда учитель страстно любит и знает свой предмет; тогда только любовь эта сообщается ученикам и действует на них воспитательно. В противном же случае, то есть когда где-то решено, что такой-то предмет действует воспитательно, и одним предписано читать, а другим слушать, преподавание достигает совершенно противоположных целей, то есть не только не воспитывает научно, но отвращает от науки. Говорят, наука носит в себе воспитательный элемент (*erziehliges Element*); это справедливо и несправедливо, и в этом положении лежит основная ошибка существующего парадоксального взгляда на воспитание. Наука есть наука и ничего не носит в себе

Воспитательный же элемент лежит в преподавании наук, в любви учителя к своей науке и в любовной передаче ее, в отношении учителя к ученику. *Хочешь наукой воспитать ученика, люби свою науку и знай ее, и ученики полюбят и тебя, и науку, и ты воспитаешь их; но ежели ты сам не любишь ее, то сколько бы ты ни заставлял учить, наука не произведет воспитательного влияния.* И тут опять одно мерило, одно спасенье,— опять та же свобода учеников слушать или не слушать учителя, воспринимать или не воспринимать его воспитательное влияние, т. е. им одним решить, знает ли он и любит ли свою науку.

Итак, чем же будет школа при невмешательстве в воспитание?

Всесторонней и самой разнообразной сознательною деятельностью одного человека на другого с целью передачи знаний (*instruction*), не принуждая учащегося ни прямо насильственно, ни дипломатически

воспринимать то, что нам хочется. Школа не будет, может быть, школа, как мы ее понимаем,— с досками, лавками, кафедрами, учительскими или профессорскими,— она, может быть, будет раек, театр, библиотека, музей, беседа,— свод наук, программы, может быть, везде сложатся совсем другие. (Я знаю только свой опыт: яснополянская школа с тем подразделением предметов, которые я описывал, в продолжение полугода, частью по требованиям учеников и их родителей, частью по недостаточности сведений учителей, в полгода совершенно изменилась и приняла другие формы.)

Но что же нам делать? Неужели так и не будет уездных училищ, так и не будет гимназий, не будет кафедры истории римского права? Что же станется с человечеством? — слышу я. — Так и не будет, коли их не понадобится ученикам, и вы не сумеете их сделать хорошими. — Но ведь дети не всегда знают, что им нужно, дети ошибаются и т. д.,— слышу я. — Я не вхожу в такой спор. Этот спор привел бы нас к вопросу: права ли перед судом человека природа человека? и проч. Я этого не знаю и на это поприще не становлюсь, я только говорю, что если мы можем знать, чему учить, то не мешайте мне учить насильно русских детей французскому языку, средневековой генеалогии и искусству красть. Я все докажу, так же, как и вы. — Так и не будет гимназий и латинского языка? Что же я буду делать? — опять слышу я.

Не бойтесь, будет и латынь, и реторика, будут еще сотню лет, а будут только потому, что «лекарство куплено, надо его выпить» (как говорил один больной). Едва ли еще через сто лет мысль, которую я, может быть, неясно, неловко, неубедительно выражаю, сделается общим достоянием; едва ли через сто лет отживут все готовые заведения — училища, гимназии, университеты, и вырастут свободно сложившиеся заведения, имеющие своим основным анием свободу учащегося поколения.

МЫСЛИ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЖЕНСКИХ ШКОЛ

(По поводу открытого недавно в Петербурге Курса учения для девиц, воспитывающихся в своих семействах, под управлением 2-жи Труба)

В числе разных похвальных обычаев нынешнего века особенную похвалу заслуживает обычай прекрасно воспитывать детей и обучать их разным наукам и искусствам. Обойтись без учения теперь решительно нет никакой возможности, и хотя многие папеньки втайне и сожалеют о временах Простаковых, но все уже понимают грустную и тем не менее настоятельную необходимость тратиться на воспитание своих сынков. «Теперь уже не старые годы,— слышали мы рассуждения таких родителей,— без учения ничего не добьешься, никакой карьеры не сделаешь, особенно коли капитала большого нет. А там выйдешь из университета или еще лучше из лицея, из училища правоведения — так и чины раньше получать будешь, и должность лучше займешь, и повышение скорее заслужишь, и у начальства не то значение имеешь, и все...» Нельзя не порадоваться на благоразумие чадолубивых родителей, и нельзя не одобрить их благородного порыва при первой возможности отдать сына в какое-нибудь доступное для них казенное учебное заведение, где и наукам обучают всяческим, и воспитывают прекрасно, и права дают значительные, снимая таким образом с родительского сердца всю тяжесть забот не только о воспитании, но и о будущности сына.

Практические следствия нежных забот о воспитании мальчиков очевидны для всякого. Но тут же рядом поражает нас явление крайне странное, крайне несовместное с нравами и понятиями нашего общества: папеньки и маменьки хлопочут также и о воспитании дочерей своих. Этого явления мы уж решительно не умеем объяснить. Ну, к чему девочкам образование, скажите на милость. К чему? Какую практическую пользу могут они извлечь из наук, которым их обучают? На государственной службе они ведь не состоят, а если и состоят, так чинов не получают, звание и положение в обществе они имеют не сами собой, а отцом или мужем. Карьера же их известно чем составляется,— хорошеньким личиком, французским разговором, танцами, а всего больше приданым. К чему же их мучат этими науками-то несносными? Какая цель, какая надобность? Неужели вы полагаете, что найдется в нынешнем свете такой чудак жених, который станет экзаменовать свою невесту, под каким градусом широты лежит какая-нибудь Новая Зеландия, или в каком году какой-нибудь Артаксеркс царствовал, или как отличить по грамматике Греча совершенный вид от определенного и однократного и т. п.? Да ведь это такие бесполезные премудрости, что никому во всю жизнь не пришлось бы в голову и спросить о них, если бы учения-то вашего не было. К чему же девочке губить свои лучшие годы, изнывая над зубрением склонений,

спряжений, градусов, годов, французских департаментов, русских удельных князей? Зачем им эти знания, когда в жизни нужны только французский язык, танцы и музыка?

Нежные маменьки, горьким опытом изведавшие всю мучительность и бесполезность наук для женского пола, находят возможным отвечать только в свое оправдание: «Что ж делать? Так принято. Без этого уж нынче нельзя». Но просвещенные папеньки, смотрящие на жизнь отчасти с послеобеденно-философской точки зрения, находят ответ более удовлетворительный. «Нет, это вы напрасно против наук восстаете,— говорят они.— Они даже некоторым образом необходимы для счастья жизни. Образование, видите ли, разливается повсюду быстрым потоком. Во всяком обществе теперь вы услышите рассуждения о предметах серьезных, о научных вопросах. Всякому приятно, разумеется, найти и в жене своей сочувствие к интересам науки, т. е., знаете, чтоб она не сидела, по крайней мере, разинув рот, когда при ней о науке рассуждают. Ну вот, возьмите,— говорят,— хоть, например, об ост-индских происшествиях; ну и хорошо, если моя дочь знает, где находится Ост-Индия, что такое Инд, что Ганг и все это. Или теперь вот землетрясения в Италии: если девушка географии обучена, она уж и понимает сейчас, где это Италия лежит, и как там Везувий курится, и вообще огнедышащая гора там, Помпея; знаете, представление имеет некоторое. И в истории точно то же-с. Сравниваете вы хоть, положим, Луи Наполеона с Первым Наполеоном: у ней сейчас уж идея есть, что это Наполеон тот самый, который в 1812 г. на Россию ходил, и знаете, вся война, так сказать, пред взором проходит и прошедшую нашу славу напоминает. А ведь это, знаете, и приятно для человека, истинно просвещенного и любящего свое отечество. Ныне уж и от женщины требуют не одних этих блесков, шумихи-то этой, а образования прочного, солидного, потому что оно, действительно, доставляет лучшее счастье в жизни».

Соображения почтенного папеньки вполне основательны, если рассматривать их в отвлечении. Но в практических приложениях они не выдерживают самой легкой критики и оказываются утопическими мечтаниями. Рискуя потревожить сладкую послеобеденную дремоту чадолюбивых родителей, мы решаемся утверждать, что их высокое мнение о пользе наук для счастья семейной и общественной жизни женщин есть праздное порождение их фантазии и не имеет ни малейшего оправдания в действительности. Мы утверждаем, что наше современное воспитание и обучение девиц, во всех его видах нисколько не имеет в виду их будущей жизни в семействе и обществе. Для убеждения в этом довольно бросить самый беглый взгляд на различные роды женского воспитания, наиболее у нас принятые.

Прежде всего обратите внимание на воспитание общественное, которое у нас очень распространено. Девочек, воспитывающихся в казенных заведениях, считается у нас более 8000, тогда как мальчиков, учащихся во всех заведениях разных ведомств (кроме духовных, кантонистов и крестьянских школ), насчитывается до 130 000. В этом последнем счете мы должны видеть полное число учащихся мальчиков в России (опять кроме духовных, кантонистов и крестьян), потому что почти каждый учащийся мальчик у нас непременно побывает в школе, чтобы получить какие-нибудь права. Число же девиц в казенных школах еще не дает понятия о действительном числе учащихся женского пола: они воспитываются и дома и в частных пансионах. Пансионеров считается в России до 600, и большая часть их занимается воспитанием девиц. Если положить число воспитанниц, живущих в пансионах, до 5000 и если принять, что у нас количество учащихся девочек равно количеству учащихся мальчиков, то выйдет, что из десяти девочек одна воспитывается у нас вне семейства. Но несомненно, что девочек учится у нас меньше, чем мальчиков, и весьма вероятно, что и в так называемых образованных классах отношение между ними близко к тому, какое существует в школах казенных крестьян, где на 90 000 мальчиков приходится 20 000 девочек. Если так, то выйдет, что *одна из пяти* девочек, получающих у нас образование, воспитывается вне семейного круга, в закрытых учебных заведениях.

Воспитание в этих заведениях может быть превосходное, но никак не может быть семейное. За воспитанницами в заведении смотрят все-таки чужие, наемные глаза, которые никак не могут заменить родительского надзора. Самая образцовая, идеальная начальница заведения не может стать с воспитанницами в такие нежные, сердечно-откровенные, простые отношения, в каких находится мать к детям. Самое лучшее учебное заведение имеет в виду не развитие отдельных личностей, а порядок и благоустройство общее. Девочки в пансионах облакаются в униформу, получают хорошую выправку, приучаются к строгой дисциплине и неизбежно отучаются от семейной жизни. Здесь каждый шаг их подчинен особенной формальности, необходимой в заведении для порядка, но вовсе не существующей в семейной жизни. Здесь все чужое для девочки, она здесь не у себя, она постоянно как будто на выставке. Следствием этого бывает, с одной стороны, ослабление внутренней энергии, самостоятельности и естественной простоты отношений, а с другой — развитие мелких, себялюбивых чувств на место симпатических расположений, развивающихся в семейном воспитании. Такие-то залогом для будущего семейного счастья получает в воспитании пятая часть наших образованных девиц.

Точно так же и к общественной жизни они приготавливаются здесь, кажется, несколько односторонним образом. Им, конечно, сообщается

весьма многое, необходимое для того, чтобы блистать в свете, но едва ли слишком много дается для того, чтобы жизнь пережить как следует; шесть, восемь, девять лет живут девочки в стенах заведения, не имея никакого понятия о том, что делается за этими стенами. Они вовсе людей не видят и на безлюдье *обожают* какого-нибудь краснощекого шутника-учителя, ставящего всегда хорошие баллы. О жизни имеют они понятие по своим учебникам да по Юрию Милославскому, которого дают им читать для возбуждения патриотических чувствований. Немудрено, что про институток рассказывают столько анекдотов вроде ответа, что Бостон есть главный город провинции Массачусетс. В основании этих рассказов лежит истина весьма характеристическая. Девочки в заведении нередко до того отвыкают от своего родного, семейного и общественного быта, что вовсе забывают о том положении, какое ожидает их дома, после выпуска. Они возвращаются домой с такими привычками и претензиями, которые в их кругу решительно неуместны, неисполнимы и составляют несчастье как их самих, так и всех, с ними близких.

Все эти истины давно всем известны, и мы только напоминаем их просвещенным папенькам, которые строят такие милые утопии в убеждении, что, отдавая своих дочерей в пансион и другие заведения, они готовят им счастье в жизни. Размысливши спокойно и беспристрастно, они сами должны убедиться, что выбрасывание детей, особенно девочек, из семьи, отсылка их от себя на несколько лет с глаз долой может быть оправдана разве только крайней необходимостью, нравственной или вещественной. Во многих семействах и существует доселе такая необходимость: против нее мы не говорим. Но и это обстоятельство не уменьшает в наших глазах недостатков воспитания вне семьи, в закрытых заведениях, которому у нас подвергается, вероятно, пятая часть девочек, знакомых с учением.

«А зато для остальных, воспитывающихся дома, как благодетельны должны быть науки! Нравственная сторона тут развивается просто и естественно, умственные способности получают здоровую и вкусную пищу: вот тут-то результатом должно быть истинное счастье!»

Опять утопия, почтенные родители, и утопия очень опасная. Вы воображаете, что те науки, которым обучаются ваши дочери, составляют для их ума здоровую и вкусную пищу; попытаемся разочаровать вас. Прежде всего заметим, что не для всех одинаково годится одна и та же пища, что, впрочем, почтенным родителям и без нас хорошо известно. Затем прибавим, что не мешает родителям подумать и о той методе, посредством которой умственная пища препровождается в головы их дочерей. Эти два обстоятельства очень важны, и пренебрегать ими было бы неблагоприятно. Посмотрите же, чем питаются умы учащих девиц уже без различия того, где они воспитываются — дома ли, в пансионах ли, или в казенных учебных заведениях: общий курс учения везде почти одинаков.

Возьмите руководства, по которым учатся девицы. Вы найдете историю с хронологическими и генеалогическими подробностями о мифологических временах; географию, непременно начинающуюся краткими сведениями из космографии; арифметику с определениями, что есть арифметика, что есть число, единица и т. п.; грамматику с многочисленными таблицами склонений и спряжений и еще многочисленнейшими исключениями и пр. Перевернуть хоть один такой учебник грамматики или истории и для взрослых мужчин довольно затруднительно, каково же должно быть маленьким девочкам? А вы говорите, что им дается здоровая пища!

Но и с этим куда бы ни шло еще; порядочный учитель может многое изменить, сократить или добавить в учебнике, может оживить и облегчить изучение предмета при помощи хорошей методы преподавания. Только вот беда: именно хорошей-то методы и нет у нас до сих пор. А что нет ее, в этом опять родители виноваты более всех. Собственно говоря, хорошая метода для учителя не труднее другой. Но чтобы она была хороша, нужно прежде всего знать, к чему должно быть направлено учение, какая цель его? Вы говорите, что «имеете в виду дать вашей дочери возможность и умение быть истинно счастливою и для этого обогащаете ее ум познаниями». Но ведь это неправда; ведь это просто фраза, где-то вычитанная и не понятая вами. Что счастье жизни (или, по крайней мере, твердость в несчастье) много зависит от образованности человека, от степени его внутреннего развития, в этом мы согласны. Но разве образованность дается каким-нибудь учебником географии, разве развитие совершается посредством изучения спряжений? Нет, этого вы сами не думаете. Зачем же вы взыскиваете с вашей дочери, если она сегодня не знала названий всех французских департаментов, а вчера не умела перечислить германских герцогств и перемешала их с королевствами? Отчего вы сердитесь, если дочь ваша не помнит года, в который Дидона основала Карфаген, и между тем не сердитесь, а только подсмеиваетесь, если она не вдруг сообразит, сколько лет продолжалась Семилетняя война? Это все не от чего другого, как от того, что вы вовсе не об образованности, не о развитии хлопочете, а о выставке, об экзамене, о призе, чтобы не отстать от других, не ударить себя лицом в грязь. Учителя хорошо понимают, что вам нужно, и ведут себя согласно с вашими желаниями. Они стараются, чтобы девочка знала и помнила сколько можно больше, и на некоторое время им удается подчинить живую детскую натуру ученицы машинальному ходу уроков. Вместо того чтобы применяться к характеру девочки, соображаться с особенностями женской природы и пользоваться ими для лучшего развития ученицы, все духовные способности ее напрягают насильственно и убивают несвойственной им работой. Известно, что у детей вообще, и у девочек в особенности, чувство господствует над рассудком и воображение постоянно мешается в дело памяти. Поэтому учитель должен прежде всего позаботиться о правильном развитии

воображения своих учениц и о здоровом направлении их чувства: иначе эти способности постоянно будут мешать правильности отправлений рассудка и памяти. У нас на это не обращается ни малейшего внимания: конкретности в обучении почти не существует, на самой низшей степени преподавания являются отвлеченность и соединенные с нею сухость, мертвенность и формализм. Самые живые и интересные науки так преподаются, что в них не представляется ничего, что бы говорило сердцу или увлекало воображение; за милость считается, если учитель расскажет какой-нибудь анекдот из истории или опишет, что такое оазис в пустыне. Одни только слова, цифры, голые определения придумаются заучивать бедным ученицам; память их изнуряется беспощадно, чтобы удержать слова, которых смысла они не могут осилить своим, слабым еще, соображением. Да и некогда останавливаться над предметами, чтобы думать о них: уроки беспрестанно сменяются один другим, и если увлечешься одним, то другого не успеешь приготовить. Нечего сидеть да думать: учишь! Когда выучишься, так еще успеешь надумать и надивиться, зачем это только училась всему этому?.. А теперь рассудок можно и в сторону. И вот учебный курс благополучно пройден, экзамен сдан, выставка кончилась, приз получен, папенька и маменька сияют от удовольствия и объявляют дочери, что теперь она уже невеста, что они все уже для ее образования сделали, теперь ей остается только воспользоваться сделанными приобретениями, чтобы достигнуть прочного счастья в жизни.

Молодая девушка или женщина, кончившая курс наук, начинает иногда и в самом деле думать, как ей воспользоваться своими знаниями. Но думать вообще для нее трудно; она скорее припомнит хронологию и генеалогию всех возможных Карлов, Генрихов и Альфонсов, нежели составит верное определение самой простой вещи, постоянно находящейся у ней перед глазами. А тут еще предмет такой трудный: как воспользоваться знаниями?.. Ну, как ими воспользуешься? Учила она, например, что все государства древнего мира пали от роскоши и развращения нравов; что же из этого можно вывести? Бог знает, что еще тут разумеется под развращением нравов, а роскошь,— ну, как же ее к жизни-то применить? Неужели в ситцевом платье ходить, пользуясь уроками истории? И неужели в самом деле государство падет, если она себе лишний браслет купит или лишний бал в зиму сделает? Нет, из уроков истории ничего нельзя извлечь. Много есть там поучительного, да все к нам как-то вовсе нейдет. Были там и Солоны и Ликурги, и Гракхи и Цезари, были и сатрапы персидские, и римские патриции, и феодальные бароны, и городские общины, да что же из всего этого? К нам-то разве имеет это какое-нибудь хоть малейшее отношение? Девушка, недолго поломавши голову над историей, бросит ее как знание совершенно бесполезное и немедленно позабудет и то немного, что знала по учебнику. Но вот грамматика, кажется, должна быть ближе к жизни: она учит правильно

говорить и писать. Но увы! Оказывается, что грамматика пройдена сама по себе, без отношения к живой речи, что она только давала повод к самым забавным ошибкам: в разговоре девочка никогда не могла сказать иначе, как «друзья», «повинуюсь», а в грамматике она склоняла и спрягала «други, другов», «повиноваюсь, повиноваешься» или ломала голову над тем, как будет множественное число в словах «серебро», «железо» и пр. В жизни все это оказывается совершен но ненужным. А иное и нужно бы, да уж зато слишком трудно. Нужно, например, знать, где ять пишется, но как же тут грамматическим правилом воспользоваться? Нужно, например, в записке написать слово *свет*, и девица забыла, пишется здесь *ять* или нет; чтобы узнать это, ей надо повторить мысленно всю таблицу слов с буквой *ять*, заученную ею в грамматике, начиная со слов: *бледный, беглый, белый* и т. д. Возможно ли же так возиться над каждым словом? Поневоле девушка пишет кое-как безграмотную записку и мало-помалу забывает наконец все эти несносные склонения, спряжения и т. п. Приложение учения к жизни опять потеряно. Так точно и со всеми науками. Всякому, конечно, случалось видеть дам, которые, не умея сосчитать сдачи, данной им в магазине, припоминают при этом: «А как прежде хорошо знала арифметику! у меня всегда лучшие баллы были»; или таких, которые, узнавши, что в Англию нельзя проехать сухим путем, восклицают: «Да, ведь и в самом деле это остров; вот ведь училась географии, и очень хорошо, а теперь все позабыла». И немудрено: память, слишком форсированная во время учения, без всякой поддержки со стороны рассудка и чувства скоро устает, ослабевает, делается неясной и неверной. В конце концов оказывается, что в голове остались два-три заученные правила без всякого отношения к жизни да пять-шесть имен без всякого определенного о них представления; оказывается, что даже о Везувии и Наполеоне девочка знает не потому, что прошла историю и географию, а потому, что впоследствии слышала о них в разговорах.

Все это, кажется, так старо, так известно, что никто и не потребует доказательств, более пространных и положительных. О существовании факта знают все, только все стараются забыть о нем, чтобы не расстраивать себя напрасно горем, которому нельзя пособить. Но обманывать себя нечего, родители благоразумные, надобно откровенно и громко признаться, что из всего учения, которым вы столько лет мучите своих дочерей, никогда не выходит никакого толку, а если что-нибудь и выходит, то разве благодаря каким-нибудь посторонним обстоятельствам. Нужно сознаться, что в большинстве так называемых *образованных* девиц учебный курс производит только умственную усталость, притупление естественной восприимчивости и свежести чувств, неприязнь к науке вообще, уже опрофанированной в их глазах, жалкую апатию ко всем просвещенным идеям. Зачем же вы мучите своих дочерей этими науками, спрашиваем еще раз, зачем губите их молодые силы? Им ведь не экзамен держать, не чин

получать нужно; отчего же вы не хотите оставить их в покое и преследуете учением, бесполезность которого сами не можете не сознавать?

«Так что же, по-вашему, вовсе учиться не нужно? — готовы возразить просвещенные родители.— Вы восстаете против наук, вы разделяете диколюбивые идеи Руссо? По-вашему, надобно дочерям нашим оставаться детьми природы, чуждыми всем благам новейшей цивилизации? Иначе нельзя понимать ваши слова: вы восстаете против нашего учения; но ведь другого нет,— следовательно, по-вашему, мы вовсе не должны учить своих дочерей».

Другого учения, кроме того, какое везде принято и на какое мы нападаем, действительно, пока еще нет у нас. Но из этого вовсе не следует, что иного учения, кроме нашего, вовсе нет и не может быть, т. е. что если не вызубрить грамматического учебника, то и научиться правильно писать по-русски невозможно. Напротив, есть средства учиться и выучиться без наших пансионов и учебников, и этими средствами, действительно, можно достигнуть правильного развития всех способностей девиц, необходимого для счастья их последующей жизни. Средства эти очень просты, а между тем они совершенно лишены тех не удобств, которые неизбежны при нынешнем обыкновенном учении и против которых мы восстаем, вовсе не имея намерения порицать самые науки. Хотите узнать эти средства, давно уже, впрочем, переставшие быть новостью на свете?

Первое, что нужно для успеха воспитания и учения,— это чтобы девочки не отчуждались от семьи. А между тем дома всех учить всему невозможно: в большей части семейств на это средств не достанет. Как же быть? Очень просто: воспитывайте своих дочерей дома, а учиться пусть они ходят в школу, точно так, как в гимназиях *приходящие* мальчики. От этого произойдут неисчислимы выгоды; вы сами можете постоянно следить за успехами своих дочерей, можете каждый день расспрашивать их об их уроках, прояснять в их сознании то, что ими не совсем хорошо было понято, дополнять то, что ими опущено, показывать им множество практических приложений того, что ими узнано в классе. А девочки между тем не будут отдаляться от жизни, от семейства, будут видеть около себя все те же родные заботы, те же житейские интересы и с малых лет будут знать, к чему им готовиться в жизни. В классе будут они знакомиться с миром науки и природы и вместе с тем будут узнавать общество своих подруг, дома будут они поверять свои наблюдения, откровенно сообщая их родителям и получая от них новые указания и объяснения. Учение, таким образом, пойдет рядом с жизнью и будет не препятствовать, а содействовать развитию здравого смысла и практического такта, в которых так часто нуждается у нас женщина.

При этом мы предполагаем, конечно, что и учить в женской школе будут хорошо и семья будет помогать школе. Но само собой разумеется, если вы находите, что ваше семейство может только вредно действовать на

развитие вашей дочери, если она увидит дома только дурные примеры, небрежение, невежество, если вы сознаете, что ничего полезного сообщить и растолковать ей не можете, что вы скорее станете сбивать ее с толку, нежели руководить, если вы сознаете все это, тогда, конечно, вы делаете очень благоразумно, удаляя свою дочь от себя. Только едва ли вы во всем этом сознаетесь, потому что подобное сознание не принесет вам чести.

Что же касается до самого преподавания, то, разумеется, при обыкновенной, ныне принятой организации и методе польза его очень и очень сомнительна. Не стоило бы и хлопотать из-за того, чтобы девочки заучивали все уездные города Российской империи непременно дома, а не в пансионе: тут уж местоположение немного значит. Но есть средства и для изменения всей методы преподавания в женских школах, и средства эти давно уже с успехом употребляются во Франции в учебных заведениях, известных под именем «Атенеев». Название «Атенеев» еще в древности усвоено было учреждениями, где читались публичные курсы наук. В прошлом столетии (1786) во Франции имя Атенея взято было для одного высшего учебного заведения, в котором тоже читались публичные курсы. Затем в последнее время число Атенеев увеличилось, и особенно известны между ними заведения, основанные известным педагогом Леви Альваресом и по его методе. Метода эта в главных своих основаниях очень проста. Начало ее то, что нужно заботиться об умственном и нравственном развитии учениц еще больше, нежели о сообщении им полезных сведений. Для этого учреждены особые курсы по каждому предмету, и во всем преподавании постоянное внимание обращается на то, чтобы в училищах было как можно менее пассивности и чтобы все способности как можно больше и чаще приходили в движение. Для девочек это обстоятельство еще важнее, чем для мальчиков, потому что вообще их восприимчивость живее, а степень внутреннего противодействия внешним влияниям слабее, чем у мальчиков, следовательно, они легче могут терять самостоятельность суждений и подчиняться чужим взглядам безотчетно и бессознательно. Особенно важно здесь преобладание чувства над рассудком и воображения над чистой памятью. Эти особенности женской природы вызывают некоторые особенные заботы и со стороны учителя. Что бы он ни преподавал, он прежде всего должен стараться заохотить учениц к своему предмету, показать его в таком виде, чтобы в них возбудилось к нему сочувствие или, по крайней мере, любопытство. Как бы ни хорошо убедилась ученица в пользе предмета, она все-таки не будет им заниматься с любовью и охотой, пока не почувствует сердечного влечения к занятиям. А известно, что когда занимаются с охотой, то дело идет несравненно легче и успешнее, чем при занятиях по необходимости, из-под палки. Далее, возбудивши интерес к предмету, учитель старается показать его с разных сторон, в различной обстановке, в разнообразных соединениях, с целью возбудить самобытную деятельность учениц. Они всматриваются в

предмет, сличают разные признаки, составляют понятия, суждения, классифицируют предметы, придумывают новые комбинации и из них выводят следствия, словом, деятельность рассудка пробуждается и находит для себя достаточный и соответственный материал. Запомнить то, что добыто собственной рассудочной деятельностью, уже не трудно, потому что память находит здесь помощь во всех остальных душевных способностях. А для того, чтобы действовать на развитие воображения, в преподавании всех предметов господствует конкретность, каждое положение науки представляется в ряде примеров, каждое понятие объясняется группой отдельных представлений, каждое заключение высказывается не иначе, как после предварительного разбора суждений, из которых оно выведено. На известной степени развития от учениц требуется уже, чтобы они сами выводили положения и заключения, и на этом поверяется логический процесс их мышления. В течение всего курса имеется в виду приучить учениц думать самостоятельно, внушить им любовь к знанию, сообщить о предметах ясные и полные понятия, дать материал для деятельности всем способностям и полный простор для их развития. Сообразно с этой целью нет в Атенях никаких школьных приманок и страхов; ни кокарды, ни красные и черные доски, ни похвальные листы, ни списки по достоинству, ни баллы не существуют. Ведь цель знания, особенно для девочек, не возможность служебных выгод и отличий, а само знание. Потому пусть за невнимательность и леность будет служить наказанием незнание, а наградою за любовь к занятиям— знание более твердое и отчетливое.

Такой чистый и возвышенный взгляд на обучение девочки требует, разумеется, и со стороны родителей, и со стороны преподавателей отречения от некоторых предрассудков. Например, нужно будет расстаться с красноречивыми введениями, которые сразу обдают учениц туманом синтеза и бывают ими поняты только уже тогда, как пройдут всю науку. Надо будет пожертвовать теми милыми мелочами, которые ныне служат лучшим доказательством прилежания учениц, т. е. заучиванием наизусть целой толпы географических названий, грамматических исключений, исторических чисел и т. п. Надо будет привыкнуть к мысли, что девочки будут учить не так много слов, как прежде, но зато узнают настоящее дело, с толком и с пользой для своего внутреннего развития. Надо тут расстаться и с успокоительным разделением, что пройдено «от сих до сих»; надо потерять и сладостную возможность присутствовать при формальных блистательных экзаменах в заключение учебного курса. Здесь учитель после 15—20 уроков на вопрос: что пройдено? — имеет полное право ответить: «Ничего не пройдено». Он, действительно, если хочет быть верен цели заведения, не может задавать своим ученицам, например, об употреблении буквы *h*, об озерах в Америке, о Пунических войнах и т. п. Он непременно должен ввести в науку самые элементарные понятия,

начать с того, что уже знакомо детям, представить живые изображения предметов, которые должны быть потом рассмотрены научно... А как это сделаешь? Каким образом живое изображение буквы ѣ, представишь? Разумеется, об этом не может быть и речи в живом, одушевленном преподавании. Преподавание русского языка надо будет начинать с чтения литературных произведений, которые могут иметь интерес для учениц, и с подробного разбора их содержания. В этот разбор должны входить подробности исторические, литературные, предметы из наук естественных и нравственных и между прочим замечания о способе выражения той или другой мысли. Мало-помалу можно заставлять учениц самих делать подобные разборы, рассказывать содержание письменно и тут обращать внимание на разницу их способа выражения от речи взятого писателя. При этом можно делать замечания о слоге, о духе языка, об особенных выражениях, принятых для известных предметов, о синтаксисе, о значении форм изменения слов, например видов глагольных, падежей и т. п. А на второй степени обучения явятся точно таким же образом замечания о разных родах и видах словесности, об условиях, необходимых для достоинства различных сочинений, и пр. Таким образом мало-помалу в голове учениц накопится масса сведений из грамматики и теории словесности, сведений, почерпнутых при глазах их из живого источника и тут же приложенных к делу; а между тем они совсем могут и не знать, что это за пугало такое — грамматика... Так точно может происходить преподавание и других наук. Учитель географии может, например, отправиться с детьми на прогулку и по дороге объяснять им необходимые географические термины, наглядно показывая их значение; или может описать несколько отдельных стран, с живым изображением местности и всех географических особенностей края. Учитель истории имеет столько возможности заинтересовать своим предметом, что о нем и говорить нечего: будь только у него собственное знание да добрая воля. Совокупное же действие всех учителей в этом духе не может не иметь весьма благодетельных последствий для умственного развития учениц.

Нам скажут, что мы представляем идеальных учителей и идеальную школу. Правда, что совершенное исполнение таких обязанностей требует от учителя большого искусства; правда, что недостатки в исполнении неизбежны. Но все-таки здесь легче приблизиться к идеалу, нежели в нынешнем обыкновенном обучении, которое поставило себе идеалом — что же? — то, чтоб ученицы запомнили на всю жизнь все написанное в учебниках. Никто и никогда этого не достигал — и слава богу!

Школ, основанных на таких началах, у нас еще нет, но стоит захотеть, чтоб они были. Сначала, конечно, будут кое-какие недостатки: учителя, позабывшись, по старой привычке будут иногда пускаться в схоластику, ученицы, видя, что нет тут ни баллов, ни кокард, мало будут

заботиться о выслушанных уроках. Но мало-помалу и те и другие поймут свое настоящее положение и примутся за дело охотно и дружно. Приятней же ведь учиться и знать, чему учишься, нежели зубрить урок, ничего не понимая.

Эти мысли о женском воспитании были возбуждены в нас программой недавно открытого здесь, в С.-Петербурге, учебного заведения г-жи Труба, названного Атенеум и основанного, как видно из программы, именно на тех сейчас изложенных нами началах, какие господствуют в системе обучения Атенеум во Франции. Мысль основать такое заведение у нас очень замечательна, и от нее можно ожидать хороших последствий. Попытка эта особенно кстати у нас теперь, когда вопросы о воспитании сильно возбуждены в нашем обществе и когда несостоятельность старой системы с каждым днем становится все очевиднее. Нельзя не пожелать, чтобы предприятие г-жи Труба имело успех. Мы поспешили изложить свои мысли об этом предмете с той целью, чтобы, с одной стороны, просвещенные родители знали, чего ожидать от заведений, подобных Атенеуму г-жи Труба (мы надеемся, что попытка г-жи Труба не будет единственной); а с другой стороны, чтобы и преподавателям подобных заведений яснее видно было, чего от них ожидают для их учениц и какие в этом случае лежат на них обязанности.

НАШИ УСЫПИТЕЛИ

I

Мы переживаем мудреное и тяжелое время. У нас зарождаются противоположные партии, и это зарождение, — процесс совершенно естественный, законный и необходимый, — при нашей неопытности, при нашем полном неумении жить и думать собственным умом, кажется нам началом ужасной общественной болезни. Добродушные и недалёковидные люди недоумевают, унывают и приходят в отчаяние. Вот тебе и прогресс, толкуют они, вот тебе и развитие, вот тебе и просвещение. Просветились до того, что знать друг друга не хотят. Сын сторонится от отца как от взяточника и низкопоклонника. Дочь говорит матери, что не намерена стеснять себя ее предрассудками. Подчиненный желает иметь и заявлять в присутствии начальника самостоятельные убеждения. Ученик осмеливается требовать, чтобы учитель уважал его человеческое достоинство. Общественные связи разрываются, субординация исчезает, нравственность гибнет, а литераторы, которые должны вразумлять и усовещивать заблуждающихся соотечественников, проводят время в губительных раздорах и ни в чем не могут между собою согласиться. Куда же мы идем? И чем все это может кончиться? Кто объяснит нам наконец, что хорошо и что дурно, что полезно и что вредно, как надо думать, чувствовать и жить, чтобы уподобиться цивилизованным народам и удивить Европу красотой и безобидностью нашего постепенно-прогрессивного развития?

Добродушные и недалёковидные люди, изливающие таким образом свое уныние, составляют во всяком обществе огромное большинство. Когда эти люди затвердят и начнут напевать какую-нибудь самую нехитрую песенку, тогда эта песенка слышится на всех перекрестках, во всех клубах и ресторанах, во всех гостиных и, пожалуй, даже, с некоторыми вариантами, во всех передних. Эта песенка, обыкновенно самая глупая и самая ничтожная, становится лозунгом и боевым криком всех, а все — это такая сила, которая увлекает за собою не одних Репетиловых. Чтобы сопротивляться голосу всех, чтобы уцелеть невредимым среди какой-нибудь умственной эпидемии, надо быть очень твердым и очень глубоко убежденным человеком. Понятно поэтому, какую великую и неодолимую силу доставляет поголовное уныние добродушных и недалёковидных людей тем умствующим субъектам, которые, по своей интеллектуальной неповоротливости и трусливости, стараются затормозить всякое серьезное движение мысли и которые в то же время, по своему тщеславию, стремятся приобрести себе своими гасильническими подвигами репутацию истинных патриотов. Понятно, что эти

философствующие и политиканствующие гасильники пускают в ход все свои усилия, чтобы поддержать это поголовное уныние и довести его до меланхолической мономании. И старания их увенчиваются успехом, потому что задача, за которую они принимаются, не представляет никаких трудностей. Им, этим гасильникам, приходится катить камень под гору, туда, куда его тянет собственная тяжесть, значит, гасильникам остается только слегка придерживать и направлять его, чтобы он не сбился куда-нибудь в сторону. Дело легкое, приятное, обещающее своему виновнику десятки лавровых венков и поздравительных телеграмм и требующее от него только достаточной дозы тупоумия и бесстыдства. Если награды так обильны и лестны, а требования так ничтожны и удобоисполнимы, то возможно ли сомневаться в том, что дело гасильничества будет доведено до конца с полным успехом, от которого переполнятся восторгом все невинные сердца алчущих и жаждущих спокойного умственного сна?

Быть гасильником всегда приятно и легко. Положение гасильника в высшей степени прочно и почетно во всяком обществе и при всяких условиях. Впрочем, я считаю удобным заменить слово гасильник словом усыпитель. Это последнее слово не так избито и, по моему мнению, гораздо более выразительно. Итак, быть усыпителем приятно и легко.

Почему?

По той весьма простой причине, что люди любят спать и всегда готовы превозносить того милого человека, который помогает им предаваться этому сладчайшему занятию, которое, даже с нравственной точки зрения, очень похвально, как предохранительное средство против грехов. Кто больше спит, тот меньше грешит, а кто помогает спать, тот, следовательно, уменьшает количество человеческих беззаконий.

В самом деле, как не любить усыпителей? Ум наш от природы расположен к неподвижности. Нам приятно думать, что мы обладаем полным знанием истины, нам приятно успокаиваться на том складе идей, к которому мы привыкли, нам приятно ласкать себя тою уверенностью, что наше мирозерцание, не стоившее нам ни малейшего личного труда, доставшееся нам по наследству или приобретенное в раннем детстве от старой няньки, — составляет для нас такую надежную крепость, которую не могут разбить никакие вражеские возражения и в которую не могут пробраться никакие лукавые сомнения. И вдруг мы встречаем на жизненном пути двух странников, очень похожих друг на друга, и оба эти странника вступают с нами в разговор, сначала о прекрасной погоде, потом о красотах данного местоположения и, наконец, о предметах, вызывающих на размышление, о природе, о человеке, о жизни, об обществе. Мы, конечно, выкладываем перед обоими странниками весь запас сокровищ, подаренных нам старую нянькою. Эти сокровища производят на странников весьма различное впечатление.

Один из них, из себя невзрачный, с дерзким взглядом и с насмешливою улыбкою на бледных губах, говорит спокойно и презрительно: «Знаю я эти сокровища. Мне были подарены точно такие же золотые горы. Вам они достались от Феклы, мне — от Матрены. Сущность дела от этого не изменяется. Это — пыль и сор, которые незаметным и нечувствительным образом забираются к вам в глаза и мешают вам ясно видеть окружающие предметы. Вы почти совсем слепы, вы не имеете ни о чем правильного понятия, поэтому вы воображаете себе, что вы богаты, что вы счастливы, что вы честны, что вы умеете размышлять собственным умом, что вы сохраняете в полной неприкосновенности ваше человеческое достоинство. Бросьте ваши мнимые сокровища, промойте себе глаза у источника чистой истины, и вы увидите с ужасом, до какой степени вы нищи, убоги и жалки во всех отношениях».

Другой странник очень похож на Чичикова. Такой же степенный, кругленький, гладенький и благообразный. Выслушав речь первого путника, он обращается к вам с выражением самого искреннего и глубокого участия.

— О прекрасный и невинный юноша, — говорит он самым мягким и ласковым тоном, — не слушайте ядовитых советов этого суетного и злобного интригана. Эти советы повлекут вас в бездну или по меньшей мере в ближайшее полицейское управление, где вы, наверное, будете подвергнуты сначала строгому допросу, а потом — соответствующему взысканию. Коварный соблазнитель говорил вам, что вы нищи, убоги и жалки во всех отношениях. Это наглая ложь. В нем говорила низкая зависть. Испорченный своими преступными помыслами, он не может воротить себе безмятежную невинность своей ранней молодости. Поэтому он желает отнимать эту невинность у всех молодых людей, с которыми он встречается на жизненном пути. Но вы ему не верьте. Ваши сокровища чище и драгоценнее всякого золота. Вы действительно богаты, счастливы и честны. Ваш ум работает совершенно самостоятельно. Ваше человеческое достоинство находится в полной безопасности. Перед вами лежит широкий путь, усеянный цветами и ведущий к высшим ступенькам земного блаженства. Умейте только беречь и ценить те великие истины, которыми вас наградила ваша почтенная, ваша достойная, ваша доблестная Фекла. Идите смело по широкому пути, не задумывайтесь над мудреными вопросами жизни, будьте уверены, что все решено без вас, и решено совершенно удовлетворительно, улыбайтесь простодушно и доверчиво всему, что попадется вам на глаза, — и вы пройдете все ваше земное поприще так счастливо и так почетно, что вы будете в состоянии ставить себя в пример вашим детям и внукам.

Теперь не угодно ли вам сравнить речи обоих путников.

Один говорит вам дерзости, называет вас слепым, нищим, убогим, жалким, осмеивает вашу Феклу, которая носила вас на руках и

рассказывала вам прекрасные сказки, посылает вас к какому-то источнику знания, велит вам промыть глаза и за все эти непривычные для вас труды обещает вам в будущем только то, что вы увидите ясно наготу вашего безобразия. Другой, напротив того, говорит вам самые милые любезности, одобряет все ваши понятия, ставит Феклу на пьедестал, выше всяких Сократов и Аристотелей, требует от вас, чтобы вы следовали постоянно всем вашим любимым умственным привычкам, и обещает вам впереди все то, что может веселить сердце благожденного человека.

Кто же из двух имеет больше шансов произвести на вас благоприятное впечатление и убедить вас своею проповедью? Я думаю, что на этот счет едва ли может существовать какое-нибудь сомнение. Первый подействует только на тех людей, которые любят истину больше всего на свете, или же на тех, которых жизнь держала в ежовых рукавицах с самого дня их рождения. Второй потянет за собою всю остальную толпу — огромное большинство.

Пламенная и бескорыстная любовь к истине составляет исключительное достояние очень немногих избранных и богато одаренных личностей. Любить истину и переносить ее ослепительное сияние может только тот человек, для которого святые и великие умственные наслаждения стоят выше всех остальных житейских радостей. Такой человек размышляет не только для того, чтобы решить так или иначе практическую задачу и приобрести себе те или другие удобства, а для того, чтобы процессом мышления удовлетворить одну из самых настоятельных своих органических потребностей. Он размышляет по тому же самому произвольному влечению, которое заставляет его выпить стакан воды или съесть кусок хлеба. Он пьет потому, что чувствует жажду, он ест потому, что чувствует голод; он думает потому, что чувствует у себя в мозгу накопление силы, которому надо дать выход. У кого потребность размышлять так сильна, что ее можно поставить рядом с самыми важными органическими потребностями, — тот относится к качеству своего мышления с такою же невольною строгостью, с какою каждый из нас относится к качеству своей пищи или своего питья. Каждый из нас счел бы для себя настоящим мучением, если бы его заставили пить постоянно вонючую воду или есть постоянно испорченную пищу. Мучение тут состоит преимущественно не в том, что мы боимся за наше здоровье, а в том, что мы постоянно испытываем неприятное ощущение. Так точно и человек, одержимый потребностью размышлять, не может терпеть в своем мышлении никакой фальши, никаких искажающих стеснений, никакой посторонней регламентации; и это отвращение ко всему, что задерживает свободное развитие мысли, происходит вовсе не от той боязни, что из софизмов родятся ложные и вредные поступки, а просто потому, что оскопленная и сдавленная мысль так же непосредственно противна

всякому мыслителю, как вонючая вода или гнилая пища противны всякому здоровому человеческому организму.

Тот человек, которому бесконечно дорог самый процесс мышления, ищет истины во что бы то ни стало, помимо всяких практических соображений, как бы ни были эти соображения важны и уважительны.

Если этот человек задает себе какой-нибудь вопрос, то он старается получить на него точный, правильный и верный ответ, и, убедившись в том, что полученный ответ соединяет в себе все эти качества, наш добросовестный мыслитель принимает его за истину, хотя бы от этого ответа перевернулись вверх дном все его прежние понятия.

Истина может оказаться очень неутешительною; она может разбить множество прелестнейших фантазий; она может привести самого мыслителя в смущение и в ужас. Открытие такой печальной истины может стоить мыслителю многих мучительно-бессонных ночей. Но нет нужды. Истина есть истина, и, встретившись с нею лицом к лицу, мыслитель, достойный этого имени, признает ее беспрекословно и не позволяет себе ни под каким видом замаскировывать ее строгие черты различными робкими умолчаниями или мошенническими искажениями.

Человек, воодушевленный такою страстною и неустрашимою любовью к истине, какова бы она ни была, задумается очень серьезно и глубоко, когда увидит, что умственные сокровища, унаследованные им от Феклы, подвергаются одним из его собеседников самому беспощадному осуждению. «Что за чудеса! — скажет он себе. — Стало быть, есть возможность сомневаться в том, что я считал стоящим неизмеримо выше всякого сомнения. Стало быть, существует такая точка зрения, о которой я до сих пор не имел ни малейшего понятия. Надо осмотреть эту точку зрения. Я, конечно, уверен в том, что она ошибочна, потому что, в самом деле, не могла же Фекла ошибаться и не могли же вместе с нею ошибаться и папаша, и мамаша, и дяденька, и тетенька, и все мои гувернеры и гувернантки. Но надо все-таки узнать, как и почему возможна такая ошибочная точка зрения, откуда взялось это странное заблуждение, чем оно укрепилось и какими доказательствами оно поддерживается в настоящую минуту».

Юный любитель истины начинает расспрашивать, читать, вдумываться и, наконец, приходит, разумеется, к тому убеждению, что Фекла, при всех своих превосходных качествах, была очень посредственною мыслительницею.

Но толпа не придет к этому заключению, потому что толпа твердит стихи своего любимого поэта:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.

Истина сама по себе не имеет в глазах толпы никакой цены, и тот чудак, который вздумает возвещать толпе истины, противоречащие ее привычным понятиям, нарушающие ее умственный комфорт, разбивающие ее иллюзии и налагающие на нее обязанность встревожиться и задуматься, — может смело рассчитывать на все те мелкие, но чувствительные неприятности, преследования, подозрения и оскорбления, которые в наше филантропическое время заменяют собою мученический венец.

II

Те люди, для которых жизнь была в детстве суровою мачехою, могут также вместе с бескорыстными искателями истины увлечься идеями смелого отрицателя. Кому тяжело и больно жить на свете, тому трудно воспитать в себе особенно сильную любовь к тем понятиям, на которых построен и которыми держится угнетающий его порядок вещей. Измученный и озлобленный человек привык с детства считать некоторые положения за неопровержимые истины, но эта привычка образовалась в нем только потому, что он ни разу не слышал ни одного противоположного мнения. Эта привычка имеет чисто пассивный характер. В ней нет деятельной любви, и человек при первой возможности поспешно и с радостью отрывается от этой привычки, которая не связывается в его уме ни с какими светлыми и приятными воспоминаниями. Мрачное и печальное детство, наполненное лишениями и незаслуженными оскорблениями, всего чаще достается на долю тем людям, которые принадлежат к низшим и беднейшим классам общества.

В этих классах общества идеи отрицателей нашли бы себе, конечно, самый восторженный прием, но именно в эти классы общества серьезная мысль до сих пор никогда не заглядывала; во-первых, потому, что людям, ежедневно отбивающимся от голодной смерти самым напряженным трудом, некогда заниматься размышлениями, как бы ни были эти размышления серьезны и полезны; во-вторых, потому, что умственный сон низших классов охраняется во всех благоустроенных государствах многими сотнями бдительных аргусов.

Но везде, где так или иначе, по тому или по другому случаю, происходит соприкосновение между бедностью, с одной стороны, и серьезною мыслью, с другой, — там тотчас же идеи отрицания находят себе многочисленных адептов и распространителей.

Так, например, было замечено не раз, что в наших духовных училищах сформировались самые крупные и яркие представители отрицательного направления, которое и до сих пор воспринимается с особенною жадностью воспитанниками этих же самых училищ. Наши гасильники, или усыпители, старались объяснить этот, очень печальный для них, факт различными недостатками господствующей педагогической системы. 4 Система действительно плоха, в я нисколько не намерен ее

отстаивать. Но нельзя не заметить, что никакие педагогические усовершенствования не повернут мир назад к докоперниковской и догалилеевской философии и не затушают также того вопиющего противоречия, которое существует между остатками этой философии и непоколебимыми естественнонаучными истинами. Что же касается до водворения отрицательных идей в таких учебных заведениях, которые, по самой сущности своей, совершенно враждебны этим идеям, — то оно объясняется не какими-нибудь несовершенствами в программе или в распределении занятий, а просто тем чрезвычайно важным обстоятельством, что в этих именно заведениях крайняя бедность встречается с умственной деятельностью.

Бурсаки очень бедны, беднее всех других обучающихся в России юношей, и при этом они, однако же, имеют возможность и желание читать серьезные книги. Этого совершенно достаточно, чтобы приготовить самое полное торжество отрицательных идей во всех духовных училищах.

Дело в том, что отрицательным идеям, и только им одним, безраздельно принадлежит будущее. В настоящее время большинство образованных классов во всем цивилизованном мире враждебно этим идеям. Но это ровно ничего не значит. Напротив того, именно это обстоятельство и дает нам возможность заметить, как неотразимо сильны отрицательные идеи и как ничтожен тот грязный хаос, который долго может задерживать своим присутствием умственное развитие человечества, но который никогда не может одержать окончательную победу, потому что никогда не может произвести из себя ничего прочного, ничего живого, ничего способного развиваться и совершенствоваться.

Большинство враждебно отрицательным идеям. Это верно. По что же это значит? Это значит только, что большинство подкуплено в пользу status quo, 5 которого оно не может находить ни справедливым, ни разумным и которого оно не может защищать, не впадая ежеминутно в грубейшие внутренние противоречия, не прибегая ежеминутно к самым неправдоподобным выдумкам и не доходя на каждом шагу до самых вопиющих абсурдов.

Большинство превозносит своих усыпителен. Не мудрено. Еще бы не превозносить тех услужливых людей, которые, из году в год и с утра до вечера, тратят все силы своего ума на то, чтобы заглушить в нас те невольные угрызения совести, с которыми мы сами, как люди простые и не хитрые, не умеем справляться.

Страсбургские пироги, конечно, очень вкусны; шампанское, бургондское, рейнвейн и херес веселят сердце человека; абонированная ложа в бельэтаже итальянской оперы доставляет бочки эстетического наслаждения; карета на лежачих рессорах, запряженная парю великолепных серых жеребцов, превращает каждую деловую поездку в приятнейшую прогулку; но хорошая консервативная газета, издаваемая

искусным усыпителем, приятнее и драгоценнее каждого из этих земных благ, взятых отдельно; или, точнее, хорошая консервативная газета придает всем этим земным благам тот утонченнейший вкус и высший аромат, которые удваивают, а может быть, даже и утроивают их цену. Хорошая консервативная газета одухотворяет все эти блага. Факт возводится ею в священное право, и обладатель земных благ узнает из нее каждое утро, за чашкою цветного чаю или моккского кофе, что он — некое маленькое божество, на алтарь которого простые и темные люди обязаны, нравственно обязаны, нести со всех концов света превосходнейшие произведения природы и великолепнейшие продукты человеческой промышленности.

На обладателя земных благ может иногда напасть тяжелое раздумье. На что я в самом деле годеи, что я делаю? Другие кругом меня трудятся, суетятся, волнуются, выбиваются из сил, терпят лишения, страдают и борются, а я только и делаю, что ем, пью, сплю и заплываю жиром. Кому я приношу пользу? Кому нужно мое глупое существование?

Против такого раздумья не помогают ни страсбургские пироги, ни шампанское, ни опера, но хорошая консервативная газета в пять минут может разогнать мрачные тучи этих лукавых помышлений. — Помилуй, друг мой, — говорит такая газета задумавшемуся обладателю земных благ. — Как мог ты, хоть на одну минуту, допустить в свою светлую голову странную мысль о том, будто ты бесполезен. Ты один из самых твердых столбов общественного здания. Каждый, повидимому, ничтожнейший акт твоей жизни составляет благодеяние. Вся твоя жизнь есть одно постоянное служение обществу. Вот, например, друг мой, ты достаем из кармана платок. Ты думаешь может быть, что это в самом деле только носовой платок, бездушная и бессмысленная тряпка? Нет, друг мой, это маленький памятник твоей невольной заботливости о благосостоянии твоих младших братьев. Платок этот выткан ткачом, подрублен и замечен швеею, вымыт и выглажен прачкою. Теперь подумай только, в каких бы дураках остались все эти бедные люди, если бы тебя не было на свете или если бы ты, бывши на свете, был так черств сердцем и так суров в своих привычках, что сморкался бы в собственную руку, а не в батистовый платок. Но, слава создателю, ты существуешь, ты так великодушен, так мягкосердечен, так возвышенно умен и так утонченно цивилизован, что понимаешь вполне, насколько батистовый платок удобнее собственной руки. Ты покупаешь себе дюжину платков, и довольство разливается тихими ручьями в скромные хижины и мансарды честных тружеников. Ткач садится за свой простой, но здоровый обед и говорит растроганным голосом, возводя к небу свои глаза, наполненные слезами благодарности: «Пошли, господи, многие лета добрым господам, что сморкаются в батистовые платки». Швея приобретает себе простые, но прочные башмаки и, обливая их радостными слезами, шепчет прерывающимся голосом: «Дай, господи,

доброе здоровья тому барину, что отдавал мне подрубить и метить платки». Ты недавно говорил, мой друг, что ты заплываешь жиром. О, не смущайся и не тяготись этим обстоятельством. Это не простой жир. Это награда за твои заслуги. Это такой жир, которым ты имеешь полное право гордиться. Это — результат тех теплых молитв, которые несутся к престолу создателя из всех хижин честных тружеников, питающихся твоими благодеяниями. Я вижу, друг мой, что ты совершенно убежден моими доказательствами, взволнован и растроган: слезы льются из глаз твоих, нос твой переполняется жидкостью, и ты поспешно хватаешься за маленький памятник твоей заботливости о благосостоянии младших братьев. Ты сморкаешься, да, ты сморкаешься, но понимаешь ли ты высокое значение этого поступка? Этим поступком ты спешишь на помощь к бедной прачке, которая в настоящую минуту нуждается в лекарствах для своего больного ребенка. Еще пять, шесть таких же великодушных поступков, и твой платок отправится в грязное белье и привлечет на тебя новые реки благословений и новые слои благодатного жира, вымоленного для тебя твоими трудолюбивыми *proteges*⁵⁸.

Но все это, друг мой, только одна сторона твоей общепольной и доблестной деятельности. Ты еще более велик и прекрасен, если посмотреть на тебя с политической точки зрения. Тут ты изображаешь собою охранительный элемент нашего общества. Тут ты служишь лучшим представителем нашей нравственной самостоятельности. Подкупить тебя нельзя, потому что ты богат. Запугать тебя тоже нельзя, потому что с человеком, сморкающимся в батистовые платки, принято обращаться вежливо. Ты сегодня пообедал хорошо и желаешь завтра пообедать так же хорошо, следовательно, ты консерватор. Но, с другой стороны, ты согласен пообедать завтра еще лучше, чем сегодня, следовательно, ты также и прогрессист. Вся твоя политика исчерпывается этим желанием и этим согласием. Твоя политика проста и ясна, как все великое. Ты совмещаешь в высшем и всеобъемлющем синтезе все хорошее и разумное, что когда-нибудь было произведено на свет какими бы то ни было политическими школами. И здесь, друг мой, я опять должен возвратиться к твоему благодатному жиру, на который ты жаловался с такою странною неосновательностью. Этот жир, даже и с политической точки зрения, имеет высокое и спасительное значение. Этот жир придает тебе ту солидность, ту медленность, ту драгоценную неповоротливость, вследствие которой ты делаешься самым надежным хранителем преданий, привычек и установившихся отношений; твой жир мешает тебе увлекаться новыми идеями и модными бреднями. Наш государственный корабль, нагруженный целыми тоннами такого же благодатного жира, плывет, по милости этого спасительного балласта, с подобающею медленностью и с привычною величественностью, вместо того чтобы лететь на всех парусах, подвергаясь опасности наскочить на подводные камни. Итак, друг мой, знай это раз

навсегда: всякий раз, как ты кладешь в рот кусок вкусной и питательной нищи, способной превратиться в частицу жира, — ты оказываешь отечеству малую, но существенно важную услугу. Я повторяю тебе, что ты можешь созерцать свой жир с законною гордостью. Если ты когда-нибудь разжиреешь до того, что задохнешься, то все мы, твои друзья, все мы, искренние патриоты, все мы, благоразумные прогрессисты, поставим на твоей могиле великолепный памятник и будем говорить о тебе со слезами умиления: он умер за отечество!

Спрашиваю я вас теперь, какой цветочный чай или какой моккский кофе может, по своему вкусу и по своему аромату, выдержать сравнение с хорошою консервативною газетою, из которой обладатель всех земных благ вычитывает каждый день столь возвышенные и утешительные соображения.

III

За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит петуха?
За то, что хвалит он кукушку.

Этими бессмертными стихами Крылова объясняются многие блистательнейшие и скандальнейшие успехи. Этими же самыми стихами объясняется также успех наших усыпителей, успех очень блистательный и в высокой степени скандальный.

Дело усыпителя состоит в том, чтобы постоянно приискивать красивые названия и искусные оправдания для всех умственных и нравственных слабостей читающего общества. Раболепство, низкопоклонство, суеверие, тупоумие, самодурство, корыстолюбие, бесхарактерность, двоедушие — все, что в пробуждающемся обществе бывает принуждено прятаться и стушевываться, снова реабилитируется и возводится на пьедестал неусыпными стараниями ловкого усыпителя. Читатели видят, что их подлость и их глупость могут смело поднять голову и ходить по улицам, требуя себе от встречных и поперечных сочувствия и уважения. Сначала читатели не смеют верить такому избытку блаженства. Они все еще боятся, что за панегириком скрывается злая и убийственная сатира. Они еще не могут себе представить, что есть возможность хвалить в них то, что они сами признают в себе одним из многих проявлений человеческой слабости. Но между тем панегирик все продолжается, сатира ниоткуда из-за него не выглядывает, читатели, наконец, успокоиваются и убеждаются в том, что всем их любимым пошlostям действительно воскурятся фимиам; тогда начинается общее и неудержимое ликование; все кукушки данного общества высказывают из своих притонов и начинают славословить петуха, зная очень хорошо, что чем выше они вознесут эту почтенную птицу, тем больше силы и веса они придадут его песням, прославляющим всевозможные кукушечьи качества, привычки, ухватки,

низости и мерзости. Значит, вознося петуха, кукушки возвеличивают самих себя. А кто же откажется говорить самому себе любезности и комплименты, если это может быть сделано косвенным образом и под благовидным предлогом.

Итак, усыпители и читатели носят друг друга на руках и плавают в море блаженного самообожания. Наконец, в разгаре своего торжества, они чувствуют непобедимое желание призвать к себе на помощь поэзию, чтобы она увековечила их прекрасные черты, сделавши их предметом эпоса. Ноздревы, Чичиковы и Собакевичи, найдя себе такого публициста, который оправдал и превознес все их попользования, ищут себе также и таких художников, которые, сохраняя им все их типические особенности, превратили бы их в милых, интересных и очаровательных героев романа. «Мы победители, мы триумфаторы, мы вожди общества, — говорит раздувшаяся грязь, проникаемая вдруг чувством собственного достоинства.—Эй, поэты, воспойте нас, да воспойте так, чтобы всякий сразу понял, что мы — первые красавцы и величайшие герои во всем подлунном мире. За деньгами мы не постоим».

Поэтам свойственно воспевать триумфаторов и получать за то подачку с их богатого стола. Многим поэтам было бы особенно приятно превратить торжествующую грязь в очаровательных героев. Поступая таким образом, многие поэты оказали бы очень важную услугу собственным особам, носящим в себе достаточное количество той же величающейся грязи. Стало быть, в побудительных причинах для начала эпических песнопений не могло быть недостатка. Охотников тоже оказалось по этой части очень довольно. И, однако же, все старания не только остались безуспешными, но даже все до одного повернулись против интересов торжествующей грязи. Все романы, написанные для прославления грязи и для посрамления ее противников, доказали, наперекор всем усилиям их авторов, что грязь решительно ни на что не годится и что сила, мужество, честность, ум, любовь к идее составляют исключительную и безраздельную собственность тех противников, которых авторы желали опозорить, оклеветать и стереть с лица земли. К этому результату пришли и «Взбаламученное море», и «Марево», и «Некуда». Образы и характеры сказали как раз противное тому, что хотели сказать авторы.

Кто оказывается самым чистым и светлым характером в «Взбаламученном море»? — Валериан Сабанеев.

А в «Марево»? — Инна Горобец.

А в «Некуда»? — Лиза Бахарева.

То есть именно самые непримиримые, самые страстные противники той ноздревщины и чичиковщины, которую господа тенденциозные романисты старались реабилитировать и взгромоздить на пьедестал.

Так как тенденциозные романы пишутся всегда по рецепту, то в них тотчас можно заметить, что некоторые фигуры вдвинуты в картину для симметрии, для того чтобы оттенить собою какое-нибудь лицо, действительно важное и имеющее самостоятельное значение.

Во всех трех тенденциозных романах, украсивших собою в недавнее время нашу изящную словесность, — рядом с энергическими фигурами бойцов, навлекающих на себя неудовольствие авторов, поставлены, ради большей поучительности, фигуры молодых, но благонравных особ, на которых авторы смотрят с одобрительною улыбкою.

Валериан Сабанеев оттеняется Варегиним.

Инна Горобец — молодую и прекрасною девицею Мальвиною Францевною, фамилию которой я теперь не могу припомнить.

Лиза Бахарева — своею приятельницею, Евгению Гловацкою.

Все благоволение авторов покоится на этих поучительных особах. И между тем, при всем своем благоволении, авторы не могут из них решительно ничего сделать.

Все это — образы без лиц, воплощенные нравоучения, кроткие и улыбающиеся бесцветности, похожие до чрезвычайности на Здравосудов и Стародумов старых комедий.

Все это такие фигуры, которые могут обманывать читателя и прикидываться живыми только до тех пор, пока они остаются в тени, на самом заднем плане романа, находясь в совершенном бездействии, произнося благоразумные речи и выделявая кроткие гримасы.

Попробуйте выдвинуть эти фигуры на первый план, попробуйте сделать их центром романа, заставьте их самих чувствовать и действовать, вместо того чтобы выражать благоразумные суждения о чужих страстях и поступках, — и тогда картон и проволока, из которых составлены эти поучительные особы, в одну минуту обнаружат свою безжизненность и неповоротливость.

Почему же, однако, все это сложилось таким образом? Почему господам авторам тенденциозных романов пришлось поневоле воплощать в ярких и привлекательных образах только те враждебные идеи, которым они старались нанести смертельный удар? И почему, с другой стороны, им не удалось соорудить ни одного живого лица из тех материалов, которым они желали засвидетельствовать свое глубочайшее уважение и свою неизменную преданность?

Дело в том, что вообще на всякой важной идее несравненно легче построить довольно сносное отвлеченное рассуждение, чем живой и занимательный рассказ. Для рассуждения вы можете выбирать именно только те стороны предмета, которые не противоречат вашей ложной идее. Вы можете ограничиться очень незначительным числом фактов; вы можете оставить без внимания все то, что не подходит под вашу узкую теорию; вы можете перетолковать, сообразно с вашими видами, значение тех фактов,

которые вы сами подобрали и сгруппировали; вы можете указать между этими фактами такую связь, которая вовсе не существует между ними в действительности. Все эти фокусы сойдут вам с рук самым благополучным образом, если только вы обладаете достаточной дозой самоуверенности и диалектической ловкости. Умышленные пропуски, натяжки, ложная группировка и ложное освещение фактов — все это будет замечено только теми немногими, людьми, которые сами изучили предмет вашего рассуждения. Таких людей во всяком обществе найдется очень немного, и ваша шарлатанская работа адресуется вовсе не к ним, а к доверчивой и совершенно беззащитной массе читателей. Эта масса будет любоваться красотами вашего языка и благоговеть перед вашею нахальной самоуверенностью, которую она будет принимать за несомненное доказательство вашей неисчерпаемой учености и безукоризненной добросовестности. Положим, что знатоки дела не будут молчать. Они начнут разбивать вашу работу и раскритикуют ее так, что в ней не останется ни одного живого места. Вам и тут еще нет достаточного основания считать свое дело окончательно проигранным. Во-первых, критика опасна для вас только в том случае, если она написана так же общедоступно и увлекательно, как ваше шарлатанское рассуждение. Очень серьезная и величественно-скучная критика останется непрочитанной, хотя бы в ней заключались несметные сокровища знания, мудрости, основательности и добросовестности. Во-вторых, какая бы то ни было критика может убить вас окончательно только в глазах тех людей, которые имеют достаточное понятие о вашем предмете и которые вследствие этого должны презирать вас с самого начала, после самого первого знакомства с вашим литературным фокусничеством. Что же касается до обманутых вами профанов, то они увидят только, что вы говорите одно, а критик ваш — совсем другое. Кто из вас говорит правду и кто лжет — этого профаны определить не могут, потому что для этого необходимы знания, которых у них не имеется. На самую убийственную критику вы можете отвечать новыми софизмами, новым подтасовыванием фактов, новым извращением мыслей, и победа может остаться на вашей стороне, если только во все время ожесточенной борьбы ваша самоуверенность и ваша диалектическая развязность не покинут вас ни на минуту.

Всеми этими выгодами и преимуществами вы пользуетесь в том случае, если вы стараетесь отуманивать ваших читателей отвлеченными рассуждениями.

Но дело принимает совсем другой оборот, когда вы делаете попытку облечь вашу возлюбленную ложь в живые образы. Тогда оказывается одно из двух: или эти образы приводят вас в отчаяние и обличают вас во лжи своею безнадежною и неизлечимою деревянностью, над которою сменяются или зевают все ваши читатели, от мала до велика; или же эти образы оживают под вашим пером, но оживают не на радость

вам и вашей ложной идее. Они оживают затем, чтобы взбунтоваться против вас, возвеличить то, что вы хотели оплевать, и оплевать то, что вы хотели возвеличить. Когда вы предлагаете публике роман или повесть, тогда вашим критиком является каждый из ваших читателей, каждый человек, наделенный от природы самым простым здравым смыслом и успевший приобрести себе самое обыкновенное знание жизни. В отношении к романам и повестям нет и не может быть профанов. Каждый читатель может понять или по крайней мере почувствовать, что натурально и что ненатурально, что правдоподобно и что неправдоподобно, что занимательно и что скучно. — В отвлеченном рассуждении вы могли доказывать сколько вам угодно, что душевные свойства, украшающие Чичикова и Молчалина, необходимы для процветания, для благоденствия, даже для существования России. Вы могли объяснять очень пространно и красноречиво, какими педагогическими приемами следует возвращать эти спасительные качества в молодом поколении. Публика могла слушать ваши речи с благоговением, потому что, с одной стороны, эти речи были пересыпаны патриотическими словами; с другой стороны, они гладили по шерсти чичиковские и молчалинские инстинкты, сидящие в душе очень многих читателей; а с третьей стороны, эти читатели были совершенно не приготовлены к каким бы то ни было размышлениям о судьбах России и об умственных потребностях молодого поколения. Значит, перед этими читателями можно было с полным успехом выкладывать на стол все те инструменты, при содействии которых предполагалось готовить из наших юношей Чичиковых и Молчалиных. Читатели только любовались этими инструментами и выражали пламенное желание, чтобы они были разосланы в достаточном количестве во все губернские города нашего отечества.

Но вы вздумали собрать воспетые вами чичиковские и молчалинские свойства в один образ, вы пожелали, чтобы публика смотрела на этот образ с любовью и с уважением, — и тут вы провалились жестоко. Ваша послушная, ваша доверчивая, ваша безответная публика откровенно засмеялась или стыдливо отвернулась прочь, вместо того чтобы, согласно с вашим требованием, восхищаться, любить и уважать.

Что ж с этим делать? Чичиков и Молчалин совсем не для того существуют на свете, чтобы возбуждать в своих ближних восторги, любовь и уважение. Чичиков и Молчалин, как люди далеко не глупые, сами знают это как нельзя лучше и уже давно помирились с этим обстоятельством, тем более что восторг, любовь и уважение не могут быть занесены ни в одну из двух интересных для этих господ рубрик — ни в рубрику движимого, ни в рубрику недвижимого имущества.

Чичиков и Молчалин преуспевают, живут в свое удовольствие, откладывают копейки на черный день и, в то же время, обделывают свои дела так искусно и так осторожно, что черные дни никогда не являются. Но

Чичиков и Молчалин, по своей благоразумной скромности, вовсе не желают обращать на себя, с какой бы то ни было стороны и по какому бы то ни было случаю, внимание своих современников и сограждан. Чичиков и Молчалин любят оставаться в тени и в неизвестности, потому что их мелкие предприятия требуют для своего процветания мрака и тишины.

Предложите любому Чичикову и Молчалину взлезть на пьедестал и сделать себя центром романа, то есть обратить на себя внимание публики и рассказать ей, с какой угодно точки зрения, полную и подробную повесть всех его чичиковских или молчалинских действий, чувств и помышлений, — и вы увидите, что ваш Чичиков или Молчалин с ужасом и с ожесточением начнет отмахиваться обеими руками от вашего предложения, как от самой оскорбительной и опасной для него затеи.

Чичиков и Молчалин понимают очень хорошо, что они мелки, низки и ничтожны и что взгромоздить их на пьедестал — значит нечаянно или умышленно предать их общему посмеянию. Чичиков и Молчалин знают, что когда их поставят на видное место и осветят со всех сторон ярким светом психологического анализа, — тогда над их жалкими и мизерными фигурами засмеются с беспощадным злорадством их же собственные двойники, те Чичиковы и Молчалины, которым удалось остаться в тени. Чичиков и Молчалин чувствуют, что никакие натяжки, никакие поэтические вольности и идеализации не могут превратить их в красавцев. Поэтому Чичиков и Молчалин просят поэтов только об одном: оставьте нас в покое, забудьте о нашем существовании, не вытаскивайте на свет и не прославляйте наших скромных подвигов.

Но поэты, разогретые своею любовью к солидности, увлеченные общими порывами филистерского восторга, одержимые, кроме того, неизлечимую наивностью, желают непременно содействовать с своей стороны посрамлению и истреблению так называемых нигилистов. «Мы покажем миру, — кричат бестолковые поэты, — что наша солидность и благонамеренность имеет также своих героев. Мы покажем, что наше филистерство выработало из себя такой тип, к которому можно и должно относиться с сочувствием».

И затем несчастного Павла Ивановича Чичикова подхватывают на руки и несут на пьедестал, несмотря на его отчаянное сопротивление.

Очутившись на пьедестале, Павел Иванович, разумеется, не знает, куда девать глаза, и готов провалиться сквозь землю, и сами поэты замечают, наконец, слишком поздно, что они сделали большую глупость, которой могут от души порадоваться их противники.

Неужели же однако, спросит читатель, тот тип солидных молодых деятелей, который хотели воспеть в последнее время наши романисты, имеет действительное сходство с Чичиковым и с Молчалиным?

На это я отвечу, что все в природе развивается, совершенствуется и облагораживается, но что внимательный наблюдатель может и должен

узнавать своих старых знакомых, несмотря на их новые костюмы, манеры и разговоры. Чичиковым бывает часто такой человек, который не только не торгует мертвыми душами, но даже не позволяет себе ни одной скольконбудь двусмысленной спекуляции. Молчалин остается Молчаливым даже тогда, когда он с почтительною твердостью представляет своему начальнику основательные возражения.

Настоящая сущность чичиковщины и молчалинства состоит в отсутствии таких убеждений, которые выработаны самостоятельным умственным трудом, которые управляют всю жизнь человека и от которых человек не может отречься, если бы даже в минуту тяжелого страдания за любимую идею ему пришла в голову эта фантазия.

Молчалиным и Чичиковым следует признавать каждого человека, у которого нет в жизни никакой другой цели, кроме приобретения и упрочивания личного довольства и комфорта.

Если понимать чичиковщину и молчалинство в таком широком смысле, то надо будет признаться, что все образованные общества переполнены более или менее яркими представителями этих двух типов.

При этом не забудьте также заглянуть и в зеркало, для очистки собственной совести.

Большинство сытых, одетых и грамотных людей проникнуто консервативною солидностью и отстаивает те понятия и те отношения, среди которых ему приходится жить.

Почему оно их отстаивает? Потому ли, что оно их любит? Потому ли, что оно убеждено в их верности и в их справедливости? Потому ли, что оно находит их полезными для общего благосостояния?

Ничуть не бывало. Консервативные тенденции большинства объясняются тремя главными причинами, которые действуют или порознь, или все вместе.

Во-первых, сытая, одетая и грамотная толпа отстаивает то, что дает ей доход. Разве это не чичиковщина?

Во-вторых, та же толпа соображает очень основательно, что преклоняться перед существующим фактом гораздо безопаснее, чем гоняться за неосуществленными идеями. А это разве не молчалинство?

В-третьих, та же толпа повинуетя силе привычки и считает хорошим то, к чему она присмотрелась. В этой третьей причине проглядывают очевидно умственные свойства помещицы Коробочки.

Итак, Чичиков, Молчалин и Коробочка — вот те ингредиенты, из которых романисты, вдохновленные «Московскими ведомостями», старались построить героя, долженствующего победить и уничтожить Базарова и Рахметова.

О ДУХОВНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ

(По поводу последнего папского воззвания Св<ятейшего>
Синода)

В последнем папском воззвании Св<ятейше-го> Синода оплакивается пагубное нравственное состояние России и подробно перечисляются все грехи и беззакония, которым мы подпали: безверие, нерадение, своескорыстие, необузданное вольномыслие, гордость, любостяжание, жажда удовольствий, невоздержание и зависть. Упреки справедливые, и никто не вправе отклонить их от себя. Но поистине прискорбное недоумение вызывается тем, что Св<ятейший> Синод, оплакивая бедственное положение России и пространно говоря по этому поводу о нравственных болезнях, присущих всему естеству человеческому со времени грехопадения, ни единым словом не касается того особенного великого недуга, который удручает ныне русский народ в его целостности и составляет истинную причину тягостного его положения. Странно и прискорбно такое умолчание не только по важности дела, но и потому, что этот великий народный недуг ближе всего касается иерархии Русской церкви, находится в области ее прямого ведения и от нее прежде всего может и должен ожидать своего врачевания.

Помимо всех грехов и беззаконий в отдельных лицах и сословиях, русский народ в своей совокупности духовно парализован; нравственное единство его нарушено, не видно в нем *действий* единого *духовного* начала, которое бы, как душа в теле, внутренне управляло всю жизнь. Для России, как народа христианского, такое верховное начало жизни дано в истине Христовой. Духом, животворящим наш общественный организм, должен быть дух Христов, дух любви и свободного согласного единения; им же должен определяться и высший идеал для всего общественного строения России. Если Россия не по имени только, но воистину есть страна христианская, то в основе ее общественной организации и жизни должно лежать нравственное свободное единение людей во Христе, образующее духовное общество, или церковь.

Церковь есть «собрание верующих». Верующих во что? — Прежде всего в Бога христианского, который есть любовь. Но можно ли воистину верить в любовь, не имея в себе любви? Итак, церковь не есть собрание верующих только, но собрание любящих. Любовь же не может быть бездейственна, и союз любви в человечестве или в отдельном народе, т. е. церковь, не может замкнуться в круге религиозного культа, не может оставаться равнодушным к внешней жизни, ко всем делам и отношениям человеческим. Любовь есть сила беспредельного расширения, и церковь, на любви основанная, должна проникать во всю жизнь общества

человеческого, во все его отношения и деятельность, ко всему нисходя и все до себя возвышая. Существовая во внешней среде гражданского общества и государства, церковь не может обособиться и отделиться от этой среды, но должна воздействовать на нее своею духовною силою, должна привлекать к себе государство и общество и постепенно уподоблять их себе, проводя свое начало любви и согласия во все области человеческой жизни. И как особое орудие или орган такого воздействия церкви на мирское общество существует учреждение духовной власти, или иерархия церковная. Сия иерархия особенно предназначена своим авторитетом и влиянием служить духовному объединению человеческого общества, вводя присущее церкви начало любви в жизнь гражданскую и дела государственные и не словами только молясь, но делами заботясь о том, чтобы *имя Божие свяtilось* в людях, чтобы *царствие Божие пришло* в мир и чтобы *воля Божия исполнилась* не на небе только, но и на земле.

Так должно быть по правде, но не то мы видим на деле. Не говорю о мире западном, где церковь в папстве заменила Христа папою, а в протестантстве отеклась от самой себя; не говорю и о христианском Востоке, где она, подавленная долговременным рабством, не могла проявить своих сил. Но если Запад не православен, а Восток не свободен, то что сказать о православной и свободной России?

Вот уже более двух столетий, как церковь Русская, вместо того чтобы служить основой истинного единения для всей России, сама служит предметом разделения и вражды. Значительная часть русского народа, разделившись на множество сект, враждебно спорит между собою о вере и сходится лишь в общем отрицании «господствующей» церкви. И иерархия Русской церкви, вместо того чтобы и вне церкви действовать великою силою любви, отрешилась от нее внутри себя: стремясь принуждением возвратити к единству отпавших, произвела еще большее разделение; пытаясь насилеи утвердити свой верховный авторитет, подвергается опасности совсем его лишиться.

Россия, как страна христианская, ищет жизни в церкви Христовой, но церковь Русская обессилена расколом церковным и, прежде чем животворити, сама нуждается в оживлении. Вот чем глубоко страдает вся Россия, вот ее великий недуг, о котором забыл упомянуть Св<ятейший> Синод в своем перечне наших нравственных болезней.

Воистину справедливо и по-христиански мудрствует Св<ятейший> Синод, приписывая все наши бедствия грехам нашим и беззакониям. Сеющий грех пожнет беду.

Этот вечный нравственный закон имеет силу не только для отдельных лиц, но и для целых обществ и учреждений человеческих, поскольку они живут и действуют как существа собирательные и, следовательно, могут и грешить, т. е. уклоняться от своего назначения. Но и единичные, и собирательные существа не во всем своем составе

равномерно ответственны за действия и страдания свои. Так, если кто поднимет руку свою на обиду своего ближнего, то ответственность за это падает не на руку, а на голову его. Точно так же и в обществах человеческих есть центральные и правящие органы, которым принадлежит движущее начало в жизни этих обществ и которые поэтому несут ответственность за их судьбу. Итак, если Русская церковь и в ней вся Россия страдает великим и бедственным недугом церковного раскола и бессилия духовной власти, то не есть ли причина этого бедствия какой-нибудь грех самой этой власти, представляющей движущее начало в жизни церковной? Церковь Христова свята и непорочна, но иерархия российская, без сомнения, может погрешить, может уклониться от долга и призвания своего и тем навести управляемую ею церковь на путь величайших бедствий. И не нужно нам останавливаться на предположениях о возможности такого уклонения, когда история явно свидетельствует о его действительности.

Было время, когда духовная власть в России, хотя и скудная деятельными силами, представляла, однако, христианское начало в обществе и, верная своему призванию, обладала общепризнанным нравственным авторитетом. Не соперничая с властью государственною, но и не унижаясь перед нею, не потворствуя дурным инстинктам народа, но и не отчуждаясь от него, она и в глазах государства, и в глазах народа действительно занимала должное ей высокое положение. Благодаря этому древняя Россия, несмотря на отсутствие просвещения и дикость нравов, обладала зачатками правильных общественных отношений и здоровой всенародной жизни. Какова бы ни была печальная и мрачная действительность старой России, народ не мог в ней погрязнуть, пока крепка была у него вера в нравственное начало иной жизни и пока были среди него властные люди, служившие этому нравственному началу и представлявшие в глазах народа верный, хотя бы и неполный, образ этой истинной жизни. И мирская государственная власть, добровольно признавая высший, чисто *нравственный* авторитет власти духовной и опираясь на него, сама получала нравственное значение и внутреннюю силу.

Когда ныне говорят о тесном единении Государства и Земли в древней России, о взаимном доверии и согласии государя и народа, выражавшемся на земских соборах, то не должно забывать, *на чем* основывалось это единение, откуда исходил нравственный авторитет государя, позволявший ему и безбоязненно созывать земские соборы, и охотно выслушивать их мнения. Это согласие Государства и Земли, правителя и народа, основывалось на том, что они одинаково преклонялись перед общим духовным авторитетом христианского начала, начало же это имело в обществе твердых и верных выразителей в лице иерархов церковных. Таким образом, сила народная и власть государственная

приводились в согласие третьего, высшею тех двух, нравственную силою церкви. Общественная жизнь России двоилась, но не распадалась на государство и земство, благодаря этому третьему высшему началу, освящавшему и волю народа, и деятельность правительства, ставя для них обоих единую вечную цель — водворение правды Божией на земле. И если государство охраняло землю Русскую, то его самого охраняли святители Русской церкви. Митрополит Алексей, ради блага Русской земли едущий ходатаем в Орду и силою своей святости, явной и для неверных, спасающий князя Московского,— вот истинный исторический символ русских общественных основ.

Московские государи по благословению святителей служили земле Русской. В этом благословении они почерпали свой нравственный авторитет, свою твердость в деле правления, свое доверие к народу, выразившееся между прочим в земских соборах. Вот почему тот самый государь, который первый возмутился против нравственных требований духовной власти и не захотел ее правде подчинить свой произвол, он же впервые потерял доверие к народу, отделился от земли. Иван IV, замучивший митрополита Филиппа, убоился земли и из страха перед землею завел опричнину. И однако же злодеяния Ивана IV не имели рокового значения в русской истории, не замутили источника народной жизни; напротив, они дали ему случай обнаружить свою силу. Между Иваном IV и св. Филиппом не было ни спора о власти, ни каких-либо личных счетов. Святитель исполнил свой долг как представитель нравственного принципа, обличая царя, изменившего этому принципу, и, как носитель духовной силы, не побоялся физического насилия и смерти. Беззаконие царя было торжеством святителя. В Иване IV государственная власть сошла с своих нравственных основ, но народ не потерял ничего существенного, ибо существенное для него — это духовная сила, святость, и этот высший идеал получил лишь новый блеск в глазах народа от крови святителя, умершего за святое дело.

Митрополит Филипп оправдал веру народную, не посрамил христианского знамени, и вот, несмотря на весь погром Ивана IV, народ остается спокоен. По русскому чувству еще можно было жить при Иване Грозном. Отчего же через сто лет при «тишайшем» Алексее Михайловиче значительная часть русского народа вдруг почувствовала, что жить нельзя, и в отчаянии бросилась в леса и пустыни, и полезла в горящие срубы? Что же такое случилось? Этим людям показалось, что случилась величайшая на земле беда, что архиереи уклонились в латинство, не стало истинной духовной власти в православном мире, наступило царство антихристово; на престол митрополита-мученика сел патриарх-мучитель, сам принял латинство и других к тому силою принуждает...

Так говорят раскольники. На самом же деле, хотя никто и не переходил в латинство, однако совершенно несомненно, что со времени

патриарха Никона и по его почину иерархия Русской церкви, оставаясь по вере и учению православною, усвоила в своей внешней деятельности стремления и приемы, обличающие чуждый, не евангельский и не православный дух⁵⁹.

Патриарх Никон не переходил в латинство, но основное заблуждение латинства было им безотчетно усвоено. Это основное заблуждение состоит в том, что духовная власть признается сама по себе как принцип и цель. Между тем, поистине, она не есть принцип и цель в мире христианском. Принцип есть Христос, а цель — царствие Божие и правда его. Духовная же власть есть лишь необходимое в земном состоянии церкви орудие для возможного достижения этой цели, т. е. для водворения правды Божией на земле, а истинный авторитет и права духовной власти прямо зависят от верного ее служения правде Божией и суть естественное следствие и принадлежность такого служения. Иерархи церковные преимущественно передо всеми христианами должны заботиться о том — что единое есть на потребу,— зная, что все прочее приложится им. И древние иерархи Русской церкви знали это, и потому, действуя властно на благо земли, они не выставляли своей власти как особого принципа и не заботились о правах своих. Действительно, представляя собою то духовное христианское начало, которому верила и поклонялась вся Россия, правительство церковное тем самым находилось в неразрывном внутреннем единстве с народом и государством, как одушевляющая сила их собственной жизни, и, следовательно, никак не могло противопоставлять себя им и тягаться с ними, не могло соперничать с государством или угнетать народ. Патриарх Никон первый решительно обособил духовную власть в России, поставил ее как что-то отдельное, вне народа и государства, и этим неизбежно вызвал чуждые и враждебные отношения между ними. С тех пор распалось нравственное единство России и возникло то духовное безначалие, в котором мы и доселе находимся; ибо с отделением духовной власти, изменившей своему призванию, народ и государство лишаются руководящего начала их общей жизни, внутренний смысл и цель этой жизни теряются из вида.

Патриарха Никона обыкновенно обвиняют в чрезмерном возвеличении духовной власти; поистине, следует упрекнуть его в противном; чрезмерно возвысить духовную власть нельзя, ибо она, по существу, есть высшая власть в мире. «Вся предана мне Отцом моим», говорит Основатель и вечный Первосвященник церкви, передавший *верным* апостолам своим власть вязать и решить на небе и на земле. Возвеличить духовную власть нельзя, но можно унижить и исказить ее, отделяя ее от того, чему она служит, ради чего существует и чем освящается,— от любви и правды Божией. Отделенная от своего божественного содержания, духовная власть становится случайною историческою силою наряду с другими такими же силами, с которыми ей

приходится неизбежно тягаться. Понимаемая как верховная власть в юридическом смысле, она прежде всего сталкивается с существующею верховною властью царскою. Соперничество и тяжба с царем составляли главную задачу жизни для патриарха Никона. Патриарх стал писаться «великим государем» наряду с царем⁶⁰, вмешивался в военные и дипломатические дела и во все подробности управления. Но неужели такое соперничество и такое хлопотливое вмешательство в мелочи государственной жизни служили к возвеличению духовной власти, а не к унижению ее? Неужели верховный первосвященник Русской церкви, представляющий в ней Небесного Царя и Первосвященника, неужели он мог получить новое освящение своему великому званию от титула земной власти? И если сам Никон в своей оправдательной записке, следуя средневековым католическим писателям, сравнивает отношение духовной и мирской власти с отношением солнца и луны, то не явное ли это противоречие с его собственною деятельностью? Разве солнце соперничает с луной или ищет ее света, а не само дает ей свет? Духовная власть не однородна и несоизмерима с мирскою; она должна освящать и направлять эту последнюю, но не может спорить с нею о преобладании. Христос не соперничал с Кесарем и не боролся с ним, и истинные представители Христова царства никогда не соперничали с властями земными. Не соперничал с князем Московским митрополит Алексей, а покровительствовал ему; не соперничал с Иваном Грозным митрополит Филипп, но властным словом обличил его и мученичеством своим показал истинное превосходство духовного начала. Святители православные не тягались и не боролись с мирскою властью — тягались и боролись с нею издавна римские папы, и если бы мы даже не имели прямых свидетельств о сочувствии патриарха Никона папству, одни его отношения к царю достаточно показывали бы, чей дух внесен им в русскую иерархию.

Потянувшись за приманкою земной власти, иерархия обнаружила первое уклонение от своего истинного призвания; за ним последовало второе, еще более решительное. Отступивши от христианского идеала, иерархия тем самым роняет свой нравственный авторитет в глазах христианского народа, теряет свою внутреннюю духовную связь с ним, — ей остается только внешний принудительный авторитет. Такой авторитет, как нечто чуждое, вызывает несогласие и протест. Но иерархия, раз ставши в положение *внешней* власти, смотрит на несогласие с собою как на преступное возмущение и отвечает на него преследованиями и казнями. В защиту авторитета и единства церковного воздвигаются плахи и костры; духовной власти нужна не только корона, но и меч государственный.

Когда апостол Петр в саду Гефсиманском вынул меч в защиту Христа, Христос остановил и осудил его. В защиту ли Христа вынула свой меч русская иерархия? На Христа ли нападали раскольники? или патриарх Никон с своими исправленными книгами был дороже Христа? или

протопоп Аввакум с товарищами были хуже рабов первосвященнических? Кого и что ограждали застенками и кострами русские архиереи, пусть они сами скажут,— послушаем их собственное признание.

В 1682 г. во время стрелецкой смуты один из старообрядцев, Павел Даниловец, сказал, обращаясь к патриарху Иоакиму: «Правду говоришь, святейший владыко, что вы на себе Христов образ носите; но Христос сказал: научитесь от мене яко кроток есмь и смирен сердцем, а не срубам, не огнем и мечом грозил. Велено повиноваться наставникам, но не велено слушать и Ангела, если не то возвещает. Что за ересь и хула двумя перстами креститься? за что тут жечь и пытаться?» И что же отвечает патриарх? «Мы за крест и молитву не жжем и не пытаем, жжем за то, *что нас еретиками называют* и не повинуются св. церкви, а креститесь как хотите».

Вот из-за чего носители образа Христова проливали кровь христианскую, вот за что мучили и жгли тысячи христиан, как в злейшие времена языческих гонений. «*Нас еретиками называете*, а креститесь как хотите!» Иезуиты говорят: живите и веруйте, как и во что хотите, только признавайте папу.

Великие святители Православной церкви вообще не славились гонениями на еретиков. Такими гонениями издавна славилось папство, и тут опять несомненно, чьи предания были усвоены русской иерархией со времен Никона.

Хорошо было бы все это забыть, как дела давно минувшие. Но, к несчастью, русская иерархия доселе не отказалась явно от латинского начала религиозного насилия, внесенного в нее Никоном! После того как Московский собор, осудив лицо Никона, не только подтвердил доброе дело исправления книг, но своими злосчастными клятвами как бы освятил и тот пагубный дух насилия и деспотизма, с которым Никон вел это дело; преемники низложенного патриарха решительно пошли по его следам, умножая кровавые гонения на раскольников. Вскоре формы этих гонений смягчились, но и смягчение это произошло по почину не церкви, а светской власти. Когда Петр Великий по соображениям государственной выгоды заменил казни раскольников фискальными против них мерами, когда затем Петр III, Екатерина II, Александр I и Александр II по личным побуждениям человеколюбия и веротерпимости все более и более ослабляли религиозные преследования, иерархия не только не руководила ими в этом, но и задерживала их добрые начинания, ревниво охраняя латинское начало принуждения в делах веры и совести. Этим духовная власть решительно признала, что она опирается не на внутреннюю нравственную силу, а на силу внешнюю, вещественную. Но иерархия, отделившись от всенародного тела, сама по себе не имеет и вещественной силы. Она должна искать ее у того же светского правительства, обладающего материальным могуществом, но для этого ей нужно отказаться от своей

независимости, *пойти в услужение* к светской власти. И русская иерархия не замедлила совершить этот третий грех против своего великого призвания. Вместо того чтобы поучать и руководить мирское правительство в истинном служении Богу и земле, она сама как бы пошла в услужение к этому правительству. Сначала, при Никоне, она тянулась *за государственную корону*, потом крепко схватилась *за меч государственный* и наконец принуждена была надеть *государственный мундир*.

Чуждое семя, пересаженное Никоном на почву Русской церкви, произросло в течение двух столетий, и теперь мы можем судить о нем по его всходам.

Явное бессилие духовной власти, отсутствие у нее общепризнанного нравственного авторитета и общественного значения, безмолвное подчинение ее светским властям, отчуждение духовенства от остального народа и в самом духовенстве раздвоение между черным, начальствующим, и белым, подчиненным, деспотизм высшего над низшим, вызывающий в этом последнем скрытое недоброжелательство и глухой протест, религиозное невежество и беспомощность православного народа, дающая простор бесчисленным сектантам, равнодушие или же вражда к христианству в образованном обществе — вот всем известное современное положение Русской церкви.

За эти два столетия, несмотря на личные заслуги и святость многих иерархов, скрытый яд чуждого начала, проникший в церковное правительство, помешал ему проявить христианскую деятельность в жизни общественной. Те же узы чуждого духа отняли у нашей учащей церкви плодотворное действие в области духовной науки и просвещения.

В то время как на Западе ум человеческий, возмущенный насилиями и ложью католичества, отрешился от религиозного начала и, развивши свою самодеятельность, создал вне христианства отвлеченную рациональную философию и натуралистическую науку, против которых все усилия католической теологии оказались безуспешными, что делали наши православные богословы? Повторяли положения и аргументы той самой католической теологии, которая уже явно оказалась несостоятельной, или же робко примыкали к менее резким формам рационализма в богословии протестантском. А между тем наша церковь хранит неискаженную догматическую истину христианства и на наших богословах лежала прямая обязанность, ввиду великого умственного развития Запада, проникшего и в русское общество, показать, что христианская истина не боится мысли и знания человеческого, что, не отрекаясь от себя, она может воспользоваться всеми произведениями ума, может сочетать веру религиозную с свободною философскою мыслию и откровения божественной жизни с открытиями человеческого знания. Задача великая, но авторитетные богословы Православной церкви даже и

не ставят этой задачи. И вот, несмотря на личные таланты и ученость многих иерархов, несмотря на многие полезные ученые труды нашего духовенства, *самостоятельной* духовной науки не существует в России, русское богословие ничего существенного не привнесло к сокровищам духовного знания, завещанным ей Востоком, и доселе держится исключительно на определениях и формулах VII и VIII-го века, как будто с тех пор ничего не произошло, как будто со времен последних великих учителей Востока, св. Максима Исповедника и Иоанна Дамаскина, ум человеческий не поднимал новых вопросов и сомнений, и как будто, наконец, новоевропейская философия и наука не представляют для современных православных богословов такой же умственной пищи, какую находили в древней греческой философии великие богословы прежних веков!

Это умственное бесплодие не может быть поставлено в прямую вину русской иерархии; оно служит лишь признаком ее упадка. Прямая же ее вина в том, что она уклонилась от своего *общественного* призвания, от того, чтобы проводить и осуществлять в обществе человеческом новую духовную жизнь, открывшуюся в христианстве. Ибо не может отказаться от этой великой общественной задачи церковь, как союз общественный, соединяющий людей глубочайшею и могущественнейшею в мире связью — религиозною.

Утверждать, что христианское духовное начало не должно входить как руководящая сила в жизнь общественную, а через нее и в деятельность государственную, утверждать, что там ему не место, — это значит отрицать церковь как общественное учреждение. Но иерархи православные отрицать церковь не могут, не могут отрицать, что она должна воздействовать на общество человеческое в духе Христовом, проникая и перерождая этим животворящим духом все формы и отношения общественные. Не могут они отрицать и того, что видимым проводником этого духовного воздействия на Землю и Государство должно быть прежде всего духовное правительство, сосредоточивающее в себе *деятельные* силы церкви. Итак, что же сделало русское церковное правительство для исполнения этой задачи? Где и в чем проявило оно в два последние столетия свое благотворное воздействие на русское общество и государство? В эти два века в России немало было сделано успехов общественных: крепостное рабство постепенно смягчалось и наконец совсем упразднено, смягчались уголовные законы, уничтожены пытки и почти уничтожена смертная казнь, допущена некоторая свобода исповедания. Все эти улучшения, без сомнения, предпринимались в духе христианском, и между тем представляющая христианское начало в обществе власть духовная никакого участия во всем этом не принимала. Можно ли указать, в каком добром общественном деле в России за последние два века видно было деятельное участие иерархии? Кто же виноват после того, если все эти

добрые начинания мирской власти, лишенные высшего руководства духовного начала, не привели к положительным результатам и, разрушая зло, не создали добра? Кто виноват, что народ, освобожденный государством, но не находящий достаточного руководства со стороны церкви, предоставлен собственным темным инстинктам? И что же мудреного, наконец, если в этом народе те, у кого духовная потребность сильнее, идут в раскол, а у кого слабее — в кабак?

Правда, положение России бедственно. И неужели духовное правительство России, возлагая на всех нас вину ее бедствий, с себя одного ее сложит? Христос спас душу человеческую и церкви своей завещал спасать народы и все человечество. Но вот народ христианский находится на пути гибели. И кто же решится обвинить, обвинить его в лице тех людей, которые во тьме невежества и в постоянной борьбе с материальной нуждою все-таки более всех нас сохраняют и веру Христову, и стремление жить по-Божьи? Неужели мы обвиним убогих, незнающих и безвластных, а тех, кто свободен от нужды и знает истину, и имеет в своих руках власть действовать во имя ее,— оправдаем? Да избавит нас Бог от такого лицемерия!

Без сомнения, существующая церковная власть не ответственна за исторические грехи своих предшественников. Это есть пагубное наследство, от которого она должна отказаться. Церковь православная утверждает на предании, но на *предании истины*, а не на предании лжи. Любовь к предкам и истинная связь с ними состоит не в подражании их грехам, а в старании искупить их своими добрыми делами. Если же всякое предание свято, тогда не нужно нам проповедовать Евангелия язычникам, которые стоят на своем отеческом предании. Если всякое предание свято, тогда поклонимся и папе римскому, который твердо держится своего антихристового предания.

Воистину дурное предание тяготеет и над иерархию Русской церкви; но ей от него отрешиться легче, чем иерархии западной, которая свое заблуждение возвела в догмат. Восточная же иерархия, хотя и отклонилась в своей деятельности от духа Христова, но не восстала против него сознательно и не поставила себя на место Христа. И если в известную историческую эпоху духовная власть в России усвоила себе чуждые, неправославные стремления, то почему же в другую эпоху она не может отказаться от них и вернуться к своему призванию? Воистину может и должна.

И не нужно для этого никаких внешних чрезвычайных мер, ни восстановления патриаршества, ни созвания вселенского собора. Если многовластие не благо, то и единовластие само по себе не спасение. Единовластие пап не спасло же Римскую церковь от заблуждения, а, напротив, привело к нему, и единовластие патриаршеское не предохранило Русскую церковь от греха при Никоне, а скорее способствовало к нему. Дух

Христов может одинаково действовать и через одного, и через многих. Сей дух требуется восстановить в иерархии Русской церкви, как сущность и основание ее власти. Он же покажет и лучшие для нее формы.

И вселенский собор собственно для возрождения Русской церкви не нужен: грех не на Вселенской, а на Русской церкви, и прежде всего она сама должна от него очиститься.

Поместный собор 1667 г. в Москве своими клятвами утвердил разделение Русской церкви и подорвал истинное значение духовной власти. Такой же поместный собор должен снять эти клятвы и открыть раскольникам путь к воссоединению с церковью.

Собор Русской церкви должен торжественно исповедать, что истина Христова и церковь Его не нуждается в принудительном единстве форм и насильственной охране и что евангельская заповедь любви и милосердия прежде всего обязательна для церковной власти. Собор Русской церкви, признав эту заповедь за высшее правило деятельности, должен ходатайствовать и перед светским правительством об отмене всех утеснительных законов и мер против раскольников, сектантов и иноверцев.

Наконец, собор Русской церкви, признавши, что истинная вера не исключает разумного убеждения и не боится свободного исследования, должен отказаться от духовной цензуры как принудительного учреждения, оставив за церковью ее неотъемлемое право или, лучше, обязанность произносить свое порицание и осуждение всем тем мнениям, публично выраженным, которые противоречат православной христианской истине.

Отказавшись, таким образом, от внешней полицейской власти, церковь приобретет внутренний нравственный авторитет, истинную власть над душами и умами. Не нуждаясь более в вещественной охране светского правительства, она освободится от его опеки и станет в подобающее ей достойное отношение к государству.

Мы знаем, что в неправославной части христианского мира церковь и государство или стремятся поглотить друг друга, или же стараются так разграничить свои сферы, чтобы совсем не касаться друг друга в полном взаимном равнодушии, согласно теории свободной церкви в свободном государстве. Теория благовидная, но по существу несостоятельная и к правительству христианского народа во всяком случае неприменимая. Ибо не может христианское правительство быть свободно от истины христианской и, следовательно, не может быть равнодушно к церкви, представляющей эту истину на земле. Если гражданское правительство действительно признает высший авторитет христианского начала, то оно неизбежно желает руководиться им в своей деятельности и таким образом становится во внутреннюю нравственную зависимость от церкви, поскольку она воплощает в себе это христианское начало. И если *такое* правительство не захочет насильственно поддерживать религиозное единство и церковный авторитет, то не из равнодушия к вере и церкви, а,

напротив, из веры в христианское и церковное начало благодати и любви, не требующее и не допускающее насилия.

Истинное отношение церкви и государства, без сомнения, есть обоюдная свобода, но не отрицательная свобода равнодушия, а положительная свобода согласного взаимодействия в сослужении одной общей цели — устройению истинной общественности на земле.

Правильное отношение церкви и государства существовало у нас некогда в зачатке. И если это отношение нарушено, то вина в этом падает не на государство. Ибо прежде чем Петр Великий подверг церковную власть внешнему подчинению государственному, сама эта власть церковная уже допустила в себе противохристианский дух гордости, деспотизма и насилия и тем подвергла сомнению свое право на независимое существование. И пока иерархия Русской церкви не отрешится от этого чуждого духа и не вернется к силе и разуму истинного православного христианства, до тех пор не возвратит она и своей свободы, и своего значения.

Власть церковная существует для блага общественного. Может ли она бездействовать, когда, по собственному ее признанию, общество так близко к гибели? И кому же действовать, как не ей? Ей вверен свет истины, ей даны ключи разумения. Ее призывают к делу и благоговение народа ко всему божественному, и жаждающее его искание высшей правды. Она вооружилась против раскола и сект, видя в них только мрак и зло. Должна ли она всегда оставаться при таком одностороннем взгляде: разве не крайнее благоговение к божественному вызвало раскол старообрядчества, разве не искреннее искание правды Божией, стремление усвоить и осуществить ее порождает многочисленные секты в русском народе? Не должна ли духовная власть отозваться на это искание, со снисхождением устраняя невежественные и дикие его формы? Но она обратилась лицом лишь к дурной стороне народного движения в расколе, к фанатизму и невежеству, и против этого дурного стала действовать еще худшим, сначала плахами и кострами, и донныне действует запрещениями и утеснениями. Раскол этим не уничтожился и церковь не прославилась. Ужели еще не явно, что этот путь есть путь ложный и гибельный? Ужели не пора его оставить? Отчего бы духовному правительству не взяться за религиозное движение в народе с хорошей его стороны? Против темной ревности староверов ко всему божественному оно должно усилить свое просвещенное рвение. Оно должно показать, что ему так же и еще более дорога правда Божия и христианская жизнь в духе и истине, чем всем этим ищущим сектантам, — тогда они пришли бы к нему и от него получили бы то, чего ищут — живую православную вселенскую веру. Вера эта, безотчетно таящаяся в душе русского народа (как православных, так и сектантов), познала бы тогда сама себя в своем вселенском единстве и воскресла бы к новой жизни.

Тогда и лучшие люди образованного общества, отдаленные от истины христианской тем образом мертвенности и распада, который эта истина приняла в нынешней учащей церкви,— тогда и эти люди в новом просветленном образе христианства узнали бы искомую ими высшую правду и свободным убеждением отдались бы ей.

Святейший Синод в своем всенародном воззвании указывает на решающее значение настоящего бедственного времени и на необходимость действовать против грозящей нам гибели. Для христиан, знающих, что одними человеческими силами ничего сделано быть не может, основание и источник всякого действия есть молитва. Но чтобы молитва не была языческим пустословием, необходима полная вера в силу Духа Божия, совершенная преданность всеблагой воле Божией, решительное отречение от всех внешних вещественных, недостойных дела Божия, средств и орудий. Только такая молитва привлекает к нам божественные силы и дает нам действовать во славу Божию и на благо земле.

Для нас, несовершенных в вере, полухристиан и полуязычников, малодоступно такое самоотречение, малодоступна для нас и настоящая молитва. Но представители духовного царства на земле по самому назначению своему призваны к истинной молитве и истинному духовному действию. Они не могут колебаться между Духом Божиим и силами вещественного мира, они должны показать, что в них пребывает и действует Тот, кто больше мира, кто победил мир божественною любовью, кто приходил не для того, чтобы судить мир, но чтобы спасти его. И истинная духовная власть, по преимуществу носящая образ Христов, на Него одного должна полагаться, оставив все соображения человеческой мудрости, которая есть буйство перед Богом, безбоязненно отбросив все гнилые опоры человеческих преданий, которые суть прах и в прах обратятся. На такую духовную власть возлагает свои надежды христианская Россия, от такой духовной власти ждет она себе спасения; а в силу вещественную и в человеческие измышления Россия не верила и не верит.

Студент

Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, всё смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой.

Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел всё время заливным лугом по тропинке. У него заколечены пальцы, и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь; далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, всё сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял; по случаю страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой.

Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь; ее дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса; это здешние работники на реке поили лошадей.

— Вот вам и зима пришла назад, — сказал студент, подходя к костру. — Здравствуйте!

Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо.

— Не узнала, бог с тобой, — сказала она. — Богатым быть.

Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась деликатно, и с лица ее всё

время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только шурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой.

— Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, — сказал студент, протягивая к огню руки. — Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:

— Небось, была на двенадцати евангелиях?

— Была, — ответила Василиса.

— Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал Иисусу: "С тобою я готов и в темницу, и на смерть". А господь ему на это: "Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня". После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед... Он страстно, без памяти любил Иисуса, и теперь видел издали, как его били...

Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.

— Пришли к первосвященнику, — продолжал он, — Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: "И этот был с Иисусом", то есть, что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: "Я не знаю его". Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: "И ты из них". Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: "Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?" Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В евангелии сказано: "И исшед вон, плакася горько". Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль.

Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха.

Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, всё, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение...

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошрое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, — ему было только 22 года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.

Скрипка Ротшильда

Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. В больницу же и в тюремный замок гробов требовалось очень мало. Одним словом, дела были скверные. Если бы Яков Иванов был гробовщиком в губернском городе, то, наверное, он имел бы собственный дом и звали бы его Яковом Матвейичем; здесь же в городишке звали его просто Яковом, уличное прозвище у него было почему-то — Бронза, а жил он бедно, как простой мужик, в небольшой старой избе, где была одна только комната, и в этой комнате помещались он, Марфа, печь, двухспальная кровать, гробы, верстак и всё хозяйство.

Яков делал гробы хорошие, прочные. Для мужиков и мещан он делал их на свой рост и ни разу не ошибся, так как выше и крепче его не было людей нигде, даже в тюремном замке, хотя ему было уже семьдесят лет. Для благородных же и для женщин делал по мерке и употреблял для этого железный аршин. Заказы на детские гробики принимал он очень неохотно и делал их прямо без мерки, с презрением, и всякий раз, получая деньги за работу, говорил:

— Признаться, не люблю заниматься чепухой.

Кроме мастерства, небольшой доход приносила ему также игра на скрипке. В городке на свадьбах играл обыкновенно жидовский оркестр, которым управлял лудильщик Моисей Ильич Шахкес, бравший себе больше половины дохода. Так как Яков очень хорошо играл на скрипке, особенно русские песни, то Шахкес иногда приглашал его в оркестр с платою по пятьдесят копеек в день, не считая подарков от гостей. Когда Бронза сидел в оркестре, то у него прежде всего потело и багровело лицо; было жарко, пахло чесноком до духоты, скрипка взвизгивала, у правого уха хрипел контрабас, у левого — плакала флейта, на которой играл рыжий тощий жид с целою сетью красных и синих жилок на лице, носивший фамилию известного богача Ротшильда.

И этот проклятый жид даже самое веселое умудрялся играть жалобно. Без всякой видимой причины Яков мало-помалу проникался ненавистью и презрением к жидам, а особенно к Ротшильду; он начинал придирааться, бранить его нехорошими словами и раз даже хотел побить его, и Ротшильд обиделся и проговорил, глядя на него свирепо:

— Если бы я не уважал вас за талант, то вы бы давно полетели у меня в окошке.

Потом заплакал. Поэтому Бронзу приглашали в оркестр не часто, только в случае крайней необходимости, когда недоставало кого-нибудь из евреев.

Яков никогда не бывал в хорошем расположении и духа, так как ему постоянно приходилось терпеть страшные убытки. Например, в воскресенья и праздники грешно было работать, понедельник — тяжелый день, и таким образом в году набиралось около двухсот дней, когда поневоле приходилось сидеть сложа руки. А ведь это какой убыток! Если кто-нибудь в городе играл свадьбу без музыки или Шахкес не приглашал Якова, то это тоже был убыток. Полицейский надзиратель был два года болен и чахнул, и Яков с нетерпением ждал, когда он умрет, но надзиратель уехал в губернский город лечиться и взял да там и умер. Вот вам и убыток, по меньшей мере рублей на десять, так как гроб пришлось бы делать дорогой, с глазетом. Мысли об убытках донимали Якова особенно по ночам; он клал рядом с собой на постели скрипку и, когда всякая чепуха лезла в голову, трогал струны, скрипка в темноте издавала звук, и ему становилось легче.

Шестого мая прошлого года Марфа вдруг занемогла. Старуха тяжело дышала, пила много воды и пошатывалась, но все-таки утром сама истопила печь и даже ходила по воду. К вечеру же слегла. Яков весь день играл на скрипке; когда же совсем стемнело, взял книжку, в которую каждый день записывал свои убытки, и от скуки стал подводить годовой итог. Получилось больше тысячи рублей. Это так потрясло его, что он хватил счетами о пол и затопал ногами. Потом поднял счеты и опять долго шелкал и глубоко, напряженно вздыхал. Лицо у него было багрово и мокро от пота. Он думал о том, что если бы эту пропащую тысячу рублей положить в банк, то в год проценту накопилось бы самое малое — сорок рублей. Значит, и эти сорок рублей тоже убыток. Одним словом, куда ни повернись, везде только убытки и больше ничего.

— Яков! — позвала Марфа неожиданно. — Я умираю!

Он оглянулся на жену. Лицо у нее было розовое от жара, необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкший всегда видеть ее лицо бледным, робким и несчастным, теперь смутился. Похоже было на то, как будто она в самом деле умирала и была рада, что наконец уходит навеки из этой избы, от гробов, от Якова... И она глядела в потолок и шевелила губами, и выражение у нее было счастливое, точно она видела смерть, свою избавительницу, и шепталась с ней.

Был уже рассвет, в окно видно было, как горела утренняя заря. Глядя на старуху, Яков почему-то вспомнил, что за всю жизнь он, кажется, ни разу не приласкал ее, не пожалел, ни разу не догадался купить ей платочек или принести со свадьбы чего-нибудь сладенького, а только кричал на нее, бранил за убытки, бросался на нее с кулаками; правда, он никогда не бил ее, но все-таки пугал, и она всякий раз цепенела от страха. Да, он не велел ей пить чай, потому что и без того расходы большие, и она

пила только горячую воду. И он понял, отчего у нее теперь такое странное, радостное лицо, и ему стало жутко.

Дождавшись утра, он взял у соседа лошадь и повез Марфу в больницу. Тут больных было немного и потому пришлось ему ждать недолго, часа три. К его великому удовольствию, в этот раз принимал больных не доктор, который сам был болен, а фельдшер Максим Николаич, старик, про которого все в городе говорили, что хотя он и пьющий и дерется, но понимает больше, чем доктор.

— Здравия желаем, — сказал Яков, вводя старуху в приемную. — Извините, всё беспокоим вас, Максим Николаич, своими пустяжными делами. Вот, извольте видеть, захворал мой предмет. Подруга жизни, как это говорится, извините за выражение...

Нахмутив седые брови и поглаживая бакены, фельдшер стал оглядывать старуху, а она сидела на табурете сгорбившись и, тощая, остроносая, с открытым ртом, походила в профиль на птицу, которой хочется пить.

— М-да... Так... — медленно проговорил фельдшер и вздохнул. — Инфлуэнца, а может и горячка. Теперь по городу тиф ходит. Что ж? Старушка пожила, слава богу... Сколько ей?

— Да без года семьдесят, Максим Николаич.

— Что ж? Пожила старушка. Пора и честь знать.

— Оно, конечно, справедливо изволили заметить, Максим Николаич, — сказал Яков, улыбаясь из вежливости, — и чувствительно вас благодарим за вашу приятность, но позвольте вам выразиться, всякому насекомому жить хочется.

— Мало ли чего! — сказал фельдшер таким тоном, как будто от него зависело жить старухе или умереть. — Ну, так вот, любезный, будешь прикладывать ей на голову холодный компресс и давай вот эти порошки по два в день. А за сим досвиданция, бонжур.

По выражению его лица Яков видел, что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь; для него теперь ясно было, что Марфа помрет очень скоро, не сегодня-завтра. Он слегка толкнул фельдшера под локоть, подмигнул глазом и сказал вполголоса:

— Ей бы, Максим Николаич, банки поставить.

— Некогда, некогда, любезный. Бери свою старуху и уходи с богом. Досвиданция.

— Сделайте такую милость, — взмолился Яков. — Сами извольте знать, если б у нее, скажем, живот болел или какая внутренность, ну, тогда порошки и капли, а то ведь в ней простуда! При простуде первое дело — кровь гнать, Максим Николаич.

А фельдшер уже вызвал следующего больного, и в приемную входила баба с мальчиком.

— Ступай, ступай... — сказал он Якову, хмурясь. — Нечего тень наводить.

— В таком случае поставьте ей хоть пьевки! Заставьте вечно бога молить!

Фельдшер вспылил и крикнул:

— Поговори мне еще! Ддубина...

Яков тоже вспылил и побагровел весь, но не сказал ни слова, а взял под руку Марфу и повел ее из приемной. Только когда уж садились в телегу, он сурово и насмешливо поглядел на больницу и сказал:

— Насажали вас тут артистов! Богатому небось поставил бы банки, а для бедного человека и одной пьевки пожалел. Ироды!

Когда приехали домой, Марфа, войдя в избу, минут десять простояла, держась за печку. Ей казалось, что если она ляжет, то Яков будет говорить об убытках и бранить ее за то, что она всё лежит и не хочет работать. А Яков глядел на нее со скукой и вспоминал, что завтра Иоанна богослова, послезавтра Николая чудотворца, а потом воскресенье, потом понедельник — тяжелый день. Четыре дня нельзя будет работать, а наверное Марфа умрет в какой-нибудь из этих дней; значит, гроб надо делать сегодня. Он взял свой железный аршин, подошел к старухе и снял с нее мерку. Потом она легла, а он перекрестился и стал делать гроб.

Когда работа была кончена, Бронза надел очки и записал в свою книжку:

"Марфе Ивановой гроб — 2 р. 40 к."

И вздохнул. Старуха всё время лежала молча с закрытыми глазами. Но вечером, когда стемнело, она вдруг позвала старика.

— Помнишь, Яков? — спросила она, глядя на него радостно. — Помнишь, пятьдесят лет назад нам бог дал ребеночка с белокурыми волосиками? Мы с тобой тогда всё на речке сидели и песни пели... под вербой. — И, горько усмехнувшись, она добавила:

— Умерла девочка.

Яков напряг память, но никак не мог вспомнить ни ребеночка, ни вербы.

— Это тебе мерещится, — сказал он.

Приходил батюшка, приобщал и соборовал. Потом Марфа стала бормотать что-то непонятное и к утру скончалась.

Старухи-соседки обмыли, одели и в гроб положили. Чтобы не платить лишнего дьячку, Яков сам читал псалтырь, и за могилку с него

ничего не взяли, так как кладбищенский сторож был ему кум. Четыре мужика несли до кладбища гроб, но не за деньги, а из уважения. Шли за гробом старухи, нищие, двое юродивых, встречный народ набожно крестился... И Яков был очень доволен, что всё так честно, благопристойно и дешево и ни для кого не обидно. Прощаясь в последний раз с Марфой, он потрогал рукой гроб и подумал: "Хорошая работа!"

Но когда он возвращался с кладбища, его взяла сильная тоска. Ему что-то нездоровилось: дыхание было горячее и тяжкое, ослабели ноги, тянуло к питью. А тут еще полезли в голову всякие мысли. Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь он ни разу не пожалел Марфы, не приласкал. Пятьдесят два года, пока они жили в одной избе, тянулись долго-долго, но как-то так вышло, что за всё это время он ни разу не подумал о ней, не обратил внимания, как будто она была кошка или собака. А ведь она каждый день топила печь, варила и пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала с ним на одной кровати, а когда он возвращался пьяный со свадеб, она всякий раз с благоговением вешала его скрипку на стену и укладывала его спать, и всё это молча, с робким, заботливым выражением.

Навстречу Якову, улыбаясь и кланяясь, шел Ротшильд.

— А я вас ишу, дяденька! — сказал он. — Кланялись вам Мойсей Ильич и велели вам зараз приходиться к ним.

Якову было не до того. Ему хотелось плакать.

— Отстань! — сказал он и пошел дальше.

— А как же это можно? — встревожился Ротшильд, забегая вперед. — Мойсей Ильич будут обижаться! Они велели зараз!

Якову показалось противно, что жид запыхался, моргает и что у него так много рыжих веснушек. И было гадко глядеть на его зеленый сюртук с темными латками и на всю его хрупкую, деликатную фигуру.

— Что ты лезешь ко мне, чеснок? — крикнул Яков.

— Не приставай!

Жид рассердился и тоже крикнул:

— Но ви пожалуста потише, а то ви у меня через забор полетите!

— Прочь с глаз долой! — заревел Яков и бросился на него с кулаками. — Житья нет от пархатых!

Ротшильд помертвел от страха, присел и замахал руками над головой, как бы защищаясь от ударов, потом вскочил и побежал прочь что есть духу. На бегу он подпрыгивал, всплескивал руками, и видно было, как вздрагивала его длинная, тощая спина. Мальчишки обрадовались случаю и бросились за ним с криками: "Жид! Жид!" Собаки тоже погнались за ним с лаем. Кто-то захохотал, потом свистнул, собаки залаяли громче и

дружнее... Затем, должно быть, собака укусила Ротшильда, так как послышался отчаянный, болезненный крик.

Яков погулял по выгону, потом пошел по краю города, куда глаза глядят, и мальчишки кричали: "Бронза идет! Бронза идет!"

А вот и река. Тут с писком носились кулики, крикали утки. Солнце сильно припекало, и от воды шло такое сверканье, что было больно смотреть. Яков прошелся по тропинке вдоль берега и видел, как из купальни вышла полная краснощекая дама, и подумал про нее: "Ишь ты, выдра!" Недалеко от купальни мальчишки ловили на мясо раков; увидев его, они стали кричать со злобой: "Бронза! Бронза!" А вот широкая старая верба с громадным дулом, а на ней вороньи гнезда... И вдруг в памяти Якова, как живой, вырос младенец с белокурыми волосами и верба, про которую говорила Марфа. Да, это и есть та самая верба — зеленая, тихая, грустная... Как она постарела, бедная!

Он сел под нее и стал вспоминать. На том берегу, где теперь заливной луг, в ту пору стоял крупный березовый лес, а вон на той лысой горе, что виднеется на горизонте, тогда синел старый-старый сосновый бор. По реке ходили барки. А теперь всё ровно и гладко, и на том берегу стоит одна только березка, молоденькая и стройная, как барышня, а на реке только утки да гуси, и не похоже, чтобы здесь когда-нибудь ходили барки. Кажется, против прежнего и гусей стало меньше. Яков закрыл глаза, и в воображении его одно навстречу другому понеслись громадные стада белых гусей.

Он недоумевал, как это вышло так, что за последние сорок или пятьдесят лет своей жизни он ни разу не был на реке, а если, может, и был, то не обратил на нее внимания? Ведь река порядочная, не пустячная; на ней можно было бы завести рыбные ловли, а рыбу продавать купцам, чиновникам и буфетчику на станции и потом класть деньги в банк; можно было бы плавать в лодке от усадьбы к усадьбе и играть на скрипке, и народ всякого звания платил бы деньги; можно было бы попробовать опять гонять барки — это лучше, чем гробы делать; наконец, можно было бы разводить гусей, бить их и зимой отправлять в Москву; небось одного пуху в год набралось бы рублей на десять. Но он прозевал, ничего этого не сделал. Какие убытки! Ах, какие убытки! А если бы всё вместе — и рыбу ловить, и на скрипке играть, и барки гонять, и гусей бить, то какой получился бы капитал! Но ничего этого не было даже во сне, жизнь прошла без пользы, без всякого удовольствия, пропала зря, ни за понюшку табаку; впереди уже ничего не осталось, а посмотришь назад — там ничего, кроме убытков, и таких страшных, что даже озноб берет. И почему человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков? Спрашивается, зачем срубили березняк и сосновый бор? Зачем даром гуляет выгон? Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем Яков всю свою жизнь

бранился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену и, спрашивается, для какой надобности давеча напугал и оскорбил жида? Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки! Какие страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу.

Вечером и ночью мерещились ему младенчик, верба, рыба, битые гуси, и Марфа, похожая в профиль на птицу, которой хочется пить, и бледное, жалкое лицо Ротшильда, и какие-то морды надвигались со всех сторон и бормотали про убытки. Он ворочался с боку на бок и раз пять вставал с постели, чтобы поиграть на скрипке.

Утром через силу поднялся и пошел в больницу. Тот же Максим Николаич приказал ему прикладывать к голове холодный компресс, дал порошки, и по выражению его лица и по тону Яков понял, что дело плохо в что уж никакими порошками не поможешь. Идя потом домой, он соображал, что от смерти будет одна только польза: не надо ни есть, ни пить, ни платить податей, ни обижать людей, а так как человек лежит в могилке не один год, а сотни, тысячи лет, то, если сосчитать, польза окажется громадная. От жизни человеку — убыток, а от смерти — польза. Это соображение, конечно, справедливо, но все-таки обидно и горько: зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы?

Не жалко было умирать, но как только дома он увидел скрипку, у него сжалось сердце и стало жалко. Скрипку нельзя взять с собой в могилу, и теперь она останется сиротой и с нею случится то же, что с березняком и с сосновым бором. Всё на этом свете пропадало и будет пропадать! Яков вышел из избы и сел у порога, прижимая к груди скрипку. Думая о пропащей, убыточной жизни, он заиграл, сам не зная что, но вышло жалобно и трогательно, и слезы потекли у него по щекам. И чем крепче он думал, тем печальнее пела скрипка.

Скрипнула щеколда раз-другой, и в калитке показался Ротшильд. Половину двора прошел он смело, но, увидев Якова, вдруг остановился, весь съежился и, должно быть, от страха стал делать руками такие знаки, как будто хотел показать на пальцах, который теперь час.

— Подойди, ничего, — сказал ласково Яков и поманил его к себе. — Подойди!

Глядя недоверчиво и со страхом, Ротшильд стал подходить и остановился от него на сажень.

— А вы, сделайте милость, не бейте меня! — сказал он, приседая. — Меня Мойсей Ильич опять послали. Не бойся, говорят, поди опять до Якова и скажи, говорят, что без их никак невозможно. В среду швадьба...

Да-а! Господин Шаповалов выдают дочку жа хорошего целовека... И швадьба будет богатая, у-у! — добавил жид и прищурил один глаз.

— Не могу... — проговорил Яков, тяжело дыша. — Захворал, брат.

И опять заиграл, и слезы брызнули из глаз на скрипку. Ротшильд внимательно слушал, ставши к нему боком и скрестив на груди руки. Испуганное, недоумевающее выражение на его лице мало-помалу сменилось скорбным и страдальческим, он закатил глаза, как бы испытывая мучительный восторг, и проговорил: "Ваххх!.." И слезы медленно потекли у него по щекам и закапали на зеленый сюртук.

И потом весь день Яков лежал и тосковал. Когда вечером батюшка, исповедуя, спросил его, не помнит ли он за собою какого-нибудь особенного греха, то он, напрягая слабеющую память, вспомнил опять несчастное лицо Марфы и отчаянный крик жида, которого укусила собака, и сказал едва слышно:

— Скрипку отдайте Ротшильду.

— Хорошо, — ответил батюшка.

И теперь в городе все спрашивают: откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка? Купил он ее или украл, или, быть может, она попала к нему в заклад? Он давно уже оставил флейту и играет теперь только на скрипке. Из-под смычка у него льются такие же жалобные звуки, как в прежнее время из флейты, но когда он старается повторить то, что играл Яков, сидя на пороге, то у него выходит нечто такое унылое и скорбное, что слушатели плачут, и сам он под конец закатывает глаза и говорит: "Ваххх!.." И эта новая песня так понравилась в городе, что Ротшильда приглашают к себе наперебой купцы и чиновники и заставляют играть ее по десяти раз.

Из записной книжки старого педагога

«Рассуждают: семья должна идти рука об руку со школой. Да, но только в том случае, если семья благородная, а не купеческая или мещанская, ибо сближение с низшими может отдалить школу от совершенства. Впрочем, из человеколюбия не следует иногда лишать купцов и богатых мещан удовольствия — например, приглашать педагогов на пирог».

«При словах "предложение" и "союз" ученицы скромно потупляют глаза и краснеют, а при словах "прилагательное" и "придаточное" ученики с надеждою взирают на будущее».

«Так как в русском языке почти уже не употребляются фита, ижица и звательный падеж, то, рассуждая по справедливости, следовало бы убавить жалованье учителям русского языка, ибо с уменьшением букв и падежей уменьшилась и их работа».

«Наши педагоги убеждают своих учеников не тратить времени на чтение романов и газет, так как это мешает сосредоточению и развлекает. К тому же романы и газеты бесполезны. Но как ученики могут поверить своим руководителям, если последние сами отдают много времени газетам и журналам? Врачу, исцелился сам! Что касается меня, то в этом отношении я совершенно чист: вот уж 30 лет, как я не прочел ни одной книги и газеты».

«Преподавая ученикам науки, следует преимущественнейше наблюдать за тем, чтобы ученики непременно отдавали свои книги в переплет, ибо корешком можно ударить по лбу лишь в том случае, если книга переплетена».

«Дети! Какое блаженство получать пенсию!»

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

пред защитой на степень магистра книги:
«О Духовной Истине», Москва, 1912 г.,
сказанное 19-го мая 1914 года

*Епископу Антонию (Флоренсову) —
с сыновнею почтительностью.*

Ваши Преосвященства и глубокочтимое Собрание!

На эту кафедру чаще всего всходят в ожидании суда над своею работою. Нет ничего удивительного поэтому, если попавшему сюда хочется, предупредив приговор, дать свои разъяснения по подлежащей разбору книге и тем предотвратить часть обвинений. Естественно и то, что пунктов, по которым требуется такое разъяснение, оказывается много, — гораздо больше, чем то допустил бы объем вступительного слова. Ведь всякая книга есть часть души ее автора, или, по крайней мере, должна таковою быть, и следовательно, как ни старательно отпрепарирована она, однако же она имеет у себя тысячи все еще живых нервов и кровеносных сосудов, связующих высказанное с оставшимся недосказанным; для авторского сознания всегда мучительно, что орган его души может быть принят за самостоятельное целое и, что еще хуже, противопоставлен другим его же органам, без которых и в данном — нет жизни. И вот, обозревая мысленно все то, что теснилось в моем сознании, когда я думал о предстоящем диспуте, я увидел, что вынужден был бы вдаваться в трудные и сложные вопросы о методах философии и богословия, о задачах современных наук о духе и т. д. А при малейшей попытке высказаться и быть доказательным тут уже требуется особое сочинение. Разумеется, эти темы — не для вступительного слова...

К тому же припоминаю и свои настроения — слушателя чужих диспутов. В ожидании «дела», самого обсуждения подлежащей работы, речь невольно выслушивается кое-как. Поэтому, следуя «золотому правилу» нравственности, <о>граничу свой язык и дозволю себе лишь необходимый минимум разъяснений. Уклонился бы и от него, но предчувствую, что Вам все равно пришлось бы выслушать его, — если не во вступительном слове, то в течение самых прений.

Начну с подзаголовка своей работы — «Опыт православной теодицеи», т. е. с содержания работы, чтобы сделать затем несколько замечаний о методе.

В каком же смысле можно считать обсуждаемую книгу именно теодицеей?

Чтобы разъяснить этот вопрос, необходимо напомнить несколько весьма элементарных соображений о сущности религии.

Религия есть,— или по крайней мере притязает быть художницей спасения, и дело ее — спасать. От чего же спасает нас религия?— Она спасает нас от нас,—спасает наш внутренний мир от таящегося в нем хаоса. Она одолевает геенну, которая в нас, и языки которой, прорываясь сквозь трещины души, лижут сознание. Она поражает гадом «великого и пространного» моря подсознательной жизни, «им же несть числа», и ранит гнездящегося там змея. Она улаживает душу. А водворяя мир в душе, она умиротворяет и целое общество, и всю природу.

Таково дело религии, взятое преднамеренно в самых суженных и скромных границах,— то основное ее дело, которое едва ли кто станет оспаривать.

Так, хотя и внешний мир не оставлен религией, однако настоящее место ее — душа. И поэтому, если онтологически религия есть жизнь нас в Боге и Бога в нас, то феноменалистически — религия есть система таких действий и переживаний, которые обеспечивают душе спасение. Другими словами, спасение, в том наиболее широком, психологическом смысле слова, есть равновесие душевной жизни.

Отвлеченно говоря, может быть несколько типов относительного равновесия; одни из них, так сказать, полновочны, другие — бедны; одни прочны, другие — неустойчивы; одни имеют потенциал высокий, другие — низкий. Известный тип равновесия может быть весьма недостаточным, как не безусловно может быть и дающая его религия. Отвлеченно же говоря, должен быть тип совершенного равновесия и наивысшего потенциала, соответствующий человеческой природе. Этот-то тип и исследуется в обсуждаемой книге.

Из сказанного ранее — понятно, что при изучении религии, по описании ее, возникают два вопроса: *во-первых*, насколько спасительна данная система переживаний и действий и почему она спасительна, т. е. что в ней такого, что обеспечивает спасение? И, *во-вторых*, как делается эта система переживаний и действий спасительною именно для меня, поскольку я убедился в ее спасительности вообще.

Другими словами, спрашивается: *во-первых*, какие ходы мысли должен пройти мой разум, чтобы признать спасительность данной религии? И, *во-вторых*, в какой реальной среде должен я вращаться и в какую связь с нею должен вступить, чтобы усвоить себе спасение?

Это — в терминах феноменологии. Если же теперь перейти к терминам онтологии, то надо пересказать наши вопросы примерно так: *во-первых*, какими путями человек убеждается, что Бог есть именно Бог, а не узурпатор святого имени, т. е. действительно обладающий

спасением и действительно дающий его людям? Во-вторых, какими путями человек принимает Божие спасение в себя и спасается своим Спасителем?..

Или еще, другими словами, при первом вопросе мы разумом своим испытываем Бога и находим, что воистину Он — Бог, Сущяя Правда, Спаситель. При втором же вопросе мы, испытывая себя, обретаем себя «ложью» и нечистотою, усматриваем свое несоответствие правде Божией и, следовательно, необходимость очищения.

Вот два пути религии. Но первый путь, оправдания Божия, или теодицея, возможен не иначе, как благодатною силою Божиею, и второй путь, путь оправдания человека, или антроподицея, опять-таки возможен не иначе, как силою Божиею. И верим в Бога, и живем в Боге мы Богом же,— не сами. И потому, первый путь есть как бы восхождение благодати в нас к Богу, а второй — нисхождение благодати в наши недра.

Однако и теодицея, как $\acute{\omicron}\delta\acute{\omicron}\varsigma\ \acute{\alpha}\nu\acute{\omega}$ ⁶¹ как восхождение нас к Богу, и антроподицея, как $\acute{\omicron}\delta\acute{\omicron}\varsigma\ \kappa\acute{\alpha}\tau\acute{\omega}$ ⁶², как нисхождение Бога к нам,—совершается энергиею Божиею в человеческой среде. Как возможно это? Как «неомощный человеческий лик» может соприкасаться с «Божией правдой»? Как Божественная энергия не испепеляет ничтожества твари? Эти и другие подобные вопросы требуют онтологического вскрытия. Переводя на грубый и бедный язык земных сравнений, скажем: как может быть, чтобы св. чаша не таяла как воск, и чтобы очи наши не слепли от нестерпимой лучезарности Того, Что в ней? Что было бы, если бы в потир опустить частицу солнца? Но там То, пред Чем солнце — мрак, и... чаша невредима.

Не кажется ли мгновениями, что священник держит в руке грозовую тучу: одно неосторожное движение,— и удар молнии поразит его. Это — образы. Но никакие образы не передадут силы контраста между Богом и тварью,— контраста, который необходимо должен быть осуществлен, чтобы было возможно оправдание твари. Выяснить онтологию этого осуществленного контраста между всем и ничем должна антроподицея. Разумеется, ни путь теодицеи, ни путь антроподицеи не может быть строго изолирован один от другого. Всякое движение в области религии антиномически сочетает путь восхождения с путем нисхождения. Убеждаясь в правде Божией, мы тем самым открываем сердце свое для схождения в него благодати. И наоборот, отвержая⁶³ сердце навстречу благодати, мы осветляем свое сознание и яснее видим правду Божию. Как нельзя разделить полюсов магнита, так нельзя обособить и путей религии.

$\acute{\omicron}\delta\acute{\omicron}\varsigma\ \acute{\alpha}\nu\acute{\omega}$ и $\acute{\omicron}\delta\acute{\omicron}\varsigma\ \kappa\acute{\alpha}\tau\acute{\omega}$ совмещаются в религиозной жизни и лишь методологически могут быть рассматриваемы до известной степени порознь. Однако этому разъединению способствует, что известным полосам в личном развитии и в развитии общественного сознания по преимуществу свойственен либо тот, либо другой путь.

Путь горé — это по преимуществу путь вступающего на духовный подвиг, а путь долу — путь продвинувшегося по нему. Вот почему я счел целесообразным в настоящем сочинении выделить именно теодицею, оставляя более трудную антроподицею до лет более зрелых и опытности более испытанной. Но, на возможный вопрос о содержании антроподицеи, может быть, следует ответить: «Разные виды и степени Богонисхождения должны составить основную тему ее». Другими словами, речь должна идти там о категориях духовного сознания и об откровении Божиим в Священном Писании; о священных обрядах и о святых таинствах; о Церкви и ее природе; о церковном искусстве и церковной науке и т. д. и т. д. А это все должно быть обрамлением центрального вопроса антроподицеи, — христологического.

Однако от того, что должно еще сделать, т. е. от антроподицеи, как пути по преимуществу практического, вернемся к обсуждению того, что сделано, — к теодицее, как пути по преимуществу теоретическому. Этот путь начинается в разуме и затем за пределы разума, к корням его, выходит.

Как же построится теодицея?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним тот «Столп Злобы Богопротивныя», на котором почивает антирелигиозная мысль нашего времени и оттолкнуться от которого ей необходимо, чтобы утвердиться на «Столпе Истины». Конечно, Вы догадываетесь, что имеется в виду Кант.

«Как возможна Истина?» — спрашивает Кант, и ответ его гласит:

— Истина возможна как методическое познание, т. е. как вечно строящаяся, но никогда не заканчиваемая система знания — вавилонская башня Нового времени.

«Но как же, в свой черед, возможно методическое познание?»

— Оно возможно, — как синтетические суждения а priori, — спешит успокоить Кант.

«Но, в таком случае, как же возможны синтетические суждения а priori?» — снова шевелится беспокойство у Канта.

— Как функции организации разума, — с довольным видом открывает он. И замолкает совсем. Но дальнейшая история мысли этим ответом опять не удовлетворена.

«А организация разума со всеми его функциями, она как возможна?» — спрашивают у Канта. Но на этот вопрос Кант уже не желает давать ответа, и ряд вопрошаний должен прерваться. В организации разума критическая мысль увязает, как в трясине. А между тем неизвестно еще, есть ли, в самом деле, эта организация разума, да и есть ли самый разум.

Кант пытается доказать, что есть: и то, и другое. Как же именно? — Наличностью разумных функций. Но где же они? — В науке. Почему же мы знаем их общезначимость (всеобщность и необходимость)?—

Потому-де, что наука вселенска. Итак, последней опорой у Канта оказывается факт науки или, точнее, математического естествознания. Разум есть, а стало быть, есть и Истина, **ибо** Кант **верит** в вавилонскую башню механистического естествознания.

Наши рассуждения начинаются с той точки, на которой **к о н ч а е т** Кант.

«Есть ли разум?» — спрашиваем мы себя.

— Нет, такой определенной величины мы не знаем. Разум — нечто подвижное. Это — понятие динамическое, а не статическое. Разум имеет нижним пределом своим, поскольку он — разум трансцендентальный, — разложение, полное ничтожество, геенну; а верхним,—как разум трансцендентный,—полноту и непоколебимость.

«Но,—спрашивается тогда,— как возможен разум?»

Разум жаждет спасения, т. е., другими словами, он погибает в своей сущей форме, в форме рассудка. «Человеческий ум,—говорит где-то Мартин Лютер,—подобен пьянице верхом; поддержите его с одной стороны — он свалится с другой». Таково образное выражение антиномичности разума. Разлагаясь в антиномиях и мертвый в своем рассудочном бытии, разум ищет начала жизни и крепости. Спасение, в сфере теоретической, мыслится прежде всего как **у с т о й ч и в о с т ь** ума, т. е. именно как ответ на вопрос: «**К а к в о з м о ж е н р а з у м ?**» И если религия обещает эту устойчивость, то дело теодицеи — показать, что действительно эта устойчивость может быть дана, и как именно. Но понятно, что если разум будет пониматься как пустая форма, в которую можно вкладывать разное содержание, не нарушая свойств этой формы, то присущая ему неустойчивость или антиномичность будет неустойчивостью абсолютною, и теодицея загодя обречена на неудачу. Отсюда понятно, что из признания религии — уже а ргіоі, «трансцендентально», вытекает и иной взгляд на разум. Разум — не коробка или иное какое геометрическое вместилище своего содержания, в которое можно вложить что угодно; он — и не мельница, которая размелет как зерно, так и мусор, т. е. не система механических, всегда себе равных осуществлений, применимых одинаково к любому материалу и при любых условиях. Нет, он есть нечто живое и целестремительное,— **о р г а н** живого существа, **m o d u s** взаимоотношения познающего и познаваемого, т. е. вид **с в я з и б ы т и я**. Понятно, что он не может функционировать всегда одинаково, ибо сам он, его «**как**» определяется его предметом, его «**что**». Свойства разума — свойства гибкие и пластические, осуществляемые так или иначе в зависимости от **т о ν ο ς**'а жизнедеятельности его. Следовательно, задача гносеолога — не в том, чтобы открыть природу разума вне его отношения к какому бы то ни было объекту знания,— вне функционирования, ибо задача эта по существу неопределенная, а в том, чтобы узнать: когда, при каких условиях разум делается воистину разумом,

когда он имеет высшее свое проявление,—когда он цветет и благоухает. Эта гносеологическая работа подразумевается проделанной при построении теодицеи. А ответ на поставленный вопрос возможен тут только один, — такой: разум перестает быть болезненным, т. е. быть рассудком, когда он познаёт Истину: ибо Истина делает разум разумным, т. е. умом, а не разум делает Истину истинною. Следовательно, ответ на основной вопрос о разуме, а именно на вопрос: «Как возможен разум?» должен гласить: «Разум возможен чрез Истину». Но, в таком случае, что же делает Истину истинною? — Она сама.

Показать, что Истина сама себя делает Истиною — и есть задача теодицеи. Эта самоистинность Истины выражается,— как вскрывает исследование, — словом *ἰσχυρία*, *единосущие*. Таким образом, догмат Троичности делается общим корнем религии и философии, и в нем преодолевается исконная противоборственность той и другой.

Таково содержание книги. Обратимся теперь к методу ее.

Для перелиставшего книгу — вероятно, бесспорно, что метод этот — диалектика, разумея слово диалектика в его широком значении — жизненного и живого непосредственного мышления, в противоположность мышлению школьному, т. е. рассудочному, анализирующему и классифицирующему. Это — не речь о процессе мысли, а самый процесс мысли в его непосредственности — трепещущая мысль, демонстрируемая *ad oculos*⁶⁴. Простейший случай диалектики — т. е. мысли в ее движении — всякий разговор. Диалектичным будет, вероятно, и то, что за этим словом последует, т. е. самый диспут. Высочайший же образец диалектики применительно к вере дал св. апостол Павел в своих Посланиях: не о духовной жизни учит нас св. апостол, но сама жизнь в словах его переливается и течет живым потоком. Тут нет раздвоения на действительность и слово о ней, но сама действительность является в словах апостола нашему духу.

Однако дело не в том, что пишет апостол. Апостольство сказывается **в природе** открываемой им жизни, в ее духовности, а не в самом факте наличности *некоторой* жизненности. Ведь диалектике как методу принадлежит и явление жизни в слове, хотя в том или другом случае самая жизнь может быть и ничтожной и неценной. Диалектик хочет не рассказывать о своем касании к реальности, но показывать его: слушатели же пусть сами усматривают, не опускает ли он в своем осознании этой реальности чего-нибудь существенного.

То, что сказано о духовной жизни,— оно же относится и к сфере философии. Там, где не признается права на самостоятельность,— нет места и диалектике: но где свобода, — там непременно — и диалектика. Философия, как дело творчества (но не как предмет преподавания), философия совершенно неотделима от диалектики, т. е. от процесса взгляда в ания и, следовательно, мысленного углубления и вживания в

реальность. Величайшие образцы философского творчества — лучшие достижения диалектики.

В чем же смысл диалектики? — В целостности. Тут нет отдельных определений, как нет и отдельных доказательств. Что же есть? — Есть все нарастающий клубок нити созерцания, сгусток проникновений, все уплотняющийся, все глубже внедряющийся в сущность исследуемого предмета; диалектика — совокупность процессов мысли, «взаимно друг друга укрепляющих и оправдывающих». Это — как бы луковица, в которой каждая оболочка есть слой живой. Если бы речь шла не диалектическая, а дидактическая, — не о реальности, а о моих или чьих-нибудь мыслях о реальности, то я мог бы дать определение и сказать: «Вот что именно, а не другое что, я мыслю об этой вещи». Но если предметом речи должна быть сама реальность, то откуда же я заранее знаю, что есть она, эта реальность. А если бы знал — то для чего же нужно было бы исследование? Определить — это значит очертить вокруг предмета исследования некоторый предел, окружить его пределом, изолировать его. Для чего предел? чему положить предел? — Мысли, конечно. Определить — это значит лишить мысль свободы двигаться так, как это может оказаться нужным в течение исследования, и искусственно заключить ее в границы. Но диалектика, как мысль нарастающая, в том-то и заключается, что она движется к все более и более ценным достижениям, восходя по лестнице постижения, так что постепенным уплотнением мысли намечаются естественные пределы реальности. Живая мысль по необходимости диалектична: в том-то и жизнь ее; мертвые же мысли или, точнее, замороженные мысли, мысли в состоянии анабиоза — недиалектичны, т. е. неподвижны, и могут быть расположены в виде учебника, как некая сумма определений и тезисов. Но и тут, лишь только мы захотим привести эту кучу или этот склад высохшего и замороженного материала во внутреннее единство, т. е. понять его, — мы должны внести начало движения от определения к определению и от тезиса к тезису. И тогда, под ласкою созерцающего взора, лед тает, плотины сорваны, определения потекли, и тезисы хлынули живым потоком, переливаясь один в другой.

«Omnis definitio in jure civili periculosa est»⁶⁵ — значитя в Дигестах⁶⁶, и тут же дается объяснение, почему *periculosa est*: «*parum est enim, ut non subverti possit*»⁶⁷. Так — не только в области права.

Omnis definitio тем *periculosior est*⁶⁸, чем более внутреннего движения в определяемом; а там, где жизнь бьет ключом, в жизни по преимуществу или религии, оно *maxime periculosa est*⁶⁹. Тут Павлов меч разубаивает всякое определение, и, сорвав оковы, огненной струей стремится мысль в Павловой диалектике.

Теперь уже не мы определяем предмет, а самый предмет определяет нас себя. Мы — вглядываемся и вглядываемся в него, и каждое новое постижение его служит новым определением. Каждое новое

откровение реальности о себе прибавляет новое звено к цепи проникновений. Вращаясь пред нашим взором, реальность кажется все новые и новые стороны в себе. И если теперь Вы спросите у диалектика, где его определения, он ответит Вам: «Везде, если я написал что-нибудь осмысленное, и нигде — если книга не удалась». Самая книга есть определение того предмета, который она рассматривает, т. е. Духовной Истины, или, если хотите, церковности. И если я начинаю с того, что церковность неопределима, то далее, за этим заявлением, я же посвящаю целую книгу, чтобы показать церковность в разных сферах ее и на разных глубинах.— Ведь даже в математике нет критерия, чтобы сразу узнать, просто ли данное число. Лишь последовательно просеивая сквозь «Эратосфеново решето» все числа непростые, мы убеждаемся в его простоте или непростоте. Так и в Церкви нет одного критерия, который бы гарантировал церковность данного человека; но сама жизнь, рядом испытаний, отсеивает верных от неверных.

Довольно философствовали *над* религией и *о* религии: тогда можно было давать определения,— и их дано слишком много. Неужели мне прибавлять к ряду неудачных определений еще одно? Надо философствовать *в* религии, окунувшись в ее среду.

Довольно было опровержений, возражений, сопротивлений и уступок скрепя сердце; надо начать наступление. Лучше понять хоть одну живую религию, нежели изрезать и умертвить все, где-либо и когда-либо существовавшие. Если терпимость и либеральность к вере других заключается только в том, что ради справедливости («Чтоб никого не обидеть!») люди стараются обойтись вовсе без религии, — тогда долой такое уважение и такую либеральность. Да к тому же, для всякой религии бóльшим уважением к ней будет борьба с нею, нежели терпимость, уравнивающая все религии в общем к ним презрению.— Этот призыв, высказанный здесь мною в словах столь торопливых и несвязных,— он и был призывом к подлежащей обсуждению книге. Но, вняв ему, необходимо было сделать шаг самый трудный — уразуметь, что исследование должно быть опытом конкретной религиозной гносеологии, ибо только конкретная мысль может быть мыслью диалектической.

Что же, однако, значит развить конкретную религиозную мысль? Не рискует ли она впасть в субъективизм и психологизм? Не рискует ли стремление к конкретности подменить диалектику, как методическое вглядывание, простою игрою случайных мыслей, имеющих лишь биографическое значение и интересных лишь для друзей автора? Не рискует ли вглядывание в реальность вырождаться в голый рассказ о психологических иллюзиях?

Не смею утомлять Вашего внимания подробным ответом на поставленный здесь вопрос; скажу лишь в двух словах суть дела.

Несомненно, что конкретная мысль есть личная мысль, мысль не «вообще», вне субъекта своего притязания существовать, но мысль характерно соотносящая данный объект с данным же субъектом. Мышление есть непрестанный синтез познаваемого с познающим и, следовательно, глубоко и насквозь пронизано энергиями познающей личности. Но кто же субъект диалектики? Таковым не может быть абстрактное, бесцветное и безличное, «сознание вообще», ибо я знаю, что это я вглядываюсь в реальность. Таковым не должно быть и никому не интересное Я автора, ибо если какой-то Павел во что-то вглядывается, то, конечно, это не может и не должно быть значимым в философии. Вглядывающееся Я должно быть личным и, скажу даже, более личным, нежели недоразвитое Я автора. Но оно же должно быть и целостным и характерным. Это — конкретно-общее, символически-личное — Я есть очевидно Я т и п и ч е с к о е, и если искать ему параллелей, то ближе всего оно подходит к типу в художественном произведении. Его диалектическое вглядывание лично, но оно не психологично. Оно конкретно, но его своеобразие — не случайно. Назовем его Я «методологическим». И т. к. диалектика непременно предполагает тех, кто *δια-λέγονται*, кто переговаривается, кто раз-говаривает, то методологическому Я соответствует методологическое же *мы* и другие методологические *personae dramatis dialecticae*⁷⁰. Ими-то и осуществляется некое *διά-*, пере-, раз-, т. е. методологическая среда,— которая сливается с объектом свои личные энергии.

Понятно, что эта среда, чтобы быть методологической, должна быть совершеннейшим органом данной диалектики, т. е. должна быть не какой-нибудь, а наиболее родной именно данному познанию. Каждому объекту диалектики соответствует и некоторый определенный субъект, определенный тип. Если, по Библии, брак есть познание, а познание есть своего рода брак, то нельзя данную реальность бракосочетать с кем угодно, но необходимо — с суженым. Таким образом, философское творчество истины — в ближайшем родстве с творчеством художественным, не как «поэзия понятий», а как ваяние типических субъектов диалектики. И пока философ не нашел типа данной диалектики — он еще не приступал к диалектике. Как поэт, обособляя аспект свой, объективирует его и делает типом (вспомним хотя бы Вертера и Гете), так и философ вовсе не о себе разглагольствует найденным им субъектом диалектики, а типически формует из имеющегося у него запаса переживаний субъекта наиболее дружного данному предмету. Так именно написаны диалоги Платона: это видит всякий; но, может быть, не всякий примечал, что так же написаны и «Критики» Канта и «Размышления» Декарта и т. д. и т. д. Разница — лишь в том, что методологическое Я вводится обычно несколько прикровенно и бедно. В разбираемой же книге, по следам Платона, методологическое Я откровенно выведено не как Я

«вообще», а как **Я конкретное**. Не смею утверждать, что выполнил удачно поставленную задачу; однако самым решительным образом стою за занятую позицию как принцип.

Но, если этот принцип Вами принимается, то отсюда делается понятно одна особенность предлагаемой диалектики. Конкретная личность, этот типический субъект диалектики, не есть линейный ряд каких-либо душевных процессов, и внутренняя жизнь ее устроена вовсе не так, как бусы нанизаны на нить в ожерелье. Следовательно, и диалектическое развитие мысли не может быть представлено простою одногласною мелодией раскрытий. Душевная жизнь, а в особенности религиозно-упорядоченная жизнь, — есть несравненно более связанное целое, напоминающее, скорее, ткань или кружево, где нити сплетаются многообразными и сложными узорами. Сообразно с этим и диалектика есть развитие не одной темы, а многих, сплетающихся друг с другом и переходящих друг в друга, и снова выступающих. И как в жизни лишь многообразие функций образует единое целое, а не отдельные абстрактные начала, так же и в диалектике лишь контрапунктическая разработка основных мелодий дает жизненно углубиться в предмет изучения.

Таков, в основных чертах, метод разбираемой книги. Я знаю, что я недостаточно выполнил те задания, которые себе поставил, а насколько недостаточно — об этом мы сейчас услышим. Допускаю и то, что самые задания были поставлены неправильно. Но вот в чем я не сомневаюсь и, Богу содействующу, не усумнюсь ни во время диспута, ни после него. Философия высока и ценна не сама в себе, а как указующий перст на Христа и для жизни во Христе. И пройденный путь — делается уже ненужным. Мои глубокоуважаемые судьи могут лишиться меня книги, но не того, что теперь, пережив ее, я уже имею, помимо нее.

Вот почему, в глубине души, уже готов ответ, — один на все их возражения:

«Мне же еже прилеплятися Богови благо есть, полагати о Господе упование спасения моего».

Священник Павел Флоренский

1914 г. V. 19.

Сергиев Посад.

Источники:

1. Ломоносов М. В. (1711-1765 гг.). Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава первого или до 1054 года, сочиненная Михаилом Ломоносовым, статским советником, профессором химии и членом Санкт-Петербургской и Королевской шведской академии наук. - Часть 1, глава 1-5. //Для пользы общества. - М.: Советская Россия, 1990. - С. 194-216.
2. Державин Г. Р. (1743 - 1816 гг.). Рассуждения о лирической поэзии или об оде. Фрагменты: Об опере. О песне. //Державин Г. Р. Избранное. - 1984. - С.345 - 356.
- Из неизданного. - Там же, с. 359 - 362
3. Фонвизин Д. И. (1744 - 1792 гг.). Торг семи муз (из Кригеровских снов, 13).-Собр. соч. в 2-х тт. — Т. 1. — С.412 — 416.
4. Радищев А. Н. (1749 - 1802 гг.). Беседа о том, что есть сон Отечества. //Избранное. - М., 1959. - С. 50 - 59.
5. Крылов И. А. (1769 - 1844 гг.). Похвальная речь науке убивать время, говоренная в новый год. - Собр. соч. в 2-х тт. - Т. 1. - С. 426 - 435.
6. Жуковский В. А. (1783 - 1852 гг.). Письмо С. Л. Пушкину, февраля 15 (1837 г., Петербург). //Собр. соч. в 4-х тт. - 1969, ГИХЛ. - Т.4. -С. 602-616.
7. Аксаков С. П. (1791 - 1859 гг.). Мысли и замечания о театре и театральном искусстве. //Собр. соч. в 4-х тт. - Т. 3. - С. 319 - 403.
8. Пушкин А. С. (1799 - 1837 гг.). О народном воспитании. //Полное собр. соч. в 109 тт. - 1958. - Т. 7. - С. 42-49.
9. Гоголь Н. В. (1809 - 1857 гг.). О преподавании всеобщей истории. //Собр. соч. в 7-и тт. - Т. 6. - С. 34 - 46.
10. Пирогов Н. И. (1810 -1881 гг.). Быть и казаться. //Избр. пед. сочинения. - 1985. - С. 91 - 98.
П.Белинский В. Г. (1811 - 1848 гг.). Рецензии. - Избр. пед. соч. -1982.- С. 225 -233.
12. Герцен А. И. (1812 - 1870 гг.). Опыт беседы с молодыми людьми. //А. И. Герцен о воспитании. - Учпедгиз, 1948. - с. 125 - 135.

13. Огарев А. П. (1813 - 1877 гг.). Настоящее и будущее (письма к А. И. Герцену. //Избр. произв. в 2 - х тт. - Т. 1. - С. 372 - 379.
14. Тургенев И. С. (1816 - 1883 гг.). Проект программы «Общества для распространения грамотности и первоначального образования». //Собр. соч. в 12-и тт. - Т. 12. - С. 359 - 366.
15. Некрасов Н. А. (1821 - 1878 гг.). Балет. //Собр. соч. в 3-х тт. - 1954. -Т. 1.-С. 361 -371.
16. Достоевский Ф. М. (1821 - 1881 гг.). Книжность и грамотность. Статья первая. //Собр. соч. в 15-ти тт. - Т. 11. - С. 88 - 105.
17. Островский А. Н. (1823 - 1886 гг.). Записки о театральных школах. //А. Островский. Вся жизнь - театру. - 1989. - С. 234 - 247.
18. Салтыков-Щедрин М. Е. (1826 - 1889 гг.). Добродетели и пороки. //Собр. соч. в 10-ти тт. - Т.8. - С. 359 - 366.
19. Чернышевский Н. Г. (1828 - 1889 гг.). Эстетическое отношение искусства к действительности. Фрагмент диссертации. - Собр. соч. в 5-ти тт. - 1974. - Т. 4. - С. 108 - 117.
20. Толстой Л. Н. (1828 - 1910 гг.). Воспитание и образование. //Собр. соч. в 22 -х тт. - Т. 16. - С. 29-65.
21. Добролюбов Н. А. (1836 - 1861 гг.). Мысли об учреждении открытых женских школ. //Избр. пед. соч. - 1986. - С. 65 - 76.
22. Писарев Д. И. (1840 -1868 гг.). Наши усыпители. //Собр. соч. в 4-х тт. - Т. 4. - С. 244-261.
23. Соловьев В. С. (1853 - 1900 гг.). О духовной власти в России. //Собр. соч. в 2-х тт. -1989. - Т. 1. - С. 43 - 58.
24. Чехов А. П. (1860 -1904 гг.). Скрипка Ротшильда. Студент. Из записной книжки старого педагога. //Собр. соч. в 18-ти тт. - Т. 8. -С. 41,297-304,306-309.
25. Флоренский П.А. (1882 - 1943 гг.). Вступительное слово перед защитой на степень магистра книги «О духовной истории». //Собр. соч. в 2-х тт. (3 книги). - Т. 1, книга 2-я. - С. 817 - 827.

Оглавление

От составителей	3
М.В. Ломоносов. Древняя российская история от начала российского народа до кончины Великого князя Ярослава Первого или до 1054 года	4
Г. Р. Державин. Рассуждения о лирической поэзии или об оде	20
Д. И. Фонвизин. Торг семи муз. Из Кригеровых снов, 13	33
А. Н. Радищев. Беседа о том, что есть сын отечества	37
И. А. Крылов. Похвальная речь науке убивать время, говоренная в Новый год	44
В. А. Жуковский. С. Л. Пушкину	51
С. П. Аксаков. Мысли и замечания о театре и театральном искусстве ..	63
А.С. Пушкин. О народном воспитании	66
Н. В. Гоголь. О преподавании всеобщей истории	70
Н.И. Пирогов. Быть и казаться	81
В.Г. Белинский. Рецензия	89
А.И. Герцен. Опыт беседы с молодыми людьми	97
Н.П. Огарев. Настоящее и думы (<i>Письма к Герцену</i>)	107
И.С. Тургенев. Проект программы «Общества для распространения грамотности и первоначального образования»	113
Н.А Некрасов. Балет	119
Ф.М. Достоевский. Книжность и грамотность	129
А.Н. Островский. Записка о театральных школах	144
М.Е. Салтыков-Щедрин. Добродетели и пороки	155
Н.Г. Чернышевский. Эстетическое отношение искусства к действительности. (Фрагмент диссертации)	161

Л.Н. Толстой. Воспитание и образование	169
Н.А. Добролюбов. Мысли об учреждении открытых женских школ (По поводу открытого недавно в Петербурге Курса учения для девиц, воспитывающихся в своих семействах, под управлением г-жи Труба)	198
Д.И. Писарев. Наши усыпители	210
В.С. Соловьев. О духовной власти в России. (По поводу последнего пастырского воззвания Св<ятейшего> Синода)	226
А.П. Чехов. Студент	239
А.П. Чехов. Скрипка Ротшильда	242
А.П. Чехов. Из записной книжки старого педагога	250
П.А. Флоренский. Вступительное слово пред защитою на степень магистра книги: «О Духовной Истине», Москва, 1912 г., сказанное 19-го мая 1914 года	251
Источники	261
Оглавление	263
Концевые сноски	265

Концевые сноски:

М. В. Ломоносов:

- ¹ Нестор на многих местах, степенные книги и летописцы.
- ² Геродот, Страбон, Плиний и Птоломей.
- ³ Нестор в начале и степенные кн.; Порфиригенит в Администрации.
- ⁴ Оные описывает Саксон Грамматик на многих местах.
- ⁵ Прокопий Кесарийский, также Иорнанд на многих местах.
- ⁶ О делах готических, гл. 5.
- ⁷ Географ., кн., 3, гл. 5, табл. 7.
- ⁸ Натур, ист., кн. 4, гл. 27.
- ⁹ О нравах германцев.
- ¹⁰ Книга 1, глава 123.
- ¹¹ В начале и в 862 году.
- ¹² Гелмолд и Арнолд.
- ¹³ Натур, ист., книга 6, глава 1.
- ¹⁴ Книга 12, стр. 544. Книга 4.
- ¹⁵ Кн. 3, гл. 35.
- ¹⁶ Глава 44(6).
- ¹⁷ Нат. ист., книга 3, глава 19.
- ¹⁸ Книга 1, глава 1.
- ¹⁹ Нат. ист., кн. 6, гл. 7 и кн. 4, гл. 1 и гл. 11.
- ²⁰ В Географ., кн. 7, стр. 218.
- ²¹ В Мелпомене, стр. 115.
- ²² Ист. нат., кн. 6, гл. 7.
- ²³ Географ., кн. 11, стр. 343.
- ²⁴ Географ., кн. 3, гл. 56, таб. Евр. 7.
- ²⁵ О Готич. войне, кн. 3, гл. 14.
- ²⁶ "Арикил". О цымбрском идолопоклонстве, на многих местах.
- ²⁷ Геогр., кн. 5, гл. 3.
- ²⁸ Декада 1, кн. 1.
- ²⁹ Кромер, кн. 1, гл. 8.

³⁰ Нестор на многих местах.

³¹ Кромер, кн. 1, гл. 14.

³² Лист 4.

³³ Кн. 3, гл. 5, таблица 8.

³⁴ Лист 3, на обороте.

³⁵ О Готической войне, кн. 3, гл. 38.

³⁶ О Готической войне, книга 3, глава 35.

³⁷ Там же, кн. 4, гл. 4.

Г. Р. Державин:

³⁸ У Греков были уставные, или узаконенные тоны, как выше явствует: фригические и прочие.

³⁹ Зюльцер в словаре «О словесных чувствах» под словом Опера.

⁴⁰ Светоний, римский историк, в жизни сего императора при случае рассуждения о войне.

⁴¹ Плутарх в жизни Александра Великого говорит Кассандру: «Ты со временем почувствуешь, ежели угнетен народ». Сей выговор во всю жизнь пребывал в его памяти, так что он по его смерти, увидя в первый раз статую сего монарха, вострепетал от ужаса.

⁴² Черта характера, нрава, или обыкновения частного человека, или целого народа.

⁴³ Некто Матвей Гутри, заимствуя от Львова, написал и на печатал на французском языке рассуждение о русских песнях, сказав, что взял оное от Ирама; а как Прач совсем не знал русскаго языка и не мог разуместь ни характера, ни красот тех несен, а клал только слова на ноты по объявлению Львова, то из сего только то может нам служить к замечанию, как гг. иностранцы и в самых безделицах затмевают везде способности и славу Русских.

⁴⁴ Игра древняя греческая, учрежденная в память похищения Прозерпины Плутоном, где с зажженными лучинами или головнями бегали и искали похищенной.

В. А. Жуковский:

⁴⁵ Я ранен (франц.).

⁴⁶ Не трогайтесь с места; у меня еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел (франц.).

⁴⁷ Не входите (франц.).

⁴⁸ Благодарю Вас, Вы поступили по отношению ко мне как честный человек (франц.).

⁴⁹ Надо устроить мои домашние дела (франц.).

С. П. Аксаков:

⁵⁰ К удивлению моему, г-н Булгарин в прекрасном подарке своем любителям театра, в «Русской Галии», довольно мало и холодно сказал о Шушерине. Шушерин, без сомнения, должен стоять вторым после Дмитревского по своему искусству, тем более, что не имел способов образоваться учением и примерами, как Дмитревский.

⁵¹ Под техническим термином «хорошие средства» должно разуметь голос, грудь и лицо.

Н.А. Некрасов:

⁵² Хозяева английского магазина.

⁵³ Известные модистки.

Ф.М. Достоевский:

⁵⁴ Мне рассказывали достоверно о существовании в Париже таких литераторов, которые не знают Барбье. Не то что не читали, а даже имени-то не знают. Где ж им после этого знать Шиллера?

М.Е. Салтыков-Щедрин:

⁵⁵ образ поведения (лат.).

⁵⁶ Пусть консулы будут бдительны! (лат.)

Л.Н. Толстой:

⁵⁷ Выучка, наставление, просвещение (фр.)

Д.И. Писарев:

⁵⁸ Протеже; покровительствуемые (фр.). — Ред.

В.С. Соловьев:

⁵⁹ Если и в прежние времена можно указать пример духовного насилия в Русской церкви — в преследовании «жидовствующих» — то и в этом случае вполне несомненно влияние латинства.

⁶⁰ Патриарх Филарет Никитич также писался «великим государем» рядом с царем, но исключительно по личному своему отношению к царю, как его отец; Никон же предоставленное ему лично право возвел в неотъемлемую принадлежность своей власти.

П.А. Флоренский:

⁶¹ путь вверх, восхождение (греч.). — Ред.

⁶² путь вниз, нисхождение (греч.). — Ред.

⁶³ В тексте — «отвергая». — Ред.

⁶⁴ наглядно (лат.). — Ред.

⁶⁵ В гражданском праве всякое определение опасно (лат.). —Ред.

⁶⁶ Dig. lib. 50, tit. 17. fr. 202. (Corpus juris civilis, ed. stereot. cura L. L. G. Beek, Lipsiae, 1829, p. 778).

⁶⁷ ибо мало таких, которые нельзя извратить (лат.). —Ред.

⁶⁸ опаснее (лат.). — Ред.

⁶⁹ опасно в высшей степени (лат.). — Ред.

⁷⁰ лица диалектической драмы (лат.). — Ред.

Издатель
Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского
gnpbu@gnpbu.ru

ISBN 978-5-902184-08-9



9 785902 184089